

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА—1972

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ленинская национальная политика и развитие языков народов СССР . . . . .	3
Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко (Москва). Проблемы языкового развития в СССР . . . . .	9
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону). Язык и системы знаков . . . . .	21
Т. В. Гамкредидзе (Тбилиси). К проблеме «произвольности» языкового знака . . . . .	33
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
А. С. Либерман (Ленинград). Порождающая фонология: претензии и результаты . . . . .	40
И. П. Распопов (Воронеж). О так называемых детерминирующих членах предложения . . . . .	55
Й. Блашковиц (Прага). Топонимы старотюркского происхождения на территории Словакии . . . . .	62
Д. Уорт (Лос Анджелес). Морфология нулевой аффиксации в русском словообразовании . . . . .	76
Б. А. Успенский (Москва). Первая грамматика русского языка на родном языке . . . . .	85
А. С. Гарбян (Ереван). Система склонения имен древнеармянского языка . . . . .	101
<i>ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ</i>	
В. И. Абаев, Н. А. Баскаков, Б. Х. Балкаров, Л. И. Скворцов (Москва). Вопросы нормирования литературных языков народов Кавказа . . . . .	109
Е. Гринавецкене, К. Мокунас (Вильнюс). Литовское языкознание в годы Советской власти . . . . .	117
В. Э. Сталтмане, Л. К. Граудина (Москва). Вопросы культуры латышского языка . . . . .	124
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>Рецензии</i>	
В. Ю. Михальченко (Москва). <i>A. Jasikevičius. Daugiakalbystės psichologija</i> . . . . .	130
В. М. Мокленко (Ленинград) «Slovník spisovného jazyka českého» . . . . .	132
А. И. Чобану (Кипишев). <i>И. Йордан. Романское языкознание. Историческое развитие, течения, методы</i> . . . . .	138
В. Венцель (Лейпциг). « <i>Namenforschung heute. Ihre Aufgaben und Ergebnisse in der Deutschen Demokratischen Republik</i> » . . . . .	143
Н. И. Толстой (Москва). Новые издания . . . . .	144
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Хроникальные заметки . . . . .	146
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1972 г. . . . .	156

### Р Е Д К О Л Л Е Г И Я :

О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,  
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),  
В. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева



## ЛЕНИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

30 декабря 1972 года исполняется пятьдесят лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Всем хорошо известны великие достижения первого в мире социалистического государства в народном хозяйстве, культуре и науке, во всем укладе нашей жизни. Одним из самых важных достижений является создание гармонического содружества наций и народностей СССР, основанного на полном их равноправии. Такое сотрудничество было осуществлено в результате успешного претворения в жизнь ленинской национальной политики. «Величайшая заслуга в создании многонационального социалистического государства принадлежит вождю партии и народа Владимиру Ильичу Ленину. Творчески развивая идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, он создал стройное учение по национальному вопросу, разработал научные принципы национальной политики Коммунистической партии. Марксизм-ленинизм раскрыл место и роль национального вопроса в революционном преобразовании мира, показал его подчиненность интересам классовой борьбы пролетариата, интересам социализма»<sup>1</sup>. Образование многонационального государства нового типа, в котором были ликвидированы капиталистическая эксплуатация и национальное угнетение, стало возможным только благодаря социалистической революции и руководству Коммунистической партии в великом деле создания нового общества.

В СССР сложились социалистические нации, объединившиеся в общности высшего типа — советском народе.

В СССР имеется около ста тридцати языков, принадлежащих к разным языковым семьям. Подавляющее большинство из них до революции было бесписьменными, а это означало, что их употребление было ограничено сферой бытовой и фольклорной речи. Письменные языки также были достоянием меньшей части населения, поскольку грамотность широких народных масс в царской России была низкой: 72% населения (60% мужчин и 83% женщин) в возрасте 9—49 лет не умело ни читать, ни писать; многие народности окраин Российской империи были сплошь неграмотными<sup>2</sup>. Реакционное царское правительство проводило политику насильственной русификации всех других народов страны, насильно навяз-

<sup>1</sup> «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС», «Коммунист», 1972, 3, стр. 4.

<sup>2</sup> «Народное образование, наука и культура СССР. Статистический сборник», М., 1971, стр. 4.

звало русский язык всему нерусскому населению. Эта политика смыкалась с местным национализмом, отгораживавшим другие нации от достижений русской и мировой культуры, от всего прогрессивного, что заключалось в русском языке. Великая Октябрьская социалистическая революция создала необходимые условия для ликвидации этого тяжелого наследия. Всем нациям и народностям нашей страны были предоставлены равные права во всех сферах жизни, в том числе и в языковом развитии. Для практического претворения в жизнь равноправия потребовалось совершить культурную революцию. Провести ее в стране с подавляющим большинством неграмотного населения было чрезвычайно трудно. «...Для нас эта культурная революция, — писал В. И. Ленин в 1923 году, — представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)»<sup>3</sup>. Преодолевая тяжелое наследие прошлого, советский народ под руководством Коммунистической партии добился замечательных результатов. Наша страна стала государством всеобщей грамотности и передовой социалистической культуры.

В проведении культурной революции почетная и ответственная роль выпала на долю советских языковедов. Надо было создать письменность для многих бесписьменных языков и усовершенствовать правописание языков старописьменных, без чего невозможно было широкое распространение грамотности — основы культуры, наметить правильные пути развития литературных языков, способствовать их обогащению и совершенствованию, подготовить учебники и всевозможные пособия для всех звеньев народного образования. Без создания письменности невозможно было само возникновение новых литературных языков.

Историю создания и развития письменности в советскую эпоху можно разделить на три периода. В начальный период (примерно до середины — конца 20-х годов) в основном принимались меры по улучшению имевшихся алфавитов. Русским (кирилловским) письмом пользовались восточные славяне (русские, украинцы и белорусы) и выходцы из южнославянских стран (жители болгарских и сербских поселений), мордва, коми, удмурты, чуваша, осетины и якуты (народности, исповедовавшие христианскую религию). Письменность многочисленных народностей (придерживавшихся мусульманского вероисповедания) была на арабском алфавите, мало приспособленном к фонетическим системам других языков. Монгольские народности (буряты, калмыки) строили свое письмо на основе разновидности древнеуйгурско-монгольской графики. Восточноевропейские, крымские, горские и среднеазиатские евреи, а также караймы пользовались древнееврейским алфавитом. У грузин и армян издревле были свои оригинальные, достаточно совершенные системы письменности. Неподходящие алфавиты и устаревшие нормы правописания, во многом не соответствовавшие живому языковому употреблению, были трудными для широких масс населения, препятствовали распространению среди них грамотности.

Первым актом огромного культурного значения была реформа русского правописания, утвержденная декретом Советского правительства в октябре 1918 г. В ее подготовке принял участие большой коллектив выдающихся языковедов-русистов. Из русского алфавита были устранены буквы ъ, ѓ, і, ѵ, которые, не имея своего особого референта в живой речи, дублировали буквы е, ф, и, было отменено написание буквы ъ в конце

<sup>3</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 45, стр. 377.

слов, произведен ряд других существенных изменений. Предложения о реформе русской орфографии выдвигались задолго до 1918 г., но осуществились они только после Великого Октября. Реформа 1918 г. сыграла огромную роль в деле массового распространения грамотности, так как она заметно облегчила усвоение правил русского правописания широкими слоями населения. Некоторые уточнения и изменения в эту реформу были внесены в своде правил правописания, утвержденном в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР и Министерством просвещения РСФСР<sup>4</sup>. Были разработаны и утверждены также правила орфографии и пунктуации украинского и белорусского языков. Отдельные изменения вносились в правописание языков, имевших другие алфавиты (ср., например, частичную кодификацию арабской графической системы, известную под названием «новый аджам»).

Некоторые неприспособленные алфавиты, особенно основывавшиеся на арабском письме, оказались очень трудными для широких народных масс, ликвидировавших свою неграмотность. Возникла необходимость заменить неподходящие алфавиты доступной графикой. В 20—30-е годы начинается второй период в истории советской письменности, когда получают широкое распространение алфавиты на латинской основе. Идея применения латинского алфавита впервые возникла в Азербайджане, где в 1922 г. был организован комитет во главе с Н. Наримановым для подготовки перехода на новую письменность. В 1926 г. в Баку состоялся знаменитый в истории тюркоязычных народов съезд тюркологов, на котором был создан Центральный комитет нового тюркского алфавита. В 1930 г. этот комитет был преобразован во Всесоюзный центральный комитет нового алфавита при ЦИК СССР (ВЦК НА), который на местах имел свои отделения. Советские лингвисты в короткие сроки создали научно обоснованные латинизированные алфавиты, получившие всеобщее распространение среди всех тюркских, финно-угорских, кавказских (исключая грузин и армян, сохранивших свои насыщающие много веков письменности), иранских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и палеоазиатских народностей СССР. Латиница стала обслуживать десятки миллионов советских людей. Для многих языков именно в это время была впервые создана письменность. Латиница сыграла огромную роль в массовом распространении культуры и просвещения, в ликвидации неграмотности, в развитии новых литературных языков. В это время выдвинулись выдающиеся деятели народного просвещения — Н. Я. Марр, Н. Ф. Яковлев, Л. И. Жирков, С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев, К. К. Юдахин, А. К. Боровков, И. И. Зарубин, Д. В. Бубрих, В. И. Лыткин, Е. А. Бокарев, В. И. Цивциус и другие советские языковеды, много сделавшие для создания и развития новой письменности. Распространение новой письменности проходило в условиях острой борьбы со старой националистически настроенной интеллигенцией и духовенством, отстаивавшими архаические малодоступные для широких слоев населения письменности.

Для перехода на латинизированный, а не русский (кирилловский) алфавит в то время были свои причины. В 20-е годы среди нерусских народностей СССР были еще живы воспоминания о политике национального угнетения царских властей, поэтому создание письменностей на русской основе могло быть понято неправильно. В тех условиях создание алфавитов на русской основе встретило бы больше трудностей, нежели на основе латиницы, что замедлило бы темпы культурной революции. В 30-е

<sup>4</sup> «Правила русской орфографии и пунктуации», М., 1956

годы положение изменилось. Началось развернутое строительство социалистических устоев народного хозяйства, была ликвидирована неграмотность, произошло резкое повышение культурного уровня широких масс населения, возникла всеобщая тяга к изучению русского языка во всех уголках нашей страны, тяга естественная, добровольная, без каких-либо принуждений сверху. Обучение родным языкам на латинских алфавитах при одновременном обучении русскому языку создавало определенные трудности. Кроме того, неизмеримо возрос авторитет русского языка как средства международного общения, уважение к нему. Началось движение в пользу отказа от латинского алфавита и перехода на русскую письменность (третий период в истории советской письменности). К началу 40-х годов этот переход в основном был завершен, причем письменности на русской основе были созданы главным образом кадрами республиканских языковедов, к этому времени значительно выросшими. Для создания письменностей на русской основе не было нужды в организации какого-либо центрального органа, как это было при разработке и введении латиницы. Жизнь показала, что перевод многих языков народностей СССР на русский алфавит полностью себя оправдал.

Вместе с созданием и совершенствованием алфавитов и правил правописания возникали и развивались новые литературные языки. Для современных литературных языков характерно наличие более или менее единых норм, которых придерживаются говорящие на них. Нужно было правильно определить диалектные базы новых литературных языков. Народно-разговорные бесписьменные языки по своей диалектной структуре очень различны. Это относится даже к группам родственных языков. Так, среди тюркских языков не найти и двух, степень диалектного членения которых была бы одинакова. Было, например, определено, что в казахском языке отсутствуют ярко выраженные диалектные различия, поэтому при формировании казахского литературного языка не было надобности выбирать какой-либо опорный, основной диалект. Опорой для литературного языка были все говоры, весь казахский язык в целом. Другие языки имеют многочисленные, значительно отличающиеся друг от друга диалекты. Поэтому в некоторых случаях для создания литературных языков избирался один из диалектов, в других сразу несколько. Опорные диалекты выбирались главным образом не по собственно лингвистическим, а по иным признакам: общекультурным, географическим, демографическим и т. п. Выбрать опорный диалект (или опорные диалекты) было нелегко. Вокруг этих вопросов шла борьба, иногда допускались ошибки, которые позже исправлялись. Например, в начале 30-х годов, когда решался вопрос о диалектной базе бурятского литературного языка, некоторые лингвисты считали, что такой базой должен быть селенгинский диалект, наиболее близкий к халха-монгольскому языку. Ориентация на халха-монгольский язык, малоизвестный для большинства бурятского населения, была подвергнута справедливой критике. В 1936 г. бурятская лингвистическая конференция решила положить в основу литературного языка хоринский диалект, на котором говорит большинство бурятов.

Создание новых литературных языков в нашей стране завершено. Вместе со старописьменными языками у нас имеется свыше шестидесяти литературных языков, обслуживающих все население СССР. Около пятидесяти малых народностей и этнических групп не имеют своих литературных языков и пользуются русским языком или языками других наций. Вопрос о том, создавать для малых народностей письменности на их языках или нет, целиком находится в компетенции этих народностей (при этом учитываются местные условия, традиции и другие культурно-исторические факторы), поскольку языковое строительство в нашей стране ведется

исключительно на добровольных началах на основе пожеланий самого населения. Жизнь показала, что в ряде случаев малые народности отказывались от предложенных лингвистами письменностей, поскольку эти письменности оказались бесперспективными и практически нецелесообразными. Например, на Кавказе цахуры перешли на лезгинский литературный язык, андийцы и цезы перешли на аварский; карелы Калининской области и смежных районов — на русский язык и т. д.

Все литературные языки народов СССР, старописьменные и младописьменные, за истекшую половину столетия прошли большой путь развития. Прежде всего, чрезвычайно обогатилась их лексика. Различные понятия, вызванные громадными переменами в жизни советского населения, получили свое обозначение. В наше время особенно бурно развивается терминология, связанная с научно-технической революцией. Во многих литературных языках, прежде всего младописьменных, научно-техническая терминология создана впервые. Большую роль в формировании указанной терминологии этих языков сыграл и играет русский язык. В русском языке отрасли специальной лексики чрезвычайно расширились. Никто не может сказать, сколько слов в современном русском языке. Во всяком случае их миллионы, причем главную часть их составляют термины. Подавляющее большинство терминов имеет узкоспециальное распространение. Правда, многие из узкоспециальных терминов переходят в общеупотребительный язык и закрепляются в нем, становятся достоянием всего общества. Научно-техническая терминология становится главным (но, разумеется, не единственным) источником пополнения словарного состава литературного языка. Сходные процессы происходят и в других литературных языках народов СССР. Интенсивное развитие терминологии вызывает и определенные трудности в развитии языков, так как вопрос о взаимоотношении собственных и заимствованных терминов очень непрост и требует глубокой теоретической разработки и разумных конкретных решений. Последнее слово остается за общественной практикой.

Массовое распространение грамотности повлекло за собой демократизацию старописьменных языков, определенные изменения в нормах произношения, грамматического строя, в стилистической окрашенности слов и форм. Нормы языка — явление историческое, они не вечны. Общая тенденция их изменения — сближение литературных письменных канонов с разговорной стихией (а с другой стороны — подтягивание разговорной речи к письменной разновидности языка, хотя, конечно, различие между письменной и разговорной формами языка продолжает оставаться). В то же время сохраняется преемственность, роль традиции. В русской литературной орфоэпии важное место и теперь занимает так называемое московское произношение, которое в несколько измененном виде является образцом, на который ориентируются все говорящие по-русски. Устойчивая нормативность — важнейшая сторона любого высокоразвитого литературного языка. Разумеется, нормативность не исключает наличие вариантов средств выражения. Богатство и гибкость вариантности — свидетельство высокого уровня языкового развития. Нельзя себе представить литературный язык, состоящий из одних нейтральных, стилистически не окрашенных слов и форм (ср. пометы «разговорное», «просторечное», «народно-поэтическое» и т. п. в словарях и грамматиках). Однако вариантность, пейтральная или стилистически окрашенная, оправдывается только в тех случаях, когда она не противоречит законам развития литературного языка. Общественная практика отбирает и узаконивает все прогрессивное в языке и отбрасывает ненужное, противоречащее норме. Все сказанное относится и к новописьменным литературным языкам. Следует только добавить, что нормы и их стилистическое разно-

образе складывались в них заново, с использованием народно-разговорной базы, которая служила материалом для литературной обработки<sup>5</sup>.

Огромное развитие в литературных языках народов СССР получили жанры художественной, публицистической и научной речи. Резко возросла роль средств массового общения — радио, кино, телевидения, многотиражной печати и других, которые в дооктябрьское время или находились в зачаточном состоянии или вообще не существовали. Все это значительно повышает возможности сознательного воздействия на развитие языка и его нормы, а также и ответственность лиц, в распоряжении которых находятся эти средства. Большие требования предъявляются к языковедам, в обязанности которых входит теоретическое осмысление происходящих процессов и пропаганда научных знаний о языке.

Весьма существенные изменения произошли в общественных функциях литературных языков. Происходило и происходит стремительное их распространение как главного средства любого вида речевого общения широких масс населения. На наших глазах отмирают местные говоры. Не все языки по своим общественным функциям одинаковы. Литературные языки небольших наций и народностей ограничены в своем употреблении, поскольку они не всегда могут быть языками высшего образования, науки и т. д. В то же время для любого литературного языка, в зависимости от желания самого населения, полностью обеспечиваются литературное творчество, преподавание в начальной или средней школе, местная печать и радиовещание, публичные выступления. Все языки в нашей стране пользуются уважением и вниманием со стороны общественности и закона.

Особая роль принадлежит русскому языку. Являясь равным среди равных, он в то же время стал языком межнационального общения в нашей стране. Это означает, что двуязычие стало устойчивым явлением среди нерусского населения СССР. Оказывая благотворное воздействие на языки других советских наций и народностей, русский язык в свою очередь обогащается, прежде всего, в области лексики, за счет заимствований из других языков. Не рознь, не конкуренция, а братское содружество языков — характерная особенность социалистического общества. Главный итог языкового развития хорошо определен в Постановлении ЦК КПСС: «Важным результатом успешного решения национального вопроса в нашей стране является всестороннее развитие языков всех социалистических наций и народностей Советского Союза. Более 40 народов, не имевших в прошлом своей письменности, обрели в советский период научно разработанную письменность и имеют теперь развитые литературные языки. Все нации и народности СССР добровольно избрали русский язык в качестве общего языка межнационального общения и сотрудничества. Он стал могучим орудием взаимосвязи и сплочения советских народов, средством приближения к лучшим достижениям отечественной и мировой культуры»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Освещение этих процессов см. в кн.: «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР». Ашхабад, 1968.

<sup>6</sup> «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС», стр. 9.



Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО

### ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ В СССР

Победа Великого Октября, явившаяся главным политическим условием осуществления коренных социально-экономических преобразований, претворения в жизнь ленинской национальной политики и создания советских республик, имела столь же великое значение для свободного функционирования и развития языков народов СССР. «Образование Советского Союза, — говорится в постановлении ЦК КПСС, посвященном 50-летию СССР, — явилось одним из решающих факторов, обеспечивших благоприятные условия для переустройства общества на социалистических началах, подъема экономики и культуры всех советских республик...»<sup>1</sup>. Созданием Союза добровольно объединившихся Социалистических Республик были заложены основы для всестороннего развития и взаимообогащения языков советских народов. В новых наиболее благоприятных условиях возникли и новые социально обусловленные закономерности их развития. Наука о языке получила не только новые социальные стимулы для своего развития, не только новый богатый лингвистический материал, но и новую методологию для разработки ее теоретических основ.

**Языковое строительство.** Термин «языковое строительство», восходящий к первому периоду существования Советской власти, обязан своим рождением получившим широкое распространение новым понятиям «социалистическое строительство», «партийное строительство», «советское строительство» и т. д. Появление концепции «языкового строительства» было обусловлено марксистско-ленинской идеологией, выдвинувшей задачу практической реализации известного положения К. Маркса и Ф. Энгельса, которые писали, имея в виду язык: «Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода»<sup>2</sup>. Языковое строительство в таких грандиозных масштабах мыслимо было в одностороннем или маленьком государстве. Ни одна национальная окраина России не могла бы лишь своими собственными силами решить в исторически кратчайший срок величайшие социальные проблемы просвещения всех ранее отсталых народов, достигнуть небывалого подъема общеобразовательного, культурного и научно-технического уровня их развития. Языковое строительство представляло собой один из наиболее важных участков практического решения этих проблем.

<sup>1</sup> «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС», «Коммунист», 1972, 3, стр. 4.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 3, стр. 427.

Совершая грандиозные преобразования в политической, экономической, культурной жизни, многочисленные народы СССР нуждались в эффективных методах ликвидации своей вековой отсталости. Но таких методов, опыта в мировой практике не было. Планирование языкового развития в колоссальных масштабах применительно к десяткам языков, самых различных по структуре и по степени развитости социальных функций, впервые в истории оказалось возможным организовать именно в нашей стране.

Языковое строительство было вызвано насущной необходимостью осуществления направляющего руководства общества в такой жизненно важной области, как функционирование и развитие языков в многонациональном Советском государстве. При этом ставилась задача широко использовать языки населяющих страну народов для повышения идейно-политического, общеобразовательного и культурного уровня их носителей.

Языковое строительство явилось одним из путей выполнения великой программы просвещения жителей молодой Советской республики, намеченной X съездом РКП(б), проходившим под руководством В. И. Ленина: «...задача партии состоит в том, — говорится в исторических решениях X съезда РКП(б), — чтобы помочь трудовым массам...: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школы, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке... для ускоренной подготовки местных кадров...»<sup>3</sup>. В этих решениях были сформулированы политические установки партии, основанные на ленинской национальной политике. Языковое строительство как понятие социологическое, социально-лингвистическое включало в себя методологический, идейно-политический, научно-организационный, научный, культурно-просветительный, экономический аспекты рассмотрения.

Методологической и идейно-политической основой языкового строительства явились основные идеи В. И. Ленина, которые в обобщенном виде могут быть выражены в следующих словах: не подавление культур и языков национальных меньшинств, угнетенных народов, не насильственная ассимиляция, не поглощение малых наций, их языков и культур великими нациями, не уничтожение так называемых «примитивных» культур и языков, не их изоляция и «замораживание», а всемерное развитие и взаимообогащение больших и малых наций и народностей, их культур и языков в соответствии с их жизненными интересами и потребностями. Общетеоретические, методологические и идейно-политические установки В. И. Ленина легли в основу языкового строительства, прогнозирования и планирования развития языков в нашей стране, начиная с первых дней существования Советской власти. Одновременно В. И. Ленин глубоко и всесторонне развил основополагающую идею К. Маркса: «Всякая нация может и должна учиться у других»<sup>4</sup>.

В соответствии с директивными указаниями партии для практического руководства языковым строительством были учреждены главные научно-организационные центры — Всесоюзный центральный комитет нового алфавита при ЦИК (ВЦК НА), Комитет нового алфавита народов Севера

<sup>3</sup> «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, 7-е изд., 1954, стр. 559.

<sup>4</sup> К. М а р к с, Капитал, т. I, М., 1967, стр. 10.

при Президиуме ВЦИК. Создаются научно-исследовательские институты языка и культуры в союзных, автономных республиках и автономных областях. На базе этих институтов впоследствии — в 30 — 50-х годах были организованы Академии наук союзных республик и филиалы Академий наук в некоторых автономных республиках. Для подготовки учительских кадров была развернута широкая сеть курсов, средних и высших педагогических учебных заведений.

Теоретические и научно-практические вопросы языкового строительства широко обсуждались на совещаниях, конференциях всесоюзного и местного значения.

Научный аспект предусматривал разработку целого комплекса проблем, основными из которых являются следующие: 1) определение принципов выбора языков, на которых должна быть создана письменность; 2) выработка принципов установления диалектной базы того или иного младописьменного языка; 3) разработка фонологических основ алфавитов; 4) определение графических основ алфавитов; 5) создание терминологии; 6) составление орфографических словарей и правил; 7) замена древних и средневековых несовершенных алфавитов современными и более совершенными; 8) исследование проблем нормирования литературных — старописьменных и младописьменных — языков; 9) изучение вопросов развития функций литературных языков и т. д.

В нашей многонациональной стране, где представлено около 130 языков только коренных народов, нелегко было дать научное обоснование выбора языков для создания письменности. Дело в том, что численность говорящих на том или ином языке колеблется в весьма значительных пределах: от нескольких сот человек (например, на гинухском языке в Дагестане в 30-е годы говорило около 200 человек) до сотни миллионов человек (например, на русском языке). В этих условиях решить проблему создания письменности для того или иного языка при помощи исключительно внутривидовых критериев не представлялось возможным. На первый план выступали идеологические факторы, определяемые языковой политикой, а также социолингвистические критерии; учитывались и внутривидовые особенности (например, разграничение диалектов и близкородственных языков на основании внутривидовых данных, хотя здесь далеко не всегда удавалось лингвистически безупречно обосновать то или иное решение).

При установлении диалектной базы младописьменного языка также исходили из совокупности социологических, социолингвистических и внутривидовых данных. Так, с целью выявления внутренней структуры языков, с учетом которой создавалась письменность, лингвисты изучали их фонетические, фонологические, морфологические, синтаксические и лексико-семантические системы, а также диалектную дифференциацию. Особое внимание уделялось социологическим и социолингвистическим требованиям к диалектной базе младописьменного языка; в первую очередь здесь выяснялись такие вопросы: занимают ли представители данного диалекта передовое место в политической, экономической и культурной жизни народа; говорит ли на данном диалекте большинство народа, для которого создается письменность; отражают ли в целом фонетическая система, грамматический строй и словарный состав диалекта основную специфику языка. Учитывались и установившиеся исторические традиции применения диалекта в функции средства взаимообщения представителей разных диалектов.

Разработка фонологических основ алфавитов младописьменных языков представляла собой одну из основных теоретических задач создания письменности, при решении которой возникли различные точки зрения. Одни

ученые полагали, что алфавит для широкого массового употребления должен быть создан на основе фонетической транскрипции. Сторонники другой точки зрения, напротив, утверждали, что система практического письма должна графически отражать все фонемы данного языка. Краткий обзор этих научных течений был дан Н. Ф. Яковлевым, который полагал, что невозможно создать массовый алфавит на основе фонетической транскрипции: «...в сущности нет никакого предела количеству звуков в языке, если исследователь подходит к этому вопросу только с точки зрения физико-акустической, т. е. если он воспринимает звуки вне всякого отношения к социальной языковой их функции, вне отношения звуков к значимым элементам языка»<sup>5</sup>. Критикуя в то же время концепцию фонем Бодуэна де Куртэна и Щербы, которые «не объяснили лингвистической сущности данного явления, его социальной основы, сводя дело к психологическому акту, к явлениям индивидуального сознания каждого отдельного говорящего», Н. Ф. Яковлев писал: «Я вполне присоединяюсь к выводам проф. Л. В. Щербы, что в каждом языке существует строго ограниченное количество звуков — „фонем“, однако в отличие от последнего я даю этому факту чисто лингвистическое толкование. Именно фонемы выделяются, по моему мнению, не потому, что они сознаются каждым отдельным говорящим, но они потому и сознаются говорящими, что в языке, как в социально выработанной грамматической системе, эти звуки выполняют особую грамматическую функцию»<sup>6</sup>. По мнению Н. Ф. Яковлева, «мы должны признать фонемами те звуковые отличия, которые выделяются в речи как ее кратчайшие звуковые моменты, в отношении к различению значимых элементов языка... Фонемы — это социально выделяемые в языке звуки, а таких звуков в каждом языке существует различное, но всегда строго ограниченное количество. Эти-то звуки — фонемы во все времена и у всех народов, применявших звуковую систему письма, и легли в основу буквенного обозначения. Изобретатели их алфавитов интуитивно определяли количество фонем данного языка и каждую фонему обозначали особым знаком — буквой. В этом и заключалось донаучное решение проблемы практического алфавита»<sup>7</sup>. Главный вывод состоял в том, что «система практического письма должна графически отражать все фонемы данного языка — и только. Таково основное положение для создания практически применяемых алфавитов»<sup>8</sup>.

С 1925 по 1940 г., т. е. в период создания и стабилизации письменности младописьменных народов, советские языковеды многое сделали для выработки теоретических и практических принципов создания и усовершенствования алфавитов.

В 20—30-х годах были обоснованы теоретические принципы создания графических основ алфавитов. В сборниках «Революция и письменность», «Письменность и революция», «Культура и письменность Востока» и других изданиях печатались специальные исследования, посвященные данной проблеме. Наиболее важные и сложные вопросы соотношения графики и фонетики рассматривались в трудах А. А. Реформатского, Н. Ф. Яковлева, В. А. Артемова, Б. М. Гранде и др.

Проблемы установления графических основ алфавитов рассматривались с социальной точки зрения, в свете задач, которые стояли в тот или иной период осуществления языковой политики. На определенном этапе развития письменности у народов СССР латинизированный алфавит сыграл

<sup>5</sup> Н. Ф. Яковлев, Математическая формула построения алфавита, сб. «Культура и письменность Востока», М., 1928, стр. 48.

<sup>6</sup> Там же, стр. 46.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же, стр. 48.

положительную роль, поскольку он обладал существенными преимуществами перед некоторыми древними и средневековыми (сложными и трудными для широкого употребления) алфавитами. По причинам общесоциологического характера переход на русскую графическую основу стал необходим для ряда старописьменных народов, пользовавшихся усложненными графическими системами, а также для младописьменных народностей. К тому же, как известно, славянская графика, лежащая в основе русского алфавита, обладает большим совершенством.

При переходе на русскую графическую основу учитывались политические, экономические, культурные связи между русским и другими народами СССР, их братское сотрудничество и взаимопомощь. Этот переход обеспечил устранение алфавитного разноречия в национальных школах, улучшение преподавания и усвоения русского и родных языков. В результате этого была облегчена разработка орфографий, усилился процесс формирования общественно-политической и научно-технической терминологии, в основном заимствованной всеми младописьменными и большинством старописьменных языков из русского языка (или через него из других языков).

Учитывая свои устоявшиеся исторические традиции, латыши, литовцы и эстонцы продолжают пользоваться латинской графикой, а армяне и грузины — своими древними, достаточно совершенными алфавитами. Все народы СССР стабилизировали свои литературные языки на алфавитах, созданных при посредстве русской графики.

Вопросы усовершенствования алфавитов в теоретическом и практическом аспектах продолжают привлекать внимание советских языковедов<sup>9</sup>.

Проблемы терминологии разрабатывались не только в лингвистическом, но и в социальном плане с самого начала создания письменности, поскольку словарный состав младописьменных и старописьменных языков обогащается прежде всего за счет терминологии. В национальных республиках и областях были организованы постоянно действующие терминологические комиссии. Запросы литературных языков в терминологии удовлетворялись путем использования следующих источников: а) словарного богатства данного языка и его словообразовательных возможностей; б) диалектной лексики; в) интернациональных терминов; г) терминов, заимствованных из русского и других языков народов СССР.

Характерной особенностью развития современной терминологии стало то, что она впервые в советскую эпоху начала обогащаться не только за счет терминов, созданных на базе и при посредстве русского языка, но также за счет терминов, возникших в других литературных языках советских народов. Так, в армянском литературном языке были созданы с учетом установившихся международных моделей новые термины *наприт*, *дитилен*, *севанит*, *ереванит* и другие, которые вошли не только в языки народов СССР, но и в международную терминологию соответствующей отрасли знания.

Советские языковеды внесли много нового в разработку орфографий младописьменных языков и в усовершенствование орфографических норм старописьменных языков (русского, украинского, грузинского и других). Основные орфографические правила разрабатывались одновременно с составлением алфавитов, исходя из произносительных норм живого языка, главным образом диалекта, легшего в основу литературного языка. При установлении орфографических норм заимствованных и заимствуемых слов принимались во внимание и социальные факторы. Учитывались также

<sup>9</sup> См. об этом: сб. «Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР», М., 1972.

социально обусловленные закономерности складывания общего лексического фонда в языках народов СССР в условиях развертывания процессов сближения наций, народностей и их культур. В орфографических правилах относительно редко наблюдаются отклонения от общих принципов, разработанных с учетом не только лингвистических, но и социальных требований к общему лексическому фонду в условиях советской языковой жизни.

Таким образом, языковое строительство — многоаспектное социально-лингвистическое явление, основанное на языковой политике СССР в определенный период развития Советского государства. В период широкого осуществления этого строительства имели место отдельные промахи, неудачи и недостатки (например, чрезмерное увлечение созданием письменности для очень малочисленных народностей, которые сами впоследствии отказались от нее).

Главные задачи, стоявшие перед языковым строительством в нашей стране, успешно выполнены. В настоящее время происходит дальнейшее обогащение и усовершенствование литературных языков СССР, развитие их общественных функций. Сам термин «языковое строительство» хронологически относится, главным образом, к 20—30-м гг.

И в наши дни периодически проводятся мероприятия по улучшению алфавитов, усовершенствованию орфографии, упорядочению терминологических систем. Однако подобные мероприятия носят частный характер, они проводились и до революции, могут иметь место и в будущем в любой стране, и было бы неправильно приравливать их к языковому строительству в СССР в 20—30-х годах, представлявшему собой важную часть великой социальной программы развития наций, народностей и их культур на базе родных языков.

**Развитие старописьменных и младописьменных языков в советскую эпоху.** Из многочисленных аспектов этой большой проблемы нами рассматриваются здесь в основном наиболее общие социально обусловленные закономерности в их взаимодействии с внутренними процессами, являющимися, с одной стороны, результатом влияния социальных факторов на внутренние законы функционирования языка, с другой — продуктом спонтанных внутренних изменений. По словам А. Мартине, «лингвисты, признав зависимость языковых структур от воздействия структур социальных, могут надеяться на достижение более или менее точных результатов лишь в том случае, если они сосредоточат свои исследования на каком-нибудь весьма ограниченном периоде эволюции данного языка...»<sup>10</sup>. Мы имеем возможность изучать эти проблемы в пределах ограниченного периода эволюции не только одного языка, но и многочисленных других языков, различающихся по типологии, по степени развитости их социальных функций, а также по их структурам.

**Развитие функций литературных языков в советский период** шло особенно бурными темпами. Не будет преувеличением сказать, что ни одна страна в мире не имела и не имеет такого богатого опыта сознательного, целеустремленного развития социальных функций национальных языков в исторически короткий срок, каким располагает Советский Союз. Особенно широко развились социальные функции старописьменных языков. Между отдельными старописьменными языками существуют некоторые различия в объеме выполняемых ими общественных функций. Эти различия определяются целым рядом факторов, в том числе социально-экономического, политического, этнолингвистического, исто-

<sup>10</sup> А. Мартине, Основы общей лингвистики, в кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 532.

рико-культурного характера. Они зависят и от формы национальной автономии. Известную роль играют и такие факторы, как численность населения, компактность размещения носителей данного языка на одной территории, существование и давность исторических письменных традиций и т. д.

Обратимся к рассмотрению хотя бы некоторых конкретных данных, красноречиво показывающих, как коренные политико-экономические и культурные преобразования в нашей стране повлекли за собой расширение общественных функций национальных литературных языков.

Родные языки стали широко применяться в сфере культуры и искусства. В 1914 г. во всей России было лишь 177 театров, причем почти все они функционировали на русском языке. В 1957 г. в СССР театры работали более чем на 40 языках; число театров к 1970 г. достигло 547; из этого количества 232 функционировали в 14 союзных республиках (кроме РСФСР); число посещений театров по этим 14 союзным республикам за 1970 год составило 51 436 тыс.

В 1914 г. в России было всего 14 тысяч массовых библиотек, в них насчитывалось 9 млн. экз. книг. В Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении не было тогда ни одной массовой библиотеки. В 1970 г. в 14 союзных республиках (кроме РСФСР) функционировало 66 410 массовых библиотек, в них имелось 732 721 тыс. книг и журналов (в том числе, к примеру, в Узбекистане функционировали 5822 массовые библиотеки, в них — 31 237 тысяч книг и журналов; в Киргизии работало более 1350 массовых библиотек и в них 11 383 тыс. книг и журналов и т. д.).

В 1914 г. в России имелось 237 клубных учреждений (народных домов), в том числе 94 — в сельских районах; в них, в основном, применялся русский язык. Все эти учреждения находились главным образом в Европейской части страны. В 1970 г. только в 14 союзных республиках (кроме РСФСР) было 55 367 клубных учреждений. Наряду с языками национальных республик, играющими основную роль, в этих учреждениях довольно широко применяется и язык межнационального общения.

Трудно переоценить то значение, которое приобретает применение национальных языков в культурно-просветительных учреждениях города и села для повсеместного распространения и укрепления норм этих языков, для нивелировки диалектов и сужения их функций за счет расширения функций литературных языков.

Нельзя не указать и на экономический аспект: для нашей страны, безусловно, дорогостоящими являются затраты, связанные с проведением в жизнь целого комплекса мер, обеспечивающих развитие, расширение социальных функций всех письменных языков. Приведем несколько примеров. В 1970/71 учебном году только в Украинской ССР функционировали 29 902 общеобразовательные школы всех типов, в которых украинский язык являлся языком обучения или преподавался как предмет (между тем до революции на украинском языке не велось обучения даже в начальных классах; он не преподавался и как предмет). Для этого необходимо было подготовить и издать миллионными тиражами сотни и тысячи различных учебников и учебных пособий, подготовить огромное количество учителей для преподавания на украинском языке. В 1970/71 учебном году только в Украинской ССР работало более 421 тыс. учителей.

До революции в Азербайджане, Армении и Грузии не было высших учебных заведений (за исключением высших женских курсов в Тифлисе, на которых училось около 300 чел.). В 1970/71 учебном году в упомянутых трех республиках функционировало 43 высших учебных заведения, в которых училось 243,8 тыс. студентов. Обучение основной массы студентов велось в этих вузах соответственно на азербайджанском, армянском

и грузинском языках. В 1970 г. в Азербайджане, Армении и Грузии было издано учебной литературы 14 265 тыс. экз., главным образом на азербайджанском, армянском и грузинском языках. В широких масштабах стала развиваться периодическая печать. В 1970 г. только на азербайджанском, армянском и грузинском языках издавалось 268 газет общим годовым тиражом 1 266 145 тыс. экз. Аналогичные данные можно было бы привести и по другим союзным республикам.

Советское государство широко финансировало развитие социальных функций национальных языков во всех сферах духовной жизни народов. Даже в очень тяжелое для Советской России время, в 1922 г., В. И. Ленин указывал на необходимость «... из сэкономленных миллиардов отдать не меньше половины на ликвидацию безграмотности и на читальни»<sup>11</sup>, широко применяя для этой цели родные языки.

Внутриструктурное развитие литературных языков охватывало все уровни — лексико-семантический, фонетико-фонологический, морфологический, синтаксический, стилистический. Почти все письменные и бесписьменные языки СССР к настоящему времени описаны<sup>12</sup>.

Большие результаты, достигнутые в развитии лексико-семантических систем литературных языков, были обусловлены не внутренними законами, не имманентными стимулами развития языка, а социальными факторами, сознательным и стихийным воздействием общества на функционирование языков. Объем лексического фонда любого языка определяется социальными факторами. Образование различных пластов словарного состава по отраслям знания, промышленности, сельского хозяйства обусловлено также социальными факторами, развитием общества.

В связи с организацией обучения в начальных школах на младописьменных языках были созданы терминологические системы в объеме требований начального образования сознательно предпринимаемыми действиями общественности. До революции даже на древнеписьменном грузинском языке, например, не велось обучение в вузах. Организация преподавания почти всех дисциплин в высших учебных заведениях Грузии на грузинском языке стимулировала создание многочисленных терминологических систем. Укажем, что для изучения проблем терминологии в Институте языкознания АН ГрузССР был организован специальный отдел научной терминологии. В сводном терминологическом словаре содержится более 50 000 технических терминов и терминологических выражений; в словаре сельскохозяйственной терминологии насчитывается более 40 000 терминов и терминологических выражений<sup>13</sup>. Кроме того, созданы отдельные терминологические системы, нормированные путем составления соответствующих словарей (например, словари математической, строительной, авиационной, радиотехнической, медицинской, экономической терминологии и т. д.). Аналогичная терминологическая работа велась и ведется также в других союзных республиках.

Сознательное воздействие общества на лексику затронуло и семантическую структуру многих исконных или заимствованных слов: семанти-

<sup>11</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 54, стр. 110.

<sup>12</sup> См., например: сб. «Младописьменные языки народов СССР», М., 1959; Ю. Д. Дешериев, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966; «Языки народов СССР», I—V, М., 1966—1968; Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Развитие языков народов СССР в советскую эпоху, М., 1968; коллективный труд «Закономерности развития языков народов СССР в советскую эпоху», М., 1969—1972, и др.

<sup>13</sup> «Русско-грузинский словарь технической терминологии», Тбилиси, 1957; «Русско-грузинский словарь сельскохозяйственной терминологии», Тбилиси, 1959, и т. д.

ческая структура кирг. *умгу* «корень (растения)» была осложнена целе-направленным употреблением его в значении «корень слова»<sup>14</sup>, ср. ингушск. *овла* «корень (растения, зуба)», но *деша овла* «корень слова», осет. *uidaг* «корень», но: *квадраток уйдаг* «квадратный корень» (матем.) и *дзырды уйдаг* «корень слова» (лингв.)<sup>15</sup>; младописменные языки заимствовали русск. *совет* лишь как общественно-политический термин, тем самым значительно сузив семантическую структуру русского слова, и т. д.

Взаимодействие социальных факторов и внутренних, имманентных законов функционирования языка проявляется наглядно в развитии словарного состава литературных языков за счет их внутренних ресурсов. При этом для обогащения и развития лексики широко используются все внутренние средства языка: различные способы словообразования, создание калек и полукалек. Степень использования тех или иных приемов образования новых слов зависит и от социальной ориентации. Так, распространение в нашей стране идеи взаимообогащения языков, осознание благотворности этого процесса способствовало более широкому заимствованию лексических единиц, образованию многочисленных калек и полукалек, новых моделей слов, новых типов словосочетаний; ср. узб. *бешйиллик* «пятилетка», кирг. *ак алтын* «белое золото», чеч. *бел-аз-хо* «безработный» (новая модель слова), удм. *исследовательской уж* «исследовательская работа» и т. д. Темпы, интенсивность расширения и обогащения лексико-семантических систем языков народов СССР являются высокими<sup>16</sup>.

В различных слоях лексики в разной степени происходит количественные и качественные изменения. Наблюдения показывают, например, что та часть словарного состава языков народов нашей страны, которая относится к названиям основных частей организма, терминам родства, числительным, почти не подверглась в послеоктябрьский период существенным изменениям. Слои же словарного состава, отражающие развитие терминологии, постоянно расширяются, возникают новые терминологические системы и т. д.

Имея в виду не только теперешнее состояние, но и перспективы развития лексико-семантических систем наших национальных языков, следует отметить, что эти системы в разной степени отражают развитие науки, техники, материальной и духовной культуры народов СССР. По указанной причине, подобно тому, как невозможно выравнивание общественных функций всех языков нашей страны, так представляется неправомерным выдвигать и задачу выравнивания уровня развития их лексико-семантических систем.

Изучение закономерностей развития лексико-семантических систем языков СССР позволило выявить и некоторые другие тенденции: функциональное развитие языков, расширение сфер их применения привели к усилению процессов полисемии как путем расширения значений отдельных слов, так и посредством увеличения количества слов, охваченных интенсивным развитием полисемии: например, приведенное выше осетинск. *uidaг* «корень» в советское время, как указывает в своем словаре В. И. Абаев, приобрело еще по крайней мере два новых значения (сознательным воздействием общества на функционирование языка): *квадраток уйдаг* «квадратный корень» (матем.), *дзырды уйдаг* «корень слова» (лингв.).

Для звукового строя литературных языков также характерны новые явления, обусловленные: а) факторами внутривидовых спонтанных фонетических изменений; б) сознательным воздействием общества на функ-

<sup>14</sup> «Русско-киргизский словарь лингвистических терминов (Проект)», Фрунзе, 1963.

<sup>15</sup> В. И. Абаев, Русско-осетинский словарь, М., 1950, стр. 203.

<sup>16</sup> Т. А. Бертагаев, Сборник статей, Улан-Удэ, 1948, стр. 31—76.

ционирование и развитие фонетических и фонологических систем; в) иноязычным влиянием. Сознательное воздействие общества на функционирование языка может привести к включению в его фонологическую и фонетическую системы новых диалектных и заимствованных фонем, а также к активизации тех или иных звуковых процессов. В СССР нет ни одного случая образования совершенно новой фонологической и фонетической системы литературного языка. Фонологические и фонетические системы младописьменных языков состоят из основных фонем, восходящих к опорным диалектам, и лишь осложняются отдельными фонемами и фонетическими явлениями, заимствованными из других диалектов и языков. В редких случаях можно указать на образование новых фонем (например, в калмыцком)<sup>17</sup>, на освоение заимствованных фонем (например, в удмуртском *х, ф, ц, рь*)<sup>18</sup>, иногда имеет место замена исконной фонемы заимствованной (например, в чеченском литературном языке замещение исконной билабиальной фонемы заимствованной губно-зубной *в* в речи двуязычных чеченцев)<sup>19</sup> и т. д. Не наблюдаются и случаи сближения фонологических систем разносистемных языков.

Особый интерес представляют фонетические процессы, возникшие в младописьменных языках в советскую эпоху. В них перекрещиваются элементы «спонтанного» внутривидового развития языка с сознательным использованием отдельных характерных фонетических явлений, встречающихся в разных диалектах, наблюдаются факты параллельного употребления исконных и заимствованных фонетических вариантов слов и т. д.

Морфологические системы младописьменных языков, формируясь и развиваясь, также не оставались адекватными морфологическим системам опорных диалектов. Основой морфологических систем младописьменных языков являются морфологические системы опорных диалектов при известном использовании морфологических элементов других диалектов данного языка; литературные языки используют и морфологические элементы, заимствованные из других языков; здесь возникают также новые явления, образовавшиеся на основе взаимодействия всех перечисленных выше источников (например, новые структурные типы относительных прилагательных: башк. *социальн-политик* «социально-политический», калмыцк. *революционн-судхлина* «революционно-освободительный» и т. д.). При этом морфологические системы литературных языков СССР в основном развиваются по своим внутренним законам. Среди старописьменных и младописьменных языков нет ни одного, который утратил бы важнейшие конститутивные признаки исконной природы своей морфологической системы.

Синтаксические системы литературных языков разносторонне развились в советское время путем: а) активизации собственных синтаксических средств, б) использования диалектных фактов, в) усвоения иноязычных заимствований. Синтаксическая система опорного диалекта не всегда и не во всем становилась эталоном синтаксической системы младописьменного языка. Последняя формировалась из различных источников: а) из основных и наиболее распространенных в общенародном языке элементов опорного диалекта; б) из конструктивных моделей других диалектов и говоров данного языка; в) путем заимствования синтаксических явлений из других языков, главным образом из русского языка;

<sup>17</sup> См.: Д. А. Павлов, Состав и классификация фонем калмыцкого языка, Элиста, 1963, стр. 102—104.

<sup>18</sup> См.: «Грамматика современного удмуртского литературного языка», Ижевск, 1962, стр. 28—30.

<sup>19</sup> См.: Ю. Д. Дешериев, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966, стр. 219—220.

г) из синтаксических явлений, образовавшихся в результате взаимодействия всех перечисленных выше источников.

Синтаксические системы всех литературных языков функционируют прежде всего по своим внутренним законам, широко используя собственные потенциальные возможности дальнейшего развития. Каких-либо признаков разрушения синтаксических систем или исчезновения основных конститутивных элементов литературных языков не наблюдается. Не наблюдается и тенденции к сближению и слиянию специфических черт синтаксических систем индоевропейских, финно-угорских, тюркских, монгольских, иберийско-кавказских и других языков нашей страны и к возникновению на их основе новой единой синтаксической системы. Что же касается заимствований отдельных синтаксических явлений из русского языка некоторыми, главным образом младописьменными, языками, а также образования новых однотипных в известном отношении элементов, обусловленных общими процессами современного общественного развития, то они представляют собой явления особого характера и не свидетельствуют о сближении или слиянии исконных синтаксических систем многочисленных разнотипных языков нашей страны.

Стилистические системы литературных языков достигли высокого уровня развития. Стилистическая дифференциация языка в значительной мере зависит от его общественных функций, сфер его применения. Образование хорошо развитых функциональных стилей в области естественных и технических наук в украинском, белорусском, узбекском, азербайджанском, армянском, грузинском и в некоторых других языках впервые произошло в советское время. Как отмечал Л. А. Булаховский, в литературных языках нашей страны сформировался советский публицистический стиль под сильным влиянием русской публицистики, произведений В. И. Ленина; это влияние придает «советскому стилю в словесном материале языков всего нашего Союза ту монолитность и характерную выразительность, которые сделали его стилем эпохи»<sup>20</sup>.

Жанровая функциональная стилистическая специализация языковых средств на всех его уровнях является одним из важных показателей развития литературных языков вообще, а младописьменных — в особенности. Современное состояние и научно обоснованное прогнозирование развития общественных функций языков народов СССР требуют различного подхода к их дальнейшей стилистической дифференциации. Можно выделить:

1. Функционально наиболее развитые литературные языки, на которых издается большая общественно-политическая, художественная и научно-техническая литература (например, украинский, белорусский, узбекский, казахский, литовский, грузинский, азербайджанский, армянский, киргизский, таджикский, туркменский, молдавский, латышский, эстонский, татарский и некоторые другие, выполняющие функции языка обучения в средней и высшей школе, а также языка науки, техники, искусства и т. д.), и дальше будут совершенствовать и раавивать свои стили.

2. Функционально менее развитые литературные языки, на которых не ведется обучение в вузах, которые не функционируют в сфере науки, на которых не издается большая научно-техническая литература, — уже в силу этих обстоятельств они не могут претерпевать стилистическую дифференциацию в такой же мере, как, например, украинский, узбекский, грузинский и некоторые другие языки.

3. Письменные языки малочисленных народностей (например, нанайский, чукотский, эскимосский), на которых издаются буквари, небольшая

<sup>20</sup> См.: И. К. Белодед, Русский язык — язык межнационального общения народов СССР, Киев, 1962, стр. 15.

литература, выходит периодическая печать, не нуждаются во всеобъемлющей стилистической дифференциации.

4. Бесписьменные языки, в отношении которых вряд ли есть основания полагать, что все они без исключения станут письменными и подвергнутся всесторонней жанрово-стилистической дифференциации.

Из сказанного вытекает, что в будущем трудно предполагать выравнивание уровня стилистической дифференциации всех старописьменных, младописьменных и бесписьменных языков народов СССР.

\*

Характерной особенностью языковой жизни народов СССР является возрастание роли русского языка как языка межнационального общения. В наше время усиливаются и расширяются процессы сближения народов СССР и их культур, а также возрастает воздействие социальных факторов на развитие национально-русского двуязычия. Национальные языки продолжают развиваться под благотворным влиянием русского языка.

Русский язык также обогащается за счет заимствований из других языков народов СССР. Еще А. С. Пушкин отмечал, что русский язык — «переимчивый и общежительный в своих отношениях с чужими языками». В новых условиях развития языков широко разворачиваются процессы их взаимодействия, образования общего лексического фонда.

Народы нашей страны достигли огромных успехов в овладении родными и русским языками, в повышении культуры речи. Жизнь идет вперед быстрыми темпами, повседневно возрастает образовательный и общекультурный уровень населения. Все расширяющееся среди населения свободное владение родным и русским языками в национальных республиках, областях и округах будет способствовать устранению возможности возникновения тенденции к изоляции языковыми барьерами народов союзных республик друг от друга. Противодействием всему этому и служит основной тип двуязычия в СССР — родной и русский язык в функции общего языка межнационального общения.

Языковеды нашей страны должны создавать высококачественные пособия, помогающие развитию и широкому распространению национально-русского двуязычия во всех необходимых сферах жизни советского общества, одновременно ведя борьбу против кое-где наблюдаемых попыток вытеснить из национальных языков интернационализмы и советизмы, против архаизации лексики, против рецидивов пуризма в разработке общественно-политической и научно-технической терминологии.

Таким образом, старописьменные и младописьменные языки продолжают развиваться во всем главном по своим внутренним законам, взаимобогащаясь и испытывая благотворное влияние русского языка.

Большое теоретическое и практическое значение для правильного понимания главного направления развития советского общества, особенностей дальнейшего функционирования и развития языков имеет выдвинутое на XXIV съезде КПСС следующее положение: «В истекшие годы под руководством партии были сделаны новые шаги по пути всестороннего развития каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего постепенного сближения наций и народностей нашей страны. Это сближение происходит в условиях внимательного учета национальных особенностей развития социалистических национальных культур... За годы социалистического строительства в нашей стране возникла новая историческая общность людей — советский народ»<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, «Материалы XXIV съезда КПСС», М., 1971, стр. 78.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Н. САВЧЕНКО

### ЯЗЫК И СИСТЕМЫ ЗНАКОВ

1. В последний период в советском языкознании широко распространилось восходящее к де Соссюру мнение о том, что язык есть система знаков. Из этого исходного положения должен следовать вывод, что правильным подходом к изучению языка, который может раскрыть его сущность, является только подход семиотический, а социологический не соответствует природе языка, поскольку знаковые системы как технические средства, созданные людьми (если не включать в них сознание), вряд ли можно отнести безоговорочно к числу общественных явлений. Многие по существу так и думают. Некоторые наши ученые указывали на то, что в действительности этот вопрос гораздо сложнее, что только звуковая сторона языковых единиц может быть признана знаковой, да и то — в особом смысле<sup>1</sup>, что слова существенно отличаются от знаков<sup>2</sup>, что слово есть единство знака и значения<sup>3</sup>, но эти замечания остались без последствий. В этом отношении показательна книга «Общее языкознание», выпущенная в 1970 г. Институтом языкознания АН СССР и, следовательно, призванная отразить взгляды, характерные для советского языкознания.

В этой книге указаны глубокие и очень важные отличия языка от знаковых систем. Отмечено, что «специфика языковых знаков создается прежде всего тем, что естественный язык служит средством познания объективного мира и организации речемыслительной деятельности человека» (стр. 135), что «принципиальная безграничность поэтического поля языка (и связанная с этим неограниченная способность к бесконечному развитию и модификациям) представляется наиболее существенным качеством, присущим любому известному или неизвестному нам языку» (стр. 152), и многое другое, а особенностям языка, связанным с его способностью развиваться стихийно, по объективным законам, посвящен даже целый раздел главы второй «Специфика языкового знака (в связи с закономерностями развития языка)»; но эти свойства языка авторы считают также знаковыми и продолжают утверждать, что язык есть только система знаков.

Такое утверждение может быть правомерным в том случае, если данные отличия языка от других знаковых систем несущественны и не выходят за пределы понятия знака. Но если язык признается средством познания объективного мира и организации речемыслительной деятельности человека, то эта особенность его является очень существенной и выходит далеко за пределы знаковых систем, поскольку знаки только обозначают что-то и тем самым служат средством передачи информации, но не формируют по-

<sup>1</sup> См.: Л. О. Резников, Понятие и слово, Л., 1958, разд. 6.

<sup>2</sup> См.: В. А. Звегинцев, Проблема знаковости языка, М., 1956; ср.: его же, Очерки по общему языкознанию, М., 1962, гл. I, 1.

<sup>3</sup> См.: Т. П. Ломтев, О природе значения языкового знака, «Вопросы философии», 1960, 7.

нятий и всего содержания информации. Оттого что словесный знак формирует понятие, последнее становится неотделимым от него и образует вместе с ним единство, называемое словом. Это признают и авторы «Общего языкознания»; они пишут о нерасторжимости означаемого и означающего в языковом знаке (стр. 181) и нигде не выводят семантическую систему за пределы языка. Но ведь эта особенность слова, вернее — сущность его, несомнима с понятием знака. Сущность знака состоит в том, что он что-то обозначает, т. е. в сознании людей является как бы заместителем чего-то иного, находящегося вне его. Из этой сущности следует, что означаемое знака не может быть составным элементом его самого. В «Общем языкознании» проявлено колебание в этом вопросе. На стр. 112 автор раздела А. А. Уфимцева пишет: «Второй характерной чертой любого знака вообще, а языкового в особенности, является его двусторонняя природа. Так, в системе регулирования уличного движения при помощи светофора..., зеленый свет может быть рассмотрен как форма знака, которой соответствует в пределах этой системы определенное содержание, значимость „проезд, движение разрешено“». Здесь автор не учел того, что разрешение движения не может быть элементом знака потому, что оно существует до знака и независимо от него. Знаком является не разрешение движения, а только зеленый свет как показатель этого разрешения. Еще яснее можно видеть одностороннюю природу знака на примере символов. Так, в Советском Союзе изображение скрещенных молота и серпа является символом союза рабочего класса и крестьянства, но идея этого союза существует до данного символа, независимо от него и не может считаться составным элементом его. Конечно, изображение скрещенных молота и серпа является знаком только потому, что в сознании людей оно соотносится с данной идеей, но это не значит, что сама идея есть сторона знака. Стороной знака можно признать его соотносительность в сознании с идеей, и в этом смысле можно было бы говорить о двусторонности его, но это совершенно иная двусторонность, чем в слове, и во избежание путаницы не следует пользоваться таким двусмысленным термином. Однако и А. А. Уфимцева готова, в известных пределах, признать знак односторонним: «Следовательно, в простейших семиотических системах, представляющих собой чисто конвенциональные построения, знаки представляют собой некую физическую данность, материальный (визуальный или акустический сигнал) предмет, стоящий чисто условно вместо другого. При такой чисто механической и условной связи означающего и означаемого, при однозначном их соответствии друг другу знаки этого типа допустимо считать односторонними, где форма знака может служить „знаком“ чего-то» (стр. 115). Как увидим дальше, это верно по отношению ко всем знаковым системам, потому что во всяком знаке форма его служит «знаком» чего-то.

Очевидно, что если язык имеет свойства, чуждые знаковым системам, то вопрос о его знаковости не может решаться так просто и требует дальнейшей исследования. Прежде всего нужно установить, какие единицы языка можно иметь в виду, когда речь идет о языковых знаках.

В первую очередь знаками могут быть признаны слова, поскольку они имеют вполне определенные значения. Фонемы ничего не обозначают и, следовательно, не являются знаками. Их можно называть, следуя Л. Ельмслеву, фигурами плана выражения, или, еще лучше, по С. К. Шаумяну, — диакритическими элементами. Морфемы имеют значения, но только в составе слова, притом не всегда ясные и нередко только в сочетании с теми или иными дополнительными показателями значения (место ударения, тон, огласовка корневой морфемы и др.). Только корневая морфема, если она может быть и отдельным словом, имеет определенное, постоянное значение. Значения же аффиксальных морфем не только несамостоятельны,

но нередко неопределенны. Только в агглютинативных языках некоторые аффиксы имеют настолько выразительные и постоянные значения (например, в тюркских языках суффикс множественности *-лар*, глагольный суффикс прошедшего времени *-ган/-ген*), что приближаются по своей функции к отдельным знакам. Аффиксы же флективных языков не обладают такой определенностью. Нельзя, например, сказать, — что обозначает русская морфема *-ы*. Она может быть признаком формы родительного падежа единственного числа, но во многих случаях (однако, не всегда) для этого нужно еще, чтобы на нее падало ударение, а главное, родительный падеж — это не значение, а только название определенной формы слова, а значения у нее различны и в некоторых случаях трудно определимы, например, *лишился квартиры* (но *приобрел квартиру*), *боится славы* (но *радуется славе, наслаждается славой*), *три сестры*. А если данный элемент слова не обозначает ни понятия, ни представления, ни какого-нибудь элемента действительности, то он является скорее диакритическим элементом, чем отдельным знаком. Безоговорочное признание морфем знаками привело Н. Д. Арутюнову к тому, что она не считает знак функциональной единицей языка<sup>4</sup>, что противоречит ее определению языка как знаковой системы (ведь единицами знаковой системы могут быть только знаки). Следовательно, морфемы не могут безоговорочно признаваться отдельными знаками. Они занимают промежуточное положение между знаками и диакритическими элементами.

По мнению Л. Ельмслева, «мы не можем считать, например, что существительное более значимо, чем предлог, или что слово более значимо, чем словообразовательный или словоизменяющий аффикс»<sup>5</sup>, т. е. всякое значение в языке полностью контекстуально, ситуативно, но эта точка зрения исходит из отрицания существования и познавательной силы понятий и при материалистическом подходе не может приниматься во внимание.

Кроме слова, несомненным отдельным знаком может считаться неразложимое фразеологическое сочетание, поскольку оно имеет единое значение. Итак, нужно выяснить, являются ли знаками слова и неразложимые словосочетания.

2. Не подлежит сомнению, что звуковая сторона слова является знаком. Остается спорным вопрос о том, является ли знаком слово в целом, поскольку оно есть единство звукового комплекса и значения, а значение есть элемент сознания.

Высказывалось мнение, что элементы сознания (понятия, образы и т. д.) также являются знаками. В советском языкознании это мнение выразил В. Н. Волошинов в 1929 г. в книге «Марксизм и философия языка» и в настоящее время его поддерживают А. А. Уфимцева и Н. Д. Арутюнова. В книге «Общее языкознание» А. А. Уфимцева сочувственно цитирует мысль В. Н. Волошинова, о том, что «все идеологическое обладает значением: оно представляет, изображает, замещает нечто, вне его находящееся, т. е. является знаком. Где нет знака, там нет идеологии», и добавляет от себя: «Наряду с предметной действительностью — вещами, явлениями, их отношениями, существует мир знаков — идеальная действительность, которая представляет собой отражение, своеобразное (часто с искажениями, преломлениями) обозначение первой» (стр. 106—107). Итак, идеальное отражение предметной действительности, т. е. сознание людей, есть мир знаков. А Н. Д. Арутюнова в статье «О минимальной единице грамматической системы» пришла к вы-

<sup>4</sup> «Общее языкознание», стр. 181—182.

<sup>5</sup> Сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 304.

воду, что язык представляет собой соединение двух знаковых систем: одна из этих систем состоит из звуковых знаков, которые обозначают понятия, а другая — из понятий, которые обозначают предметы и явления действительности<sup>6</sup>. В общем и целом на этой точке зрения стоят также В. В. Иванов и В. Н. Топоров. В книге «Славянские языковые моделирующие семиотические системы» они рассматривают верования древних славян, их понимание мира как семиотические системы, причем человека трактуют как устройство, взаимодействующее с окружающей средой, приравнивая его к животному и автомату, а о мире пишут, что «под миром U можно понимать среду и устройство в их взаимодействии (т. е. мир понимается как пассивная память машины)»<sup>7</sup>.

Эта концепция исходит из очень широкого и неопределенного понимания знака, восходящего к Ч. Персу, при котором знаковыми системами считаются и естественные симптомы тех или иных явлений, следствия их, и живопись, и музыка, и кино, и так далее, вплоть до сознания людей. Что же такое знак? В «Общем языкознании» дается определение, предложенное Л. О. Резниковым: «Знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя (заместителя) другого предмета (предметов) и используемый для получения, хранения, преобразования и передачи информации о нем» (стр. 107). Это определение четко, теоретически вполне правомерно и может служить надежной основой для теории. К сожалению, сами авторы «Общего языкознания» не придерживаются его в решении семиотических вопросов. Так, к знакам они относят прежде всего признаки, симптомы; например, повышение температуры при болезни считают знаком болезни. Эта трактовка противоречит приведенному выше определению знака, потому что повышение температуры является не условным заместителем другого явления — болезни, а естественным следствием болезни. В этом случае (как и в обычном примере с дымом, который якобы является знаком огня) причинные отношения отождествляются со знаковыми<sup>8</sup>. Как в природе, так и в обществе всякое явление имеет причинные связи с другими, и если эти связи считать знаковыми, то объектом семиотики оказывается весь мир, т. е. семиотика лишается своего особого объекта и предмета изучения.

С другой стороны, авторы, следуя за некоторыми зарубежными учеными, относят к знаковым системам и классическую музыку (стр. 147), и живопись (стр. 171), что также расходится с данным определением. Непонятно, что является в музыке знаками: отдельные тоны или целые музыкальные фразы; ни одно, ни другое ничего не обозначает и не содержит никакой информации. Классические музыкальные произведения вызывают у людей различные чувства, у некоторых индивидов с этими чувствами могут ассоциироваться какие-то туманные образы, но это не имеет ничего общего с информацией, потому что образы у каждого возникают свои особые, индивидуальные, поскольку они не регулируются никаким кодом. Живопись также не подходит под определение знаковой системы, поскольку она не обозначает, а изображает. В картины, как и в произведения других искусств, могут включаться символы, являющиеся знаками, но вся живопись не состоит сплошь из символов.

<sup>6</sup> Сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 44—45.

<sup>7</sup> Вяч. И в а н о в, В. Н. Т о п о р о в, Славянские языковые моделирующие семиотические системы, М., 1965, стр. 7.

<sup>8</sup> Подробнее об этом см.: В. М. С о л н ц е в, Знаковость языка и марксистско-ленинская теория познания, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 210—211.

Некоторые искусствоведы употребляют термин «информация» в том значении, какое он имеет в кибернетике<sup>9</sup>, т. е. в значении всякого воздействия одной системы на другую (иными словами, упорядоченности, системности, развертывающейся во времени). В искусствоведении это возможно, но практически привело к тому, что данный термин стал нередко употребляться в неизвестно каком смысле и стал орудием не познания, а путаницы. В языкознании же употребление термина «информация» в таком смысле недопустимо, потому что языковые знаки передают информацию в самом обычном смысле (как новое знание).

Если включать в семиотику все без разбора: причинно связанные явления природы, мазки красок в картине, музыкальные тоны, представления, понятия — то семиотика, как выразился В. В. Мартынов, превращается в суррогат теории познания<sup>10</sup> (притом — идеалистический). Чтобы семиотика стала подлинной наукой, она должна исходить из четкого, строго ограниченного понятия знака. А если семиолог хочет быть материалистом, он прежде всего не должен смешивать сознание со знаковыми системами.

Более распространена в советском языкознании точка зрения, что элемент сознания, обозначаемый звуковым комплексом, не есть знак, но он не входит в состав слова; слово есть знак, потому что оно представляет собой только звуковой комплекс в его отношении к элементу сознания, но не единство их. Значением слова является его отношение к элементу сознания, но не сам этот элемент, потому что последний, принадлежа сфера сознания, не может принадлежать языку. Это мнение высказывали А. С. Мельничук<sup>11</sup>, Л. А. Абрамян<sup>12</sup>, А. С. Чикобава<sup>13</sup>, П. В. Чесноков<sup>14</sup> и некоторые др.

Чтобы разобрать эту концепцию, нужно сначала избрать термин для обозначения элемента сознания, обозначаемого словом. В этой связи нередко говорят о понятии, но это очень неточно, потому что слово может обозначать и не понятие, а обобщенный образ, а если и понятие, то подвергшееся воздействию семантической системы языка и в сочетании с эмоциональной окраской и стилистическими оттенками. Назовем его концептом.

Что же представляет собой отношение звукового комплекса к концепту, которое, по мнению Л. А. Абрамяна, А. С. Мельничука и других, является значением слова? Если говорить о том, каково оно, то это есть отношение обозначающего к обозначаемому, и таким оно остается во всех без исключения словах. С этой стороны значения всех слов тождественны, и семасиологии нечего делать в языкознании, она должна быть исключена из языкознания и отнесена к наукам о мышлении. Если же, говоря о значении, иметь в виду, к какому именно концепту относится звуковой комплекс, то в этом случае в характеристику значения должна войти полностью характеристика концепта, со всеми его особенностями, как логическими, так и языковыми, и утверждение, что значением слова является отношение к концепту, а не сам концепт, становится пустой игрой в слова. Тогда семасиология остается частью языкознания, хотя она не может изучать отношения звуковых комплексов к концептам, а рассматривает сами

<sup>9</sup> См., например: М. С. К а г а н, Лекции по марксистско-ленинской эстетике, Л., 1971, стр. 345.

<sup>10</sup> В. В. М а р т ы н о в, Кибернетика, семиотика, лингвистика, Минск, 1966, стр. 23.

<sup>11</sup> Сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 139.

<sup>12</sup> Сб. «Вопросы общего языкознания», М., 1964.

<sup>13</sup> Сб. «Язык и мышление», М., 1967, стр. 21.

<sup>14</sup> П. В. Ч е с н о к о в, Слово и соответствующая ему единица мышления, М., 1967, стр. 64—65.

концепты со стороны тех особенностей, какие они приобретают в системе языка и в процессе речи.

Да и как можно исключить концепт из состава слова, если он имеет чисто языковые особенности, обусловленные структурой звукового комплекса, его отношением к другим звуковым комплексам, существующим в языке, его исторической судьбой? Ведь содержание концепта обусловлено не только понятием о соответствующем предмете, но и отношениями слова к другим, в том числе и отношением словообразовательным. А главное, концепт содержит социальную окраску, органически связанную с исторической судьбой звукового комплекса.

Возьмем к примеру русские слова *девица*, *девушка* и *девчонка*. Они обозначают один и тот же предмет — молодую женщину, но вместе с тем имеют различия в значениях, которые принято называть оттенками. Некоторые люди употребляют еще слово *чувиха*, которое также обозначает молодую женщину, но с еще более сильным оттенком. Что представляют собой эти оттенки? Наилучший из них имеет слово *девушка*. Оно, обозначая молодую женщину, вместе с тем выражает положительное отношение к ней, уважение, симпатию, вследствие чего в последнее время стало применяться при обращении к незнакомой женщине (например, продавщице, официантке, работнице ателье и т. п.). Слово *девица* является признаком официальной речи (иногда — архаизованной), употребляется главным образом в документах, обозначая преимущественно женщину незамужнюю, а *девчонка* выражает фамильярное или пренебрежительное отношение. Обусловлены эти оттенки тем, что слово *девушка* вышло из масс трудового народа, причем там оно имело в прошлом ласкательное значение (в противоположность слову *девка*); *девица* же давно вышло из употребления в народной речи и сохранилось, с одной стороны, в фольклоре (получив здесь ударение на первом слоге) и, с другой стороны (с ударением на втором слоге), в письменности, в последние периоды — в деловой. Оттенок слова *девчонка* обусловлен структурно: оно имеет суффикс уничижительности. А слово *чувиха* производит впечатление грубости, вульгарности, потому что оно вышло из преступной среды. Как видим, различия в значениях данных звуковых комплексов обусловлены тем, в какой социальной среде и в каких контекстах употреблялись длительное время сами звуковые комплексы.

При этом и сам звуковой комплекс воспринимается людьми различно в зависимости от выработавшегося социального оттенка значения. Так, русские воспринимают звуковой комплекс *харя* как безобразный, хотя в самых звуках его нет ничего некрасивого, и вряд ли древние греки считали некрасивым по звукам свое слово *χάρις*, обозначавшее красоту, радость, милость. Все дело в том, что русское *харя*, обозначая лицо, имеет отрицательную эмоциональную окраску. А звуковой комплекс *лик*, который также обозначает лицо (наряду с другими значениями), представляется русским красивым, возвышенным, опять-таки вследствие того оттенка, который имеется в концепте. Это свойство как звукового комплекса, так и концепта, обусловленное социальным бытием слова, имеет очень важное значение: оно является главным фактором, придающим слову эстетическую ценность и делающим его элементом искусства.

Все это говорит о том, что концепт имеет не только логическое содержание, но и языковое, и последнее органически соединено со звуковым комплексом. Очевидно, что концепт нельзя считать явлением неязыковым и на этом основании исключать его из состава слова.

Рассмотренные явления составляют особенности лексического значения слова. Но в слове есть и грамматическое значение. Некоторые грамматические значения представляют собой понятия (или, согласно другой точке

зрения, отношения к понятиям), выработавшиеся в практике людей и только оформившиеся посредством грамматических средств языка, как, например, значения числа, субъекта и объекта, времени. Но есть и грамматические значения иного рода, возникшие в самом языке, в связи с особенностями структуры его знаков.

Возьмем для примера обозначения чисел в русском языке. Главным образом они обозначаются числительными, как *два, три, четыре, пять, десять*, но обозначаются и такими существительными, как *двойка, тройка, четверка, пятерка, десятка*, и такими, как *пяток, десяток, сотня*. В чем разница между ними? Числительные выражают абстрактные понятия чисел, образовавшиеся на основе практики, независимо от структуры языка. Это видно хотя бы из того, что аналогичные обозначения есть во всех языках. Такие существительные, как *тройка, четверка, десятка*, обозначают предметы, характеризующиеся соответствующими числами, например, отметки о знаниях учеников в школе, *тройка* — упряжку из трех лошадей, *семерка, восьмерка, девятка, десятка* — карты в системе карточной игры. Но *пяток, десяток, сотня* выражают не предметы, а именно количество, как можно видеть из таких сочетаний, как *десяток огурцов, сотня лиц*. Однако их значения как-то приближаются к предметным, о чем свидетельствуют такие сочетания, как *первый десяток, второй десяток, лихая сотня* (о сотне бойцов). Они занимают среднее место между такими словами, как *десять* и *десятка*, т. е. имеют предметный оттенок значения. Что же это за оттенок: оттенок представления о числе, т. е. концепта, или же оттенок отношения звукового комплекса к концепту? Очевидно, нужно принять первое. Разграничивать особенности концепта и отношение к ним звукового комплекса в данном случае практически невозможно. Теоретически же нельзя исключить из слов *пяток, десяток, сотня* обнаруженный нами предметный оттенок и отнести его к сфере мышления, потому что он возник и существует только в данных словах, в единстве с их звуковыми комплексами и представляет собой явление чисто языковое. Он возник не в результате обобщения данных опыта, а под влиянием того, что слова *пяток, десяток, сотня* имеют такую словообразовательную структуру и такую парадигму форм, как и названия предметов. Поэтому данное явление не универсально, и в ряде языков (например, тюркских), даже в некоторых индоевропейских (например, в немецком, литовском), аналогичных форм нет.

Грамматических значений, целиком обусловленных структурой звуковых комплексов или комбинациями их, можно найти сколько угодно в любом языке. В русском общеизвестным примером является значение рода у существительных и прилагательных (а также аналогичных им других атрибутивных слов).

Рассмотренные особенности как лексических, так и грамматических значений слов свидетельствуют о том, что концепт принадлежит не только мышлению, но и языку, что он является не чем-то внешним по отношению к слову, а неотъемлемым составным элементом его и что именно его пужно считать значением слов, потому что в противном случае возникают непреодолимые затруднения в семасиологии и грамматике.

Взгляд на значение как на отношение к концепту правомерен при таком понимании языка, как у А. Г. Волкова, т. е. только как системы звуковых комплексов<sup>15</sup>. В этом случае семасиология исключается из языкознания. Но чисто языковые свойства семантики и ее глубокая связь со звуковой стороной языка говорят о том, что эта концепция не соответствует действительности. Поэтому нужно отвергнуть мнение А. Г. Волкова,

<sup>15</sup> А. Г. Волков, *Язык как система знаков*, М., 1966, стр. 17.

что слово есть знак, и присоединиться к мнению Т. П. Ломтева, что слово есть единство знака и значения<sup>16</sup>. Это относится и к неразложимому словосочетанию.

Существенное замечание по поводу этой точки зрения сделал А. С. Мельничук. Он указал на то, что идеальное не может быть в единстве с материальным<sup>17</sup>. Но дело в том, что это единство осуществляется посредством идеального же — звукового образа. А. С. Мельничук отвергает роль звукового образа на том основании, что он вторичен по отношению к реальному звучанию, но вторичность не мешает ему служить соединением между звучанием и концептом. Звучание первично, но оно может служить знаком концепта только благодаря тому, что оно неизбежно сопровождается звуковым образом. А последний составляет единство с концептом.

Если слово есть единство знака и значения, то что же представляет собой язык в целом?

Звуковая сторона языка есть система знаков. Это особая, уникальная система знаков, как показано во многих исследованиях и довольно подробно — в книге «Общее языкознание». Главные ее особенности состоят в том, что ее знаки не существуют сами по себе, как предметы, вне своей знаковой функции, что они не изобретаются, а стихийно возникают в процессе общения, что система в целом универсальна, безгранична в своих возможностях и в связи с этим многоярусна.

В системе значений проявляется мышление народа. В ней оно расчленяется на единицы и между последними устанавливаются закономерные отношения. Именно как значения слов и словосочетаний понятия (и обобщенные образы) связываются между собой в процессе мышления. Следовательно, семантическая система есть форма (или структура) мышления народа. Но в основе этой этнической или национальной формы у каждого народа лежит своеобразно преломленная в ней общечеловеческая структура (или форма) мышления — логическая. Эта двойственность формы мышления с необходимостью вытекает из того, что оно формируется в практике труда (в которой познаются законы объективной действительности и отражаются в законах логики) и в практике общения (в которой мышление связывается с материальными знаками). И так, язык есть единство особой системы знаков и особой формы мышления.

3. Однако смысловая сторона речи представляет собой не только логические связи понятий. В ней большую роль играют также чувства и воображение. Чисто логическое мышление является содержанием только научных и деловых текстов, а в повседневном общении людей, в художественных произведениях, публицистике, и т. д. нужна еще экспрессия. Когда человек рассказывает о чем-то, ему недостаточно передать точно информацию, нужно еще выразить ее живо, наглядно и эмоционально. Для этих целей возникает в языке особое словоупотребление, создаются особые словосочетания, развиваются особые интонации, создаются даже специальные эмоциональные слова, все новые и новые.

Что же такое экспрессия? Это прежде всего, выражение в речи эмоционального отношения к содержанию сообщения. Однако не всякое выражение эмоционального отношения будет экспрессивным. Если я скажу *Я осуждаю этого человека за его изворотливость и угодливость*, то мое отношение к предмету речи будет полностью выражено, но не экспрессивно<sup>18</sup>. Если же я скажу: *Он — проныра и подхалим*, то здесь выражение отношения полно экспрессии. В чем же разница? В первом случае мое

<sup>16</sup> Т. П. Ломтев, О природе значения языкового знака.

<sup>17</sup> Сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», стр. 136.

<sup>18</sup> Ср.: J. M. Viëse, Aspects of expression, Helsinki, 1963.

отношение подводится под понятие осуждения и выражается словом *осуждаю*. Во втором случае отношение не подводится ни под какое понятие, а выражается тем, что слова *проньра* и *подхалим* непосредственно передают чувство отвращения и заражают этим чувством слушателя вследствие закрепившихся за ними в данном обществе психологических ассоциаций. Относительно непосредственное, внепонятийное выражение чувства осуществляется в речи и иными средствами, например, междометиями. К примеру, чувство радости человек может выразить двумя способами: сказать *я радуюсь* или произнести *ах!* с надлежащей интонацией. В первом случае выражается понятие радости, отнесенное к говорящему, во втором радость выражается более непосредственно. По происхождению внепонятийное выражение чувства древнее самого языка. В нем есть элемент образности, наглядности, яркости.

С другой стороны, экспрессия — это образность, наглядность, яркость выражения мыслительного содержания речи. Эта образность обычно бывает связана с эмоциональным отношением. Если, например, человек рассказывает о драке безучастно, он ограничится сухим сообщением (вроде *он его сильно ударил*), но при эмоциональном отношении он выразится образно (например, *он его как двинет!*). Образность речи обусловлена также действием воображения говорящего. Эмоция, выражаемая относительно непосредственно, заражает слушателя.

Итак, экспрессия — это относительно непосредственное (не обобщенное в понятии), эмоциональное выражение внелогических элементов сознания (чувства и воображения).

Как же осуществляется относительная непосредственность выражения? Для этой цели служит, во-первых, социальная окрашенность слов и словосочетаний, о которой речь была выше. Вследствие длительного употребления слова в тех или иных контекстах, в той или иной социальной среде с ним прочно соединяются в сознании говорящих определенные эмоции. Для этого служат также образные выражения, основанные на употреблении слова, расходящимся с его знаковым значением, при котором (употреблении) в воображении людей предмету присваиваются ярко выраженные свойства другого предмета. Это известные с древности метафоры, метонимии, сравнения и т. д. Когда говорят, например, *помчался стрелой*, то сообщают о факте, в котором стрела не участвует, но наиболее яркое свойство ее присваивается в воображении предмету речи. Правда, в данном выражении, вследствие длительного бытования его, данное употребление слова *стрела* стало переходить в одно из его знаковых значений, но вместе с этим оно утрачивает свою экспрессивность. Для выражения эмоций служат также особые эмоциональные слова, междометия, частицы, некоторые синтаксические приемы (обращения, риторические вопросы и др.) и интонация. Эти свойства языка придают речи эстетическую ценность и являются главным фактором, делающим речь материалом искусства.

Играет ли язык такую же роль в чувствах и воображении, как в логическом мышлении, и можно ли считать его особой формой чувств и воображения? Конечно, чувства возникают у человека независимо от языка, и действие воображения не ограничено рамками речи. В этом отношении они отличны от понятийного мышления. Но все же язык придает им некоторые необходимые свойства. Во-первых, посредством языка субъективные элементы сознания возводятся к объективному, на что указал еще В. Гумбольдт<sup>19</sup>. Это нужно понимать в том смысле, что явления индивидуальной

<sup>19</sup> В. Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода, СПб., 1859, стр. 50—51.

психики посредством языка подводятся под социальные категории, включаются в систему общественного сознания (в котором есть элементы общечеловеческие, национальные и социально-групповые). Индивидуальные эмоциональные отношения тогда приобретают всю свою значимость, когда, будучи экспрессивно выражены, приобщаются к социальному опыту и воздействуют на чувства других. Даже наедине с собой человек, если бывает возмущен, или, наоборот, восхищен кем-то или чем-то, чувствует потребность выразить свое чувство экспрессивным словом (вроде *какая тряпка!* или *какая светлая голова!*) и чувствует какое-то удовлетворение, если ему удастся найти меткое эмоциональное слово. Это происходит от потребности включить свое эмоциональное отношение в систему социально выработанных эмоциональных категорий.

Во-вторых, при помощи языка эмоциональные оценки становятся более тонкими, дифференцированными, и возможными становятся различные градации их. Например, в русском языке слова *болтун*, *балаболка*, *трепач*, *трепло* делают возможным разграничить различные степени осуждения слишком словоохотливого человека.

В-третьих, при помощи языка осуществляется и закрепляется сочетание определенных эмоциональных отношений с определенными понятиями в соответствии с социальным опытом народа или социальной группы и, таким образом, чувства, являющиеся неотъемлемым элементом сознания, становятся неотъемлемым элементом языковой формы мышления.

Таким образом, эмоциональное отношение, как непреременный спутник мышления, вместе с ним оформляется и объективируется в речи. Не случайно К. Маркс и Ф. Энгельс называли язык практическим, действительным сознанием (а не мышлением). Это подтверждает и психология. Как показали психологические исследования Л. С. Выготского, сознание есть единство интеллектуальных и аффективных процессов, и таким оно оформляется в речи<sup>20</sup>.

Эти факты требуют уточнения данного выше определения языка. Язык есть единство системы знаков особого рода и особой формы общественного сознания.

4. Эта сложность языка в семиотическом плане является следствием того, что язык, в отличие от других знаковых систем, есть не только средство общения, но и средство мышления. Нужно при этом заметить, что язык есть средство не только чисто абстрактного мышления, как думают многие, но человеческого мышления вообще.

Б. А. Серебренников в первой главе «Общего языкознания» обратил наше внимание на то, что слова выражают не только понятия, но и инвариантные обобщенные образы (слово «инвариантные» здесь, по-видимому, излишне). С этим вполне можно согласиться, но это не уменьшает роли языка как средства мышления. Обобщенные образы занимают, видимо, небольшое место в семантической системе всякого языка. Если можно признать обобщенными образами значения таких конкретных существительных, как *вода*, *горшок*, *сосна*, *собака*, поскольку в них нет абстракции, то значения не только абстрактных существительных и числительных, но и всех прилагательных, наречий, глаголов являются, по-видимому, понятиями, поскольку в них есть элемент абстракции. Ведь эти слова обозначают признаки, абстрагированные от их носителей. А главное в том, что процесс мышления не делится на клеточки, одни из которых оформляются в словах, а другие — без слов. Это единый процесс, осуществляющийся целиком посредством языка. В образовании обобщенного образа также

<sup>20</sup> Л. С. Выготский, Мышление и речь, «Избранные психологические исследования», М., 1956, стр. 54.

участвует слово, при помощи которого образ стабилизируется, приобретает социальную значимость (т. е. становится единым в сознании разных индивидов), включается в систему единиц мышления и вступает в логические связи с поиятиями в составе суждения.

Никакая знаковая система не играет такой роли в процессе мышления. В этом отношении приближаются к языку только знаковые системы математики и логики (их и называют нередко языками), но поскольку они не являются языками в полном смысле этого слова, они служат средством мышления только для индивидуумов, занимающихся соответствующими науками, только в узких пределах этих наук и притом в сочетании с естественным языком, родным для данного индивидуума. Это основное отличие языка от чисто знаковых систем порождает ряд других отличий, тоже существенных, прежде всего — противоположность языка и речи и закономерное развитие языка, не зависящее от воли людей.

Ничего подобного нет в чисто знаковых системах. Отношению языка и речи в знаковых системах соответствует отношение кода и сообщения, но это — совершенно иное явление. В знаковом сообщении бывает только то, что предусматривается кодом, а в речи бывают и индивидуальные особенности, не содержащиеся в системе языка, и постоянно возникает что-то новое, причем возникает стихийно, неудержимо и в конечном итоге приводит к изменениям в языке. Все это обусловлено связью языка с мышлением. Выразить мысль при помощи языка — это значит додумать ее до конца, придать ей то или иное строение. При этом в мысли бывают элементы воображения, чувства, воли, которые требуют экспрессии в речи, а экспрессия не может полностью содержаться в системе языка, она развивается и обогащается в речи. Вследствие всего этого речь не может быть автоматическим применением кода, она требует творчества от человека, что и придает ей индивидуальные особенности.

Этим же обусловлено стихийное развитие языка, по объективным законам. Сознание непрерывно развивается, и поскольку оно реализуется в языковой материи, оно не может ждать при всяком изменении, когда будут созданы искусственно дужные для выражения новые знаки, и вынуждено приспособлять для своего выражения то, что есть в языке, выбирая наиболее подходящее и видоизменяя его нужным образом. Происходит это по законам психологических ассоциаций и поэтому независимо от воли отдельных людей. Это лежит в основе развития языка.

Подход к языку как к чисто знаковой системе, как к коду вызывает непреодолимые теоретические затруднения. Это ясно показал один из сторонников теории языка как кода Р. В. Пазухин. Рассматривая язык как код, он видит необходимость объяснить универсальность его, способность к бесконечному, ничем не ограниченному обозначению элементов сознания и действительности, и не находит решения этого вопроса. Объяснение этого свойства языка развитием его, по мнению автора, не решает вопроса. «Однако гипотеза языковой „открытой системы“ порождает наряду с тем существенную трудность, которую она пока не способна объяснить. Она оставляет необъясненным вопрос, почему неограниченное знакопроизводство не ведет к нарушению взаимопонимания между собеседниками. Ведь носители языка лишь в исключительных случаях располагают возможностью предупреждать друг друга заранее о значении вновь образованных знаков»<sup>21</sup>. В действительности универсальность языка есть результат именно его развития, но последнее не есть искусственное изобретение знаков. Если обычные знаки создаются отдельными индивидами и для

<sup>21</sup> Р. В. Пазухин, К определению универсального кода, ВЯ, 1969, 5, стр. 63—64.

понимания их другими нуждаются в коде, то языковые знаки создаются всем обществом стихийно и не нуждаются в коде, потому что они являются естественным продуктом развития сознания. Взаимопонимание обеспечивается общностью психологических ассоциаций у людей, общностью материала языка и образцов для новообразования у индивидов, принадлежащих к одному языковому коллективу, и подкрепляется оно таким важным свойством языковых знаков, как сочетаемость и соотнесение с внеязыковой ситуацией. Отсюда проистекают особые свойства языковых знаков: стихийность появления их, развитие по объективным законам, постоянное варьирование, постоянный сдвиг между знаком и значением, происходящий в речи, многозначность, важная роль сочетаемости.

Изложенное выше вовсе не означает отрицания семиотического (и связанного с ним структурного) подхода к языку. В языке содержится знаковая система, и хотя она имеет особый характер, семиотический подход к ней правомерен и практически эффективен. К тому же все сказанное выше относится только к естественным языкам. Искусственные же языки суть обычные знаковые системы. И в культурно развитых естественных языках есть элементы обычных знаковых систем: это искусственно создаваемые системы специальной терминологии. Но семиотический аспект не раскрывает сущности языка. Сущность раскрывается совокупным действием семиотического, социологического и менталистического аспектов языкознания. Пришло время осуществить синтез подхода к языку как к системе знаков, провозглашенного де Соссюром, и подхода к нему как к элементу общественного сознания, восходящего к Гумбольдту.

Т. В. ГАМКРЕЛИДZE

К ПРОБЛЕМЕ «ПРОИЗВОЛЬНОСТИ» ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Вопрос о природе языкового знака, о сущности отношений, составляющих содержание знака, представляется одной из центральных проблем языкознания и общей теории знаковых систем, современной семиотики, основные принципы которой были изложены в общих чертах еще Ч. Персом и Ф. де Соссюром. Данные лингвистики как одного из основных и наиболее развитых разделов семиотики о сущности языкового знака представляются особо ценными при общей характеристике знаковых систем и определении природы знака вообще.

В своей общей классификации знаков Ч. Перс исходит из строгого разграничения материальной стороны знака, означающего знака, и его непосредственной интерпретации, т. е. его означаемого<sup>1</sup>. Различия, проявляемые в отношениях между означающим и означаемым, дают основание выделить три фундаментальных типа знаков: 1) иконы-знаки, в которых означающее характеризуется определенной степенью сходства с означаемым, представляет его отражение или повторение (например, изображение животного как знак-икона данного животного); 2) индексы-знаки, в которых означающее связывается с означаемым причинно-следственным или другим (например, «близости», «следования в пространстве и времени») отношением по принципу *aliquid stat pro aliquo* (например, дым является знаком-индексом огня) и 3) символы-знаки, в которых означающее связывается с означаемым условно, конвенционально, где эта связь произвольна и осуществлена в силу определенного правила<sup>2</sup>.

Проблема характера связи, отношения между означаемым и означающим языкового знака, между звуковой стороной слова и выражаемым им значением является одной из древнейших проблем лингвистики, вызывавшей жаркие споры еще на заре научной лингвистической мысли: установлена ли связь между формой и содержанием слова «по природе» (*phusei*) или «по соглашению» (*thesei*). К этой проблематике сводятся в сущности и

<sup>1</sup> Понятие о знаке как о единстве двух его составляющих — «означающего» и «означаемого» — представлено уже в теории стоиков, рассматривавших «означающее» (*sēmainon*) как сущность, воспринимаемую через чувства (*aisthēton*), а «означаемое» (*sēmainomenon*) как сущность, воспринимаемую через разум (*noēton*).

Эта дихотомия между формой и содержанием, различающая в языке «означающее» и «означаемое», легла в основу средневековой философии языка, а также, по всей видимости, позднейших знаковых теорий Ч. Перса и Ф. де Соссюра, с терминологией, поразительно напоминающей доктрину стоиков (ср.: R. Jakobson, *À la recherche de l'essence du langage*, «Diogenes», 51, 1965, стр. 22—23; R. H. Robins, *A short history of linguistics*, London, 1967, стр. 16).

<sup>2</sup> См.: Ch. S. Peirce, *Elements of logic*, 2, ch. 2—3, Cambridge (Mass.), 1932.

Подробнее об этом с широким сопоставительным анализом различных семиотических систем см.: R. Jakobson, *Language in relation to other communication systems*, Milano, 1970, стр. 3 и сл.; см. также: R. Jakobson, *Selected writings*, II, The Hague — Paris, 1971, стр. 697—708; ег о же, *Linguistics*, в кн. «Main trends of research in the social and human sciences», I, Paris — The Hague, 1970, стр. 419 и сл. К сравнению языка с другими знаковыми системами см. также «Материалы к конференции „Язык как знаковая система особого рода“», М., 1967.

попытка определения природы языкового знака в лингвистике нового времени, с особым упором на функциональный, нежели генетический, аспект проблемы<sup>3</sup>. В зависимости от решения этого вопроса в положительном или отрицательном смысле выделяются прямо противоположные точки зрения на природу и сущность языкового знака.

Среди лингвистов нового времени, утверждавших тезис о произвольности, конвенциональности языкового знака, следует упомянуть в первую очередь В. Д. Уитни, доктрина которого была в дальнейшем воспринята и развита Ф. де Соссюром<sup>4</sup>. «Связь, объединяющая означающее с означаемым, произвольна», — заявляет Ф. де Соссюр. Принципом произвольности языкового знака (*l'arbitraire du signe*) является первым и одним из основных принципов всей лингвистической концепции Ф. де Соссюра. Согласно Соссюру, «этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; последствия его неисчислимы»<sup>5</sup>.

После выхода в свет «Курса общей лингвистики» в 1916 г. тезис о произвольности, условности связи между означаемым и означающим, об отсутствии внутренней мотивированности между звуковой стороной слова и его смысловым содержанием определял взгляд большинства лингвистов на природу языкового знака<sup>6</sup>.

Однако этот взгляд на природу лингвистического знака является далеко не единодушным, и в современной лингвистике зачастую раздаются голоса противников соссюрского тезиса, усматривающих принципы мотивации в отношениях между означающим и означаемым<sup>7</sup>. Особое место среди них занимают возражения, выдвигаемые против соссюрского тезиса Э. Бенвенистом<sup>8</sup> и Р. Якобсоном<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Ср.: K. B ü c h n e r, *Platons Kratylus und die moderne Sprachphilosophie*, Berlin, 1936; W. S c h n e i d e r, *Über die Lautbedeutbarkeit*. «Zeitschrift für deutsche Philologie», 63, 1930.

<sup>4</sup> Ср.: R. G o d e l, *Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure*, Genève — Paris, 1957, стр. 193 и сл.

<sup>5</sup> F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*. Édition critique par R. Engler, fasc. 2, Wiesbaden, 1967, стр. 152 и сл. О вероятных влияниях на Соссюра при формировании концепции произвольности языкового знака см.: E. C o s e r i u, *L'arbitraire du signe. Zur Spätgeschichte eines aristotelischen Begriffes*, «Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen», 204, 2, 1967, в которой дается критический обзор истории возникновения и развития в различных философских и лингвистических теориях положения о произвольности, немотивированности языкового знака. Согласно автору, тезис о произвольности языкового знака, нашедший широкое распространение в философии и лингвистике еще задолго до Соссюра, восходит прямо или косвенно к аристотелевской доктрине об исторически обусловленной функциональной связи — *kata syntbēkēn* — звука со значением.

<sup>6</sup> См. критический обзор литературы по этому вопросу, с учетом рукописных материалов Соссюра: R. E n g l e r, *Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du signe*, CFS, 19, 1962; е го ж е, *Compléments à l'arbitraire*, CFS, 21, 1964; см. также: E. F. K. K o e r n e r, *Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique: introduction générale et bibliographie annotée*, The Hague — Paris, 1971; «Zeichen und System der Sprache», I, II, Berlin, 1961—1962. А. С. Чикобава, *Проблема языка как предмета языкознания*, М., 1959, стр. 113 и сл. Произвольность языкового знака рассматривается некоторыми исследователями в качестве языковой универсалии: «Отношение между значимым элементом в языке и его денотатом независимо от какого-либо физического или геометрического сходства между ними» (см.: Ch. F. H o c k e t t, *The problem of universals in language*, сб. «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963, стр. 8).

<sup>7</sup> Ср.: H. S p a n g - H a n s s e n, *Recent theories on the nature of the language sign*, TCLC, IX, 1954, стр. 93 и сл.; ср. также «Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака», II., 1969.

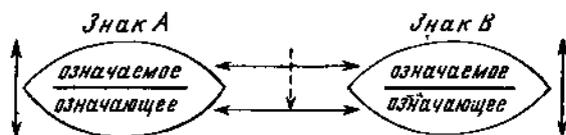
<sup>8</sup> См.: E. B e n v e n i s t e, *Nature du signe linguistique*, AL 1, 1939, стр. 23—29; ср.: «Readings in linguistics», II, Chicago — London, 1966, стр. 104—108.

<sup>9</sup> R. J. A k o b s o n, *À la recherche de l'essence du langage*, «Diogenes», 51, 1965; ср. также: R. J. A k o b s o n, *Selected writings*, II, стр. 345 и сл.

Принципы современной теории знаковых систем о рассмотрении системы на трех различных уровнях, представляющих разные типы абстракции — семантическом, синтаксическом и прагматическом<sup>10</sup>, применимы в полной мере к языковой системе и языковым знакам<sup>11</sup>. При этом рассмотрение системы в семантическом и синтаксическом аспектах может не совпадать по результатам с рассмотрением ее в прагматическом аспекте, предполагающем учет потребителя знака, его отношение к знаковой системе.

Соображения Э. Бенвениста о тесной, естественно обусловленной связи для говорящего и слушающего между означающим и означаемым предполагают перенесение обсуждаемой проблемы исключительно в план прагматики, оценивающей знаковую систему с точки зрения носителя данной системы с учетом конкретных психологических ассоциаций<sup>12</sup>. Поэтому возражения Э. Бенвениста против условности связи между означающим и означаемым, относящиеся полностью к сфере прагматики, не затрагивают в принципе характера отношений между означаемым и означающим, рассматриваемых в семантике и синтактике.

Как известно, языковой знак, как и знак любой семиотической системы, должен определяться не только через отношения означающего с означаемым, но и через отношения данного знака к другим знакам системы, как на уровне означающих, так и на уровне означаемых. Иными словами, при определении знака семиотической системы следует учитывать как «вертикальные» отношения между составляющими знака, отношение между означающим и означаемым, так и «горизонтальные» отношения между составляющими знака, т. е. отношения между означаемыми и отношения между соответствующими означающими, существующие в соотносимых знаках данной семиотической системы. «Горизонтальные» отношения, в отличие от отношений «вертикальных», характеризуются дуплановостью поскольку они предполагают отношения между двумя составляющими лингвистического знака — отношения между означаемыми и отношения между соответствующими означающими знаков данной системы. Схематически такую дуплановость горизонтальных отношений можно представить следующим образом:



При таком дифференцированном подходе к языковому знаку и к отношениям, составляющим его сущность, при рассмотрении языкового знака комбинированно в семантическом и синтаксическом аспектах, снимается целый ряд возражений, выставляемых против соскюрского тезиса о произвольности лингвистического знака. Тезис Соскюра не полон в том смысле, что он характеризует лишь «вертикальные» отношения, его следует эксплицировать как характеристику, относящуюся лишь к «вертикальному» отношению между означаемым и означающим и не затрагиваю-

<sup>10</sup> Ch. W. Morris, *Foundations of the theory of signs*, Chicago, 1938; C. S. Peirce, *On human communication*, New York, 1957, стр. 221 и сл.

<sup>11</sup> Ch. W. Morris, *Signification and significance*, Cambridge (Mass.), 1964, стр. 60 и сл.; ср. также: И. А. Мельчук, *Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними*, ИАН ОЛЯ, 1968, 5, стр. 426 и сл.

<sup>12</sup> Ср. также: E. Leisch, *Vom Wesen des sprachlichen Zeichens oder Symbols*, AL, 1, 1939.

щую характера «горизонтальных» отношений. Поскольку языковой знак есть лингвистическая сущность, определяемая через оба этих вида отношений, всякая характеристика его исключительно через одни отношения, без учета других, является частичной и неполной<sup>13</sup>.

С другой стороны, тезис о мотивированности языкового знака, противопоставляемый Соссюровскому тезису о произвольности связи между означаемым и означающим, затрагивает исключительно план «горизонтальных» отношений и не может относиться к «вертикальным» отношениям, которые синхронно характеризуются в сущности условностью связи между означаемым и означающим: конкретное означаемое может быть выражено в принципе любой допустимой в данном языке последовательностью фонем<sup>14</sup>. Эта особенность «вертикальных» отношений и является одним из факторов многоязычия, способствующим также фонетическому преобразованию языка в диахронии.

Попытка обнаружить в естественных языках определенные соответствия между звуковым (фонетическим) символизмом и фонемным составом означающих не дает в общем случае положительных результатов. Можно установить в экспериментальных условиях конкретные модели соответствий звуков значениям, характеризующиеся универсальной значимостью<sup>15</sup>, но эти звуки не распределяются в означающих естественных языков в соответствии с выражаемыми ими в отдельности символическими значениями<sup>16</sup>.

В этом смысле «вертикальные» отношения принципиально отличаются от «горизонтальных». Спецификой «горизонтальных» отношений является их двуплановость, предполагающая наличие как бы параллельных зави-

<sup>13</sup> В части «Курса», посвященной лингвистическим значимостям (ч. II, гл. IV), Соссюр вводит понятие соотношений между знаками, символизирующих их значения (signification), однако значимость (valeur) у Соссюра не определяет характера отношений между означающим и означаемым соответствующих знаков. Понятие значимостей знаков скорее зависит от принципа произвольности связи между означающим и означаемым, рассматриваемой Соссюром в изолированно взятом знаке (ср.: E. E n g l e r, *Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du signe*).

<sup>14</sup> При этом, естественно, не имеются в виду звукоподражательные слова (фонетически мотивированные), составляющие периферийную лексику, а также знаки (слова) с морфологической или семантической мотивацией (см.: S. U l l m a n n, *Semantic universals*, сб. «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963). Вопрос касается характера так называемых первичных знаков, конечных составляющих слов языка, *prôta onomata* — по терминологии «Кратила» Платона; *l'arbitraire absolu* — по Соссюру (в отличие от *l'arbitraire relatif*), ср. «Cours de linguistique générale». Édition critique par R. Engler, fasc. 2, стр. 297—303.

<sup>15</sup> Так, например, гласные звуки, которые на вокальной шкале находятся вблизи гласного *a* (компактные) имеют тенденцию обозначать «большой», а гласные, примыкающие к *i* (диффузные), выражают обычно значение «маленький»; из пар со звонкими и глухими согласными в экспериментах звонкие обычно переживаются как «большие» (ср.: E S a p i r, *A study in phonetic symbolism*, «Journal of experimental psychology», XII, 3, 1929; S. S. N e w m a n, *Further experiments in phonetic symbolism*, «The American journal of psychology», 45, 1, 1933; M. C h a s t a i n g, *Nouvelles recherches sur le symbolisme des voyelles*, «Journal de psychologie normale et pathologique», 1, 1964).

<sup>16</sup> Ср. англ. *big—small*, русск. *великий — малый*; груз. *didi — patara* и др. (ср.: S. U l l m a n n, *Semantic universals*, стр. 179). По вопросу о звуковом символизме в естественных языках см. также: R. U l t a n, *Size-sound symbolism*, «Working papers on language universals», 3, Stanford, 1970; J. N i c h o l s, *Diminutive consonant symbolism in Western North America*, «Language», 47, 4, 1971, стр. 826 и сл.; Т. Э. Г у д а в а, Об одном виде звукоподражания в метрельском диалекте запского языка, «Тезисы докладов XVI научной сессии Института языкознания», Тбилиси, 1958; Б. В. Ж у р к о в с к и й, Звуковая символика в идеофонах (на материале языка хауса и некоторых других африканских языков), «Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака», Л., 1969, стр. 54 и сл.; А. П. Ж у р н и с к и й, О семантике гласных в идеофонах и др., там же, стр. 56 и сл.

симостей: отношений на уровне означаемых и соответственно на уровне означающих. Между этими двумя рядами «горизонтальных» отношений существует определенная корреляция, выражающаяся в том, что первые (отношения между означаемыми) отражаются в характере отношений между соответствующими означающими.

Определенные отношения между означаемыми (такие, как, например, отношение количества: «один» ~ «много», близости — отдаленности в пространстве и времени: «ближе» ~ «дальше»; «раньше» ~ «позже», величины: «большой» ~ «маленький», отношение сходства — различия, отношение следования, отношения родства и др.<sup>17</sup>) проявляются в соответствующих означающих своеобразными соотношениями фонемного сходства, специфических фонемных противопоставлений, длины фонемного состава, определенных синтагматическими особенностями и другими характеристиками плана выражения, имеющими довольно общий и универсальный характер; отношения на уровне означаемых индуцируют специфический характер отношений между соответствующими означающими. В этом проявляется зависимость «горизонтальных» отношений на уровне означающих от соответствующих отношений на уровне означаемых; в этом смысле можно говорить о мотивированности отношений между означающими через отношения между соответствующими означаемыми, относящимися к плану содержания языка.

Однако эта зависимость отношений между означающими от отношений между соответствующими означаемыми носит обычно в языковых знаках характер не диаграммной зависимости в понимании Ч. Перса, при которой отношения между означающими иконически отражают характер отношений между означаемыми, а проявляется в виде условной зависимости, при которой мотивированность выражается в возникновении специфических для уровня означающих черт, в принципе не характерных для единиц семантического уровня; отношения на уровне означаемых специфически отображаются на отношениях между соответствующими означающими<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Такие базисные отношения между означаемыми составляют основные смысловые отношения плана содержания языка, относящиеся к его глубинной структуре. Они характеризуются общностью и универсальностью в том смысле, что эти семантические отношения представлены в плане содержания всех языков, будучи основными, «глубинными» отношениями. Люди, независимо от языка и культуры, обладают общей смысловой системой и организуют свой опыт по аналогичным символическим измерениям (см.: Ch. Osgood, *Language universals and psycholinguistics*, сб. «Universals of language»). Эти и аналогичные им семантические отношения и должны составлять эту «общую смысловую систему». Может быть дана некоторая типология таких базисных смысловых отношений, составляющих глубинную структуру плана содержания языка и лежащих в основе разнообразных конкретных семантических отношений, которые проявляются в отдельных языковых системах. Такая типология послужит некоторой семантической метасистемой при исследовании вопросов выражения смысловых отношений в плане содержания конкретных языков и их отражений в соответствующих единицах плана выражения.

<sup>18</sup> Эта зависимость отношений между означающими от отношений между соответствующими означаемыми, характеризующаяся универсальностью, не нарушается и при диахронических изменениях языка. Фонетические изменения в знаках языка происходят не произвольно, а в некотором смысле направленно, по-видимому, так, чтобы в общем сохранялся характер соотношений между означающими знаками, индуцированный характером отношений между соответствующими означаемыми. Инвариантным при таких изменениях остается общий характер отношений между означающими, тогда как конкретные формы фонемного выражения этих отношений могут диахронически варьировать. Принцип мотивированности отношений между означающими накладывает определенные ограничения на фонетические изменения знаков (ср. в противовес этому положению тезис Соссюра о «неограниченном характере» действия фонетических изменений, являющийся следствием принципа произвольности знака: «Cours de linguistique générale». Edition critique par R. Engler, fasc. 3, Wiesbaden, 1968, стр. 344 и сл.

Именно в этом направлении следует интерпретировать языковые данные, приводимые Р. Якобсоном и другими исследователями<sup>19</sup> для иллюстрации тезиса о мотивированности языкового знака, о зависимости характера означающего от соответствующего означаемого (в противовес сосюровскому тезису о произвольности языкового знака).

Фонетическое сходство таких пар числительных, как, например, русск. *девять* ~ *десять*, сван. *woštɬw* «четыре» ~ *woxwišd* «пять», нем. *zwei* ~ *drei*, тигр. *šo'attie* «семь» ~ *šomonte* «восемь» и др., возникшее в результате частичного уподобления одной формы другой, индуцировано наличием определенного отношения между означаемыми: отношение непосредственного следования между двумя числами отразилось в факте фонетического сходства между соответствующими означающими.

Фонетическое сходство таких терминов родства, как, например, англ. *father* ~ *mother* ~ *brother* или франц. *père* ~ *mère* ~ *frère*, отражает их семантическую близость, характерную для соответствующих означаемых. Определенные отношения на уровне означаемых отражаются специфическими для уровня означающих отношениями фонетического характера. Уровень означаемых индуцирует специфику отношений на уровне означающих. В этом и только в этом смысле можно говорить о мотивации одних отношений другими.

В этом отношении весьма характерны группы ассонирующих форм, относящихся к определенному семантическому полю, типа нем. *Vibe*, *Bursche*, *Bengel*, *Baby*, *Balg*, *Blage*, в которых определенные соотношения между означаемыми проявляются в соответствующих означающих, в монотонном повторении конкретной фонемной единицы, устанавливающим своеобразные соотношения на уровне означающих<sup>20</sup>.

В этом же смысле следует понимать и отмечаемый Р. Якобсоном факт соотношения между формами единственного и множественного числа. Существуют языки, в которых формы множественного числа отличаются от соответствующих форм единственного числа прибавлением аффикса, в то время как нет языков с обратным соотношением, т. е. со специальным аффиксом в формах единственного числа при отсутствии аффикса в формах множественного числа<sup>21</sup>. Соотношение в фонемном составе между формами единственного и множественного числа на уровне означающих (ед. число — краткая форма ~ мн. число — длинная форма) своеобразно отражает отношение количества («один» ~ «много») на уровне означаемых. Ср. также соотношение кратких и долгих глагольных форм соответственно единственного и множественного числа во французском: *je finis* ~ *nous finissons*; *tu finis* ~ *vous finissez*; *il finit* ~ *ils finissent*.

Такие соотношения между означаемыми и соответствующими означающими пронизывают всю морфологическую структуру языка (ср. отмечаемое Р. Якобсоном соотношение между степенями сравнения прилагательных в индоевропейских и других языках, в которых отношения возрастающей интенсивности качества выражаются на уровне означающих возрастанием длины фонемного состава прилагательного: англ. *high* ~ *higher* ~ *highest*, лат. *altus* ~ *altior* ~ *altissimus* и др.). Все эти и аналогичные им

<sup>19</sup> Ср.: R. W. W e s c o t t, Linguistic iconism, «Language», 47, 2, 1971.

<sup>20</sup> См.: G. D e e t e r s, Gab es Nominalklassen in allen kaukasischen Sprachen, сб. «Corolla linguistica. Festschrift F. Sommer», Wiesbaden, 1955, стр. 31. По поводу подобного рода ассонирующих слов, объединяемых смысловой общностью (ср. англ. *twist*, *twirl*, *tweak*, *twill*, *tweed*, *tweezer*, *twiddle*, *twine*, *twinge*), см.: D. L. B o l i n g e r, Rime, assonance and morpheme analysis, «Word», 6, 1950, 6, 1950, стр. 117 и сл.; Интересные данные в этом отношении приводятся в статье: Н. А. С ы р о м я т н и к о в, Определение родственности корней, ВЯ, 1972, 2, стр. 109 и сл.).

<sup>21</sup> См.: J. H. G r e e n b e r g, Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements, сб. «Universals of language», стр. 74.

примеры, число которых можно было бы приумножить с привлечением иллюстраций из разных языков, свидетельствуют о наличии своеобразной зависимости в сфере «горизонтальных» отношений между означаемыми и соответствующими означающими. Зависимость эта не иконического характера, что свойственно для разного рода диаграммных отображений; она в сущности конвенциональна и носит характер условной зависимости в том смысле, что специфические отношения между означающими, обусловленные отношениями между соответствующими означаемыми, не отражают, не являются иконическим повторением специфики этих последних. Диаграммное соответствие в языковых знаках можно было бы усмотреть частично на синтаксическом уровне, где линейная последовательность членов синтаксической группы находится в определенной иконической зависимости от отношений порядка или ранга на уровне означаемых. Так, например, последовательность глагольных форм *vēni, vīdi, vīci* в известном изречении Цезаря иконически воспроизводит порядок связанных между собой событий; или в фразе *Le Président et le Ministre prirent part à la réunion* последовательность членов *Président ~ Ministre* отражает отношение иерархии между соответствующими означаемыми<sup>22</sup>.

Итак, выявляемая в языковых знаках зависимость плана выражения от плана содержания относится исключительно к сфере «горизонтальных» отношений между означаемыми и соответствующими означающими и не затрагивает сферы «вертикальных» отношений между означаемым и означающим, характеризующихся условностью и отсутствием мотивации.

По-видимому, в этом смысле следует толковать и известный опыт с фигурами Кёлера, обозначаемыми «словами» *takete* и *maluma*<sup>23</sup>. Мотивированность связи между означаемым и означающим в этом и в других аналогичных опытах психологов<sup>24</sup> затрагивает не «вертикальные», а лишь «горизонтальные» отношения между знаками.

Проблема *thesei ~ phusei* языкового знака, рассматриваемая лишь в плане «вертикальных» или в плане «горизонтальных» отношений, характеризуется неполнотой и с необходимостью приводит к прямо противоположным ответам на вопрос о природе языкового знака, о характере отношений между означающим и означаемым.

При рассмотрении языкового знака как единства «вертикальных» и «горизонтальных» отношений прямо противоположные суждения о характере отношений между означаемым и означающим представляются не противоречивыми (контрадикторными), а дополнительными (комплементарными) друг в отношении друга, характеризующими с необходимой полнотой сущность языкового знака.

Эти суждения, оба истинные, но частичные каждое в отдельности в отношении характеризуемого объекта, находятся в соотношении, определяемом как «дополнительность» (в смысле Нильса Бора)<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> См.: R. Jakobson, Implications of language universals for linguistics, сб. «Universals of language», стр. 213; ср., однако: D. Bolinger, Aspects of language, New York, 1968, стр. 16.

<sup>23</sup> См.: W. Köhler, Gestalt psychology. An introduction to new concepts in modern psychology, New York, 1947, стр. 224 и сл.

<sup>24</sup> См.: S. H. Tsuru, H. S. Fries, A problem in meaning, «The journal of general psychology», 8, 1, 1933; R. Davis, The fitness of names to drawings. A cross-cultural study in Tanganyika, «The British journal of psychology», 52, 3, 1961; А. Г. Бандурский и И. И. Экспериментальная психология наименования, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).

<sup>25</sup> О принципе дополнителности см.: Н. Бор, Философия естествознания и культуры народов, сб. «Атомная физика и человеческое познание», М., 1961, стр. 39 и сл.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. С. ЛИБЕРМАН

## ПОРОЖДАЮЩАЯ ФОНОЛОГИЯ: ПРЕТЕНЗИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Порождающая фонология создавалась усилиями М. Халле, Н. Хомского и их сторонников. В 1959 г. вышла книга Халле «Звуковая модель русского языка», в 1962 и 1964 гг. его же статьи «Об основах фонологии» и «Фонология в порождающей грамматике»<sup>1</sup>. В 1962 г. Хомский проанализировал основные принципы построения фонологической теории<sup>2</sup>. В 1968 г. одновременно увидели свет три важные книги: «Аспекты фонологической теории» П. М. Постала, учебник по порождающей фонологии Р. Т. Хармса (типа «Введения в языкознание» для первокурсников) и, самое главное, «Звуковая модель английского языка» Хомского и Халле<sup>3</sup>. На протяжении десяти лет (с 1959 г. по 1968 г.) Хомский в многочисленных работах по общему языкознанию, грамматике, универсалиям, теории информации и психолингвистике затрагивал все основные вопросы фонологии, а огромное количество учеников и последователей Хомского и Халле написали за это время буквально сотни статей по вопросам порождающей фонологии<sup>4</sup>. Ряд тезисов нового учения послужил предметом ожесточенной полемики, причем споры нередко велись и внутри порождающей фонологии. Хомский и Халле прочли лекции во многих американских университетах по основам своей теории и по применению ее к английскому материалу. Возникли центры порождающей фонологии и за пределами США: например, в ГДР и Скандинавии<sup>5</sup>. И все же до опубликования «Звуковой модели английского языка» практика порождающей фонологии была сравнительно мало известна европейским ученым. Теперь же мы располагаем книгой, которая является важнейшей вехой в развитии новой теории. Впервые на огромном материале показано применение фонологических принципов Хомского и Халле, и, хотя сами авторы отнюдь

<sup>1</sup> M. H a l l e, The sound pattern of Russian, The Hague, 1959, е г о ж е, Phonology in a generative grammar, «Word», 18, 1962; е г о ж е, On the bases of phonology, в кн.: J. A. F o d o r, J. J. K a t z, The structure of language. Readings in the philosophy of language, New York, 1964 (в этой же антологии перепечатана и предыдущая статья М. Халле).

<sup>2</sup> N. S h o m s k y, The logical basis of linguistic theory, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964 (по-русски в кн.: «Новое в лингвистике», IV, М., 1965).

<sup>3</sup> P. M. P o s t a l, Aspects of phonological theory, New York, 1968; R. T. H a r m s, Introduction to phonological theory, New York, 1968; N. S h o m s k y, M. H a l l e, The sound pattern of English, New York, 1968 (далее в тексте — SPE).

<sup>4</sup> Некоторое представление о размахе этой работы можно получить из библиографии в журнале «Langages», 8, 1967, стр. 124—131 и из справочного аппарата к книгам Постала и особенно Хармса (см. выше); ср. также обзор новейшей литературы: J. M e y, Norwegian generative grammar. Some antilegomena, NTS, XXIV, 1971.

<sup>5</sup> См. работы М. Бирвиша и его учеников. Особенно существен сборник «Studia grammatica», 6 (Berlin, 1967). Относительно усилий скандинавских лингвистов см., например: J. M e y, указ. соч.

не считают свою работу законченной<sup>6</sup>, «Звуковая модель английского языка», несомненно, займет такое же место в истории порождающей фонологии, какое заняла итоговая книга Трубецкого в истории фонологии европейской. Ниже я ограничу свои ссылки почти исключительно этим сочинением.

Надо заметить, что порождающая фонология имеет и сторонников, и противников. Например, книга Постала написана как апология (причем чрезвычайно агрессивная апология) идей Хомского и Халле. Учебник Хармса составлен таким образом, будто никакой другой фонологии, кроме порождающей, не существует. Но рядом с одобрительными и даже восторженными рецензиями<sup>7</sup> мы находим дружелюбно критические<sup>8</sup> (в том числе и из лагеря трансформационалистов<sup>9</sup>), а также остро критические<sup>10</sup> и даже совершенно уничтожающие<sup>11</sup>. Необходимо внимательно рассмотреть методы и оценить результаты Хомского и Халле; подобный анализ будет тем более своевременен, что в нашей литературе о порождающей фонологии не написано почти ничего<sup>12</sup>.

Следует с самого начала иметь в виду, что порождающая фонология — это лишь одна из частей трансформационной лингвистики: ее окрыляют те же идеи, что и синтаксис Хомского. Поэтому бесполезно прежде всего суммировать исходные положения хомскианской грамматики в том виде, как они предстают перед нами со страниц «Синтаксических структур» и «Аспектов синтаксической теории»<sup>13</sup>. В противном случае может оказаться затупеванным полный изоморфизм между порождающим синтаксисом и порождающей фонологией.

В самом общем виде кредо трансформационной грамматики таково. (1) Лингвистика не должна быть аналитической наукой, состоящей из рецептов типа: «разбей предложение таким-то образом» или «найди позиция контраста — и получишь искомое» (как хорошо известно, именно эта сторона — главное в дескриптивистике и для Л. Блумфилда, и для Э. Харриса). Основное в языке — его творческая сторона, способность производить новое по правилам (отсюда интерес к В. Гумбольдту). Поэтому лингвистическое описание должно показывать порождение все новых образцов из исходного материала. Язык уподобляется кибернетическому устройству, о котором надо знать, что подается на вход, как это устройство работает и наконец, что получается на выходе. (2) Мера истинности в грамматике — простота описания (чем меньше символов и чем меньше шагов-

<sup>6</sup> Уже после книги о звуковой модели английского языка вышла монография: M. Halle, S. J. Keyser, *English stress. Its growth and its role in verse*, New York, 1971, где многие выводы первой книги доработаны или даже видоизменены. Ср. также недавно вышедшую хрестоматию: N. Chomsky, *Selected readings*, ed. by J. P. V. Allen, P. van Buren, London — New York — Toronto, 1971, стр. 69—100.

<sup>7</sup> Ср.: R. Hurford, *The state of phonology*, «Linguistics», 71, 1971.

<sup>8</sup> Ср.: P. Ladefoged, *The limits of phonology*, в кн.: «Form and substance. Phonetic and linguistic papers presented to E. Fisher-Jørgensen», Odense, 1971.

<sup>9</sup> Например: G. Sampson, *On the need for a phonological base*, «Language», 46, 3, 1970 (с очень хорошей библиографией); в какой-то мере сюда же можно причислить рецензию Чейфа (W. L. Chafe) на книгу Постала («Language», 46, 1, 1970).

<sup>10</sup> Ср. статью К. Кольера (K. J. Kohler) в журн. «Lingua», 26, 1970.

<sup>11</sup> Г. Намстартром, *The problem of nonsense linguistics*, Uppsala, 1971. Крайне отрицательный отзыв о порождающей фонологии дает и Хоккет: см. Ch. F. Hoekett, *The state of the art*, The Hague — Paris, 1968.

<sup>12</sup> Ср.: S. K. Sajan, *Phonology and generative grammar*, в кн.: «Phonologie der Gegenwart», Graz — Wien — Köln, 1967; см. его статью и в кн.: «To Honor Roman Jakobson», 3, The Hague, 1967; С. В. Кодзасов, *Фонологическая часть порождающей грамматики и восприятие речи*, «Уч. зап. Тартуск. ун-та», 232, 1969; В. Б. Касевич, [рец. на кн.:] P. M. Postal, *Aspects of phonological theory*, ВЯ, 1972, 1.

<sup>13</sup> Ср. обзор теории Хомского в кн.: Ch. F. Hoekett, указ. соч., стр. 38—43; J. Lyons, *Noam Chomsky*, New York, 1970.

порождения, тем проще грамматика и тем она оптимальней) и верность интуиции, никак точно не определенной. (3) Трансформационная грамматика есть истинная модель речевого поведения. Механизм трансформации прирожден человеку (отсюда интерес к картезианству), а исходных моделей так немного, что на уровне глубинных структур языка поражают не разнообразием, а сходством; поэтому лингвистика нуждается в универсальной грамматике.

Мы опустили некоторые моменты, которые существенны для Хомского, но либо непосредственно следуют из сказанного, либо не являются наиболее общими тезисами его теории. Так, например, поскольку лингвистическое описание оказывается описанием кибернетического устройства, то язык такой грамматики, по необходимости, предельно формализован (трансформационная алгебра превратилась в специальную науку со своими сугубо алгебраическими задачами, а так называемый формализм стал стеной, отгораживающей хомскианцев от «непосвященных») и т. п. Однако и сказанного достаточно, чтобы перейти к рассмотрению теории и практики порождающей фонологии.

Основная цель фонологического анализа состоит, очевидно, в том, чтобы выяснить, как устроен звуковой механизм языка, на какие минимальные единицы распадается речевая цепь, как они функционируют (т. е. как оговариваются и как различаются, по каким правилам сочетаются друг с другом и как образуются в процессе говорения). Проникновение в глубь этого механизма позволит нам сконструировать действующую модель языка, которая будет производить звуковой поток тем же способом и с теми же результатами, что и говорящий индивид.

В соответствии с общей концепцией Хомского, о которой шла речь выше, фонологическая модель состоит из трех частей: исходных элементов («системных фонем» — уровень «системной фонологии»), правил их переработки и, наконец, материала на выходе (непосредственная звуковая реальность, отраженная в узкой транскрипции — уровень «системной фонетики»). На вход фонологического устройства поступают, по Хомскому и Халле, поверхностные синтаксические структуры, которые удобнее всего зашифровать при помощи отмеченных скобок (*labelled bracketing*), например *torment* «мучить»: [<sub>гл.</sub> *torment*]<sub>гл.</sub> Индекс глагола стоит внутри скобок слева и показывает, что данная часть речи начинается именно здесь; тот же индекс повторяется после скобок справа в знак того, что указанный глагол дальше не продолжается. Чем сложнее деривация слова, тем сложнее и отмеченные скобки: ср. *blackboard* «классная доска»: [<sub>сущ.</sub> # # [<sub>прил.</sub> # *black* #] [<sub>прил.</sub> # [<sub>сущ.</sub> # *board* #] #] [<sub>сущ.</sub> #] [<sub>сущ.</sub> #] (# обозначает начало и конец морфемы и структуры в целом). Количество скобок отражает глубину производности также и в том случае, когда словообразование осуществляется без словосложения и аффиксации. Например, Хомский и Халле считают существительное типа *torment* «мука» производным от глагола *torment* «мучить», поэтому оно представлено ими так: [<sub>сущ.</sub> [<sub>гл.</sub> *torment*]<sub>гл.</sub>]<sub>сущ.</sub> Аналогичным образом можно записать не только отдельное слово, но и сочетание слов: ср. *black board* «черная доска» (в отличие от *blackboard*): [<sub>субст. гр.</sub> # [<sub>прил.</sub> # *black* #] [<sub>прил.</sub> # [<sub>сущ.</sub> # *board* #] #] [<sub>сущ.</sub> #] [<sub>субст. гр.</sub> #] Легко видеть, что в записи структур *blackboard* и *black board* все совпадает, кроме самых последних индексов: в одном случае перед нами существительное, в другом — субстантивная группа. Запись в отмеченных скобках называется исходной формой (*underlying form*); правила, превращающие обычную словарную форму в «исходную», — правилами приспособления (*readjustment rules*).

Как сказано, исходные формы поступают на вход фонологического устройства и перерабатываются им. Однако, по Хомскому и Халле, таких

устройств фактически два: первое (просодическое) расставляет в английских словах ударение, второе выдает узкую транскрипцию. Просодическое устройство разобрано ими особенно подробно, и значительная часть книги «Sound pattern of English» посвящена именно ударению.

Наиболее элементарные правила можно рассмотреть на примере слова *blackboard* и субстантивной группы *black board*. Фонолог имеет запись обеих структур в отмеченных скобках. Кроме того, он точно знает, что именно он хочет получить на выходе. Мы на время отложим обсуждение того, откуда он это знает и почему его знание столь определено. Чтобы упростить задачу, примем предложенную гипотезу и согласимся, что акцентный контур слова *blackboard* — это 13 (один три): на первом слоге самое сильное ударение, на втором — третья ступень ударности. Всего Хомский и Халле, вслед за американскими фонетистами, признают пять таких ступеней, причем пятая означает безударность. Согласимся и с тем, что группа *black board* имеет рисунок 21 (два один): максимально сильное ударение на *board* и вторая ступень на *black*. Чтобы получить желаемые формы  $\overset{1}{b}l\overset{3}{a}c\overset{2}{k}\overset{1}{b}o\overset{1}{a}r\overset{1}{d}$  и  $\overset{1}{b}l\overset{2}{a}c\overset{1}{k}\overset{1}{b}o\overset{1}{a}r\overset{1}{d}$ , Хомский и Халле предлагают ряд правил и оговаривают общий принцип. Просодическое устройство, через которое будут пропущены все слова, начинает работать с внутренних скобок; после того, как элементам в самих внутренних скобках будет приписано некоторое ударение, эти скобки стираются и процедура повторяется со следующими скобками. Внешние скобки стираются в последнюю очередь. Все эти операции в сумме образуют так называемый трансформационный цикл.

Правила, придуманные для расстановки ударений в *blackboard* и *black board*, должны быть, по заданию, как можно более общими, ибо частные правила, которые придумать очень просто, не имеют никакой ценности. Ср., например «правило»: припиши первой части слова *blackboard* первую ступень ударности, а второй части — третью ступень. Таким способом мы, конечно, получим желаемый результат, но не обнаружим никакого обобщения, т. е. фактически правила не сформулируем, ибо всякое правило — это и есть обобщение.

Процедуры Хомского и Халле таковы (SPE, 16—21). (1). Припиши гласным односложных слов первую ступень ударения. Применив эту процедуру к слову *blackboard* и приписав главное ударение односложным элементам во внутренних скобках, мы получим структуру [сущ. # [прил. #  $\overset{1}{b}l\overset{1}{a}c\overset{1}{k}\overset{1}{b}o\overset{1}{a}r\overset{1}{d}$  # ]прил. [сущ. #  $\overset{1}{b}o\overset{1}{a}r\overset{1}{d}$  # ]сущ. # ]сущ. и сможем стереть внутренние скобки: [сущ. # #  $\overset{1}{b}l\overset{1}{a}c\overset{1}{k}\overset{1}{b}o\overset{1}{a}r\overset{1}{d}$  # # ]сущ. (2). Припиши в сложном существительном главное ударение первой части. Это правило выглядит странно, так как первая часть слова *blackboard* уже имеет главное ударение. Однако его смысл становится ясным, как только мы доходим до правила (3): ослабь все ударения, кроме первого, на одно. Если мы еще раз припишем главное ударение элементу *black*, уже получившему его на предшествующем шаге, то сможем — в соответствии с правилом (3) — ослабить единицу на *board* до двойки и получить контур  $\overset{1}{b}l\overset{2}{a}c\overset{1}{k}\overset{1}{b}o\overset{2}{a}r\overset{1}{d}$  [применив правило (2), мы стерли оставшиеся скобки; правило (3) имеет универсальный характер и на наличие скобок не влияет]. Однако  $\overset{1}{b}l\overset{2}{a}c\overset{1}{k}\overset{1}{b}o\overset{2}{a}r\overset{1}{d}$  — это еще не то, что нам нужно, и мы вновь применим предыдущее правило: (4) в пределах слова в контексте  $\overset{1}{V}\overset{2}{V}$  ( $V$  — любой гласный): еще раз припиши главное ударение главноударному слогу. Благодаря этому последнему шагу, мы получаем, наконец, искомый контур  $\overset{1}{b}l\overset{2}{a}c\overset{3}{k}\overset{1}{b}o\overset{2}{a}r\overset{1}{d}$ . Ана-

логично обрабатываются словосочетания (типа *black board*, у которого контур 21) и многие другие слова.

Примера с *blackboard* в какой-то мере достаточно, чтобы высказать предварительные соображения о предложенном методе. Как мы видели, все правила были сочинены специально для того, чтобы получить заранее известный результат. Пользуясь процедурами Хомского и Халле, мы не узнаем ничего нового об английском ударении — напротив, «подгонка под ответ» и составляет хорошо осознанный смысл всей задачи. Решение оказалось возможным потому, что акцентный контур английского слова частично зависит от его синтаксической принадлежности: глаголы акцентированы не так, как существительные, сложные слова — не так, как словосочетания, и т. п.

Первые сложности с программой начинаются тогда, когда мы задаем себе вопрос, в какой мере модель Хомского и Халле не просто получает те же результаты, что и человек, но и воспроизводит процесс речевой деятельности человека. Как известно, модель, способная совершать те же действия, что и объект, послуживший ей прообразом, может быть устроена по-иному, чем этот объект: самолет в чем-то повторяет птицу, но по нему нельзя изучить строение птицы; музыкальный инструмент может воспроизвести звук журчащего ручья, но в ручье нет струн, как на арфе. Хомский и Халле утверждают, что они построили модель реальной речевой деятельности. Более того, по их мнению, трансформационный цикл должен быть врожден человеку; он принадлежит универсальной грамматике, и только способ его применения (т. е. конкретные правила, различные в различных языках) усваивается в детстве (SPE, стр. 43, 44).

Однако нет способов убедиться в прирожденности цикла. Что же касается его роли, то лишь эксперимент мог бы доказать, что он существует и даже определяет функционирование просодической структуры английского слова. Подобный эксперимент не проводился, не ясно, как его проводить, и а priori невозможно себе представить, чтобы говорящий совершал столь странные и неестественные операции, как многократные приписывания главного ударения слогу, уже имеющему его. На некоторых словах трансформационный цикл даже отменяет полезный результат. Например, в существительном *orthodoxy* «ортодоксия» гласный слога *or* имеет сильное ударение на втором повороте цикла, вторичное ударение — на третьем и снова главное на четвертом; смена контура на слове в целом [сущ. {прил. *ortho* {корень *dox*}<sub>корень</sub> прил. *y*}<sub>сущ.</sub> выглядит так: 12, 21, 12 (SPE, стр. 133). Столь же сложно и невероятно, с точки зрения реальной речевой деятельности, порождение ряда других слов.

Хомский и Халле пытаются доказать реальность цикла условиями редукции. Они отмечают, что если какой-то гласный имел главное ударение хотя бы на одном повороте цикла, то он навсегда защищен от редукции. Например, при наличии омографов типа *torment* (гл.) ~ *torment* (сущ.) им удобно всегда производить существительные от глаголов. Как говорилось, существительное *torment* имеет, по Хомскому и Халле, поверхностную структуру [сущ. {гл. *torment*}<sub>гл.</sub>]<sub>сущ.</sub> Вначале, по предварительно описанному правилу, во внутренних скобках ставится главное ударение на последний слог. Если бы перед нами был глагол *torment*, порождение его акцента на этом бы и закончилось, но у существительного структура сложнее и надо стереть еще одни скобки. В результате второго применения цикла (также по заранее описанному правилу), главное ударение переносится на начальный слог. Но гласный /e/ все равно не редуцируется, так как хранит следы своего происхождения: ср. [ˈtɔːment]. Существительное же *torrent* «поток» не произведено ни от какого глагола и соответственно произносится [ˈtɒrənt]. Аналогично в *condensation* «конденсация»

(от *condense*) гласный второго слога передупцирован, а в *compensation* «компенсация» — редуцирован до нейтрального (SPE, стр. 37—39).

Однако убедительность и, главное, обобщающая сила приведенных примеров только кажущаяся. Пары *torment* (сущ.) ~ *torrent*, *condensation* ~ *compensation* несомненно свидетельствуют о том, что степень ослабления гласных связана с типом деривации. Но, во-первых, наличие главного ударения на какой-нибудь стадии цикла, даже в самых простых случаях, — довольно ненадежная защита от редукции: так, существительные *torment* и *condensation* имеют варианты с [ə] (по словарю Д. Джоунза), а слово *hurricane* «ураган», которое на исходном этапе порождения было акцентуировано на третьем слоге (SPE, стр. 78), в Англии обычно произносится [ˈhʌrɪkən] (ˈhʌrɪkeɪn) — менее распространенный вариант). Во-вторых, деривация слов по Хомскому и Халле лишь случайно может совпасть с реальной. Как хорошо известно, существительные не всегда происходили по конверсии от глаголов, поэтому и в современном языке подобная связь часто отсутствует; она просто придумана Хомским и Халле, чтобы оправдать расстановку ударений. Неудивительно поэтому, что вторые члены многих пар того же типа, что *torment* (гл.) ~ *torment* (сущ.), не имеют аналогичной ступени редукции. Например, в конечных слогах существительных *present* «подарок», *rebel* «бунтовщик» не только нет гласного [e] (ср. глаголы *present* [priˈzɛnt], *rebel* [riˈbɛl]), но даже и редуцированный звук обычно не сохраняется: [ˈprez(ə)nt], [ˈreb(ə)l]. В-третьих, можно обнаружить глаголы и существительные с одинаковым ударением (ср. *segment*, *revel*, *equal*; в книге приведены *comment* и *triumph*). Чтобы истолковать эти случаи, Хомский и Халле искусственно добавляют к слову *comment* еще одни внутренние скобки, и тогда им удается расставить правильные ударения (SPE, стр. 140—141). Синтаксическая структура оказывается довольно условной характеристикой этих слов, ибо ради ударения приходится сочинять скобки, которых нет в действительности (ср. также рассуждение о сложных глаголах: SPE, стр. 94—95). И наконец, правила редукции впоследствии несколько видоизменяются, чтобы оправдать качество безударного гласного в словах типа *explanation* (SPE, стр. 121—122; ср. еще деривацию слова *felonious*: SPE, стр. 225).

Если перед нами устройство, единственная цель которого — воспроизвести некоторые результаты человеческой деятельности, то мы, в принципе, готовы согласиться на любую конструкцию. Мы лишь отметим, что это устройство сложно, громоздко и в одних случаях (типа *comment*) непредсказуемо, а в других — работает с переборами (ср. редукцию в существительных *torment* и *present*). Невероятна лишь гипотеза, будто изобретенное устройство моделирует не только результаты, но и процесс речевой деятельности человека, гипотеза, будто говорящий не просто воспроизводит *comment* с определенным ударением, а искусственно усложняет его деривацию, чтобы добиться желаемого результата.

Однако несравненно большие трудности ожидают Хомского и Халле в тех случаях, когда синтаксическая структура слова вообще не дает ключа к распределению акцентов. Например, и *yellow* «желтый», и *ser'ene* «спокойный» — двусложные прилагательные, но ударения в них падают на разные слоги. Чтобы обобщить эту ситуацию и подвести ее под какое-то правило, Хомский и Халле вынуждены с самого начала допустить деление гласных на напряженные и ненапряженные (т. е. долгие и краткие); только слова с напряженным конечным гласным получают ударение на нем (ср. *profane* «богохульный», *police* «полиция», *bazaar* «базар» и т. п.). Впоследствии это правило расширяется. Вводятся понятия легкой и тяжелой группы, совпадающие с известными из исторической грамматики понятиями «краткий слог» и «долгий слог». Легкая группа состоит из ненапряженного

гласного, за которым может следовать не более одного согласного, тяжелая группа содержит напряженный гласный, за которым может следовать любое количество согласных, или ненапряженный гласный плюс два или более согласных. Легкость ~ тяжесть конечной группы оказываются важнейшим фактором при определении места словесного акцента.

С теоретической точки зрения, все, что связано в просодике Хомского и Халле с напряженными и ненапряженными гласными, весьма уязвимо. Мы не станем обсуждать, правомерно ли приписывать различие между англ. *beat* ~ *bit* и т. п. отдельным гласным (так же, как не обсуждали выше, правомерно ли приписывать ударение гласным, а не слогам). Для нас гораздо больший интерес представляет критика порождающей фонологии изнутри. Необходимо понять, в какой мере Хомский и Халле верны собственным лозунгам; оценка их положений глазами какой-нибудь иной фонологической школы (например, пражской, которая не признает кратких и долгих гласных в современных западногерманских языках, а доказывает наличие в них корреляции слогового контакта) — дело сравнительно несложное и на данном этапе не самое важное.

До сих пор на вход порождающего устройства подавались поверхностные синтаксические структуры; теперь впервые в исходные формы закладывается фонологическая информация. Возникает вопрос, каким образом удалось получить классификацию английских гласных по напряженности и даже разбить их на пары. Ответ мы получаем лишь в конце книги, поэтому и мы остановимся на нем ниже, а сейчас рассмотрим слова, в которых акценты распределены не так, как предсказывает распределение тяжелых и легких слогов.

В том американском варианте английского языка, который взят за основу Хомским и Халле, конечные гласные, если они не редуцированы до [ə], всегда долгие (напряженные): ср. *Hindu* «хинду» *country* «страна», а также *fiasco* «фиаско» (с дифтонгом). Однако ударение в них не падает на конечный слог. Чтобы объяснить это отклонение («кажущееся отклонение», как говорят в таких случаях Хомский и Халле), приходится признать, что в своих исходных формах слова *Hindu* и *country* содержат краткие (ненапряженные) гласные: *Hindu*, например, записано как /hɪndu/. Именно к таким формам с краткими концами применяется трансформационный цикл. После того как ударение в них поставлено на первый слог, срабатывает правило, удлиняющее конечный гласный, и [ˈhɪndu] превращается в [ˈhɪnduː]. Здесь мы наблюдаем основные методологические принципы порождающей фонологии: 1) исходная форма есть некий вид условной (не обязательно фонеморфологической) транскрипции, 2) эта транскрипция может как угодно сильно отличаться от той реальной транскрипции, которую мы стремимся получить, но каждое отличие приходится впоследствии компенсировать специальным правилом (так, на конце слова *Hindu* фактически стоит долгий гласный, но в исходной форме он был представлен как краткий, поэтому на заключительном этапе работы понадобилось правило, удлиняющее нами же сокращенный гласный), 3) порождение акцентного контура есть, по крайней мере частично, и порождение его фонематического состава, 4) фонологические действия должны быть строго упорядочены — нельзя сразу же поставить ударение в [hɪnduː] : надо сначала записать его в виде [hɪndu] (предварительное действие), затем найти место ударения (оно окажется на первом слоге) и лишь тогда удлинить [u]. Хомский и Халле не поясняют, как обнаружили краткие корреляты фонем /i: u:/, и создается впечатление (которое впоследствии полностью подтверждается), что эти корреляты подсказаны орфографией.

Рассмотрим теперь порождение слова *fiasco*. Оно тоже должно быть представлено в исходной форме с каким-то кратким гласным в конце.

Чтобы определить этот гласный, Хомский и Халле прибегают к целой серии фонологических рассуждений. Прежде всего они замечают, что в их произношении обнаруживается система из шести кратких гласных:

$i$	$u$	неоткрытые
$e$	$o$	открытые (SPE, стр. 74)
$\varepsilon$	$\varepsilon$	

Как выделены именно эти гласные (что такое /o/? почему нет /a/?), до поры до времени не говорится, и лишь потом становится ясно, что речь идет не о реальных фонемах, а о тех, которые нужны для записи исходных форм. Открытые гласные, как сообщают Хомский и Халле, невозможны в безударных концах; зато слова в их произношении часто оканчиваются на нейтральный — поэтому [ə] есть результат редукции либо /æ/, либо /ɔ/. В слове *fiasco* на конце не [ə], а дифтонг; отсюда следует, что последний гласный исходной формы не может быть ни /æ/, ни /ɔ/. Этот гласный к тому же не /i/ и не /u/: исходные /i/, /u/ дали бы на концах /i:/, /u:/ (ср. *country*, *Hindu*). Что же до /e/, то оно как будто вообще не встречается в безударной позиции, так что единственный гласный, из которого произошло /ou/ в слове *fiasco* — это /o/ (исходная форма — /fiasco/, вновь, как и прежде, совпадающая с орфографической записью).

Хомский и Халле вполне отдают себе отчет в том, что в английском языке нет особой фонемы /o/ (хотя звук [o] встречается в дифтонге /ou/ и в предударных слогах слов типа *November* «ноябрь», *admonition* «упрек»). Однако они говорят, что запись в исходной форме не обязательно отражает фонетическую реальность (и тем самым — насколько я могу судить — нарушают принцип, в соответствии с которым слово должно быть «произносимым» на любом этапе порождения). Как часто происходит с наиболее важными теоретическими посылками, вопрос о допустимости расхождения между исходной формой и реальными фонемами обсуждается Хомским и Халле в сноске (эта странная практика вообще стала обычной в американской фонологической литературе). Так, в одной из сносок говорится (SPE, стр. 75, примеч. 23), что многие фонологические сущности не имеют фонетического выражения: например, внутриморфемный стык (*junction*, или, как принято его называть в трансформационной грамматике, *boundary*) сравнительно редко реализуется в виде паузы.

Как и в предыдущих случаях, порождение слов *Hindu*, *country* и особенно *fiasco* надо оценивать с точки зрения той цели, ради которой введены описанные выше процедуры. Если Хомский, и Халле хотят придумать какую-то исходную транскрипцию, которую посредством упорядоченных правил можно превратить в обычную, т. е. если они хотят зашифровать все английские слова при помощи полуусловных значков, чтобы впоследствии переписать их более привычным образом, то их методика вполне приемлема. Можно в каких-то случаях предложить более остроумный или более короткий способ переписывания. Но работа в целом не вызывает возражений (при условии, что известно, зачем и кому она может понадобиться). Но если эта перекодировка одной транскрипции в другую выдается за модель речевой деятельности, то во всем описании Хомского и Халле нельзя принять ни одного звена, ибо не доказана и не может быть доказана реальность специально скопеструированных исходных форм. Хомский и Халле фактически признают, что «исходная фонема» /o/ — всего лишь абстрактный символ, но этот символ сосуществует у них наравне с настоящими фонемами (ср. табл. SPE, стр. 176—177).

Обратимся теперь к порождению слова *eclipse* «затмение». В *eclipse* /ik'lips/ ударен последний слог. Но раньше было выведено правило, что если двусложное существительное даже кончается на тяжелую группу

(в данном случае /ips/), но с кратким гласным (т. е. если группа долгая по положению, а не по природе), то на нее никогда не падает ударение (в трехсложном существительном второй долгий слог был бы ударен в любом случае). Следовательно, по правилу, ударение в *eclipse* оказывается на первом слоге, что неверно. Чтобы преодолеть трудность («кажущуюся трудность»), Хомский и Халле предлагают записать исходную форму в виде /eklipse/. Тогда в слове окажется три слога, и ударение попадет на предпоследний (как и нужно), но впоследствии придется добавить «правило элизии», по которому конечное /e/ устраняется. Добавление /e/ к «системной транскрипции» возможно потому, что, как поясняют Хомский и Халле, на конце английских слов никогда не бывает звука [e], и, вписав /e/ в исходную форму, мы гарантированы от каких бы то ни было недоразумений. Хомский и Халле считают, что, придя к идее безударного /e/, они достигли большого успеха, ибо в системе безударных гласных /i u o/ теперь появляется партнер к /o/, хотя раньше о заполнении пустых клеток ничего не сообщалось, а в данном случае ясно, что и /o/ и /e/ — не настоящие, а лишь «системные» фонемы, и говорить об их симметрии так же странно, как о сравнительной величине мнимых чисел.

Еще сложнее, чем в *eclipse*, поставить ударение в слове *giraffe* [dʒɪræf] «жираф» (SPE, стр. 48). Даже если записать его в виде /giræfe/ (с последующим применением правила элизии), то предпоследний слог окажется легким, а по правилу ударение в подобных существительных должно падать на предпоследний слог, только если он тяжелый. Следовательно, надо сделать предпоследний слог тяжелым; для этого /f/ записывается в виде геминаты: /giræffe/ (или /gVræffe/, где /V/ — фонологически неясный элемент, нечто вроде гиперфонемы московской фонологической школы). Теперь ударение будет поставлено на второй слог от конца, после чего применяется правило элизии и правило, упрощающее геминату. Легко видеть, что во всех существенных чертах исходные формы слов *eclipse* и *giraffe* совпали с их записью в обычной орфографии.

Метод вписывания в фонологическую транскрипцию несуществующих элементов на том основании, что, раз их в данном месте никогда не бывает, их неопасно туда поставить, был придуман Е. Куриловичем еще за 20 лет до Хомского и Халле. Анализируя современные английские слова типа *city* «город», в которых фактически нет слоговой границы (она не проходит после первого гласного, но должна была бы быть где-то до второго), Курилович предлагал фонологическую транскрипцию /sitti/, чтобы разделить слоги внутри геминаты: /sit-ti/<sup>14</sup>. Он мотивировал свое решение тем, что в современном английском нет геминат. В древнеанглийском были интервокальные геминаты, поэтому слово *wine* «друк» нельзя было протранскрибировать как /win-ne/. Вывод, что в случае необходимости в транскрипцию можно безнаказанно вписывать именно то, чего нет в реальном произношении, кажется парадоксальным, но за ним стоит мысль, что фонология призвана не обнаруживать и описывать единицы звукового языка, а составлять абстрактные транскрипции, связанные с речью серией п р о и з в о л ь н ы х правил (например: сотри конечное /e/, упрости геминату и т. п.). Неудивительно, что Халле, а несколько позднее и Хомский считали своей основной задачей дискредитировать принцип одно-однозначности (*biuniqueness*, или *one-one relationship*; по-немецки *Eineindeutigkeit*). В соответствии с этим принципом, одинаковые фонологические транскрипции могут быть только у омонимов, и наоборот: омонимы всегда имеют одинаковый фонологический состав (и таким образом, одинаковую фонологи-

<sup>14</sup> J. Kuryłowicz, *Latin and Germanic metre*, «English and Germanic studies», II, 1949.

ческую транскрипцию). Вторая часть принципа одно-однозначности в корне противоречит идее Хомского и Халле о порождении; слово *миса*, по Халле, — это фонологически /миса/, а слово *меса* — /меса/. Впоследствии при помощи определенных правил эти разные транскрипции будут переведены в одинаковые звучания. При таком взгляде на фонологию между исходной транскрипцией и транскрипцией на выходе лежит обширная область чаще всего непредсказуемых правил.

Можно было бы рассмотреть порождение слов *эконому* «экономия» (в ней последний гласный оказывается неслогообразующим глайдом), *Неттун* «Неттун» (где в последнем слоге стоит [u:], но в позиции перед одиночным согласным его приходится признать кратким, чтобы потом, после постановки ударения и стирания конечного /e/, удлинить), *сиппинг* «хитрый» (где [л] представлено в виде /u/ перед геминатой с последующим правилом делабиализации этого /u/ и упрощения геминаты) и ряд других, но они не дадут ничего принципиально нового. Во всех случаях окажется, что исходная форма содержит информацию и о синтаксической, и о фонематической структуре слова (в частности, о распределении в нем тяжелых и легких групп), что, чем проще синтаксическая структура, тем меньше она дает для постановки ударения, что правило главного ударения, выведенное на основе анализа большого количества слов, к некоторым словам неприменимо и для каждого из них приходится придумывать специальную исходную форму, почти всегда совпадающую с традиционной орфографией. На последнем пункте Хомский и Халле особенно настаивают, говоря, что орфография составлена для людей, знающих язык, и поэтому именно в ней отражена сущность, которая по правилам, известным всем говорящим, раскроется в реальное произношение.

Может быть, ничто не подчеркивает слабостей концепции Хомского и Халле так ясно, как их почтительное отношение к современной английской орфографии. Не существует доводов в пользу реальности трансформационного цикла, но можно привести неопровержимые психолингвистические соображения против него. По Хомскому и Халле, английская орфография интуитивно оправдана. Даже буква *y* в *эконому* вызывает их восхищение (SPE, стр. 40): по их мнению, на конце исходной формы этого слова действительно стоит такой же глайд, как в начале слова *yes*. Однако трудно себе представить язык, в котором орфография больше бы противоречила интуиции носителей, чем английский. Свидетельство тому — непрекращающиеся попытки ее реформировать и огромные трудности, которые приходится преодолевать школьникам, чтобы научиться писать грамотно. Даже во времена Кэкстона (Сахтон 1422 [?] — 1491, английский первопечатник) английская орфография была в значительной мере традиционной. Что же касается последней буквы в *эконому*, то, как известно, она всегда передавала звук [i], а *y* вместо *i* было введено романскими писцами для красоты (хотя, конечно, замена *i* на *y* была возможна потому, что глайд никогда не встречался на конце и повода для недоразумения не появилось, т. е., видоизменяя внешний образ слова, романские писцы рассуждали или интуитивно поступали так, как впоследствии Курилович, Хомский и Халле). Замечу еще, что всюду, где это им требуется, Хомский и Халле без колебаний нарушают фонетическую интуицию. Так, например, «фонологическим слогом» признается лишь комплекс, содержащий гласный, поэтому в исходной форме слова *плазма* оказывается один слог (SPE, стр. 34, примеч. 24; ср. стр. 85—86). Аналогично говорится об ударном слоге *-doxy* в *ортодоксия*, ибо *y* передает исходный глайд (SPE, стр. 41, но на стр. 134 *-doxy* называется просто цепочкой). В слове *индустрия* «промышленность» сначала обнаруживается три слога, потом их становится два, а затем снова три (SPE, стр. 40). Суффикс

-ion (в *prohibition* «запрет» и т. п.) «удобней» представить как двугласный (ср. орфографию!) и двусложный (SPE, стр. 87, 182), и т. д.

Выше несколько раз говорилось о том, что Хомский и Халле вывели правило ударения в двусложных или в трехсложных существительных, в сложных словах, в глаголах и пр. Основная практическая цель их просодики — доказать, что английское ударение целиком зависит от синтаксической структуры слова, количества слогов и распределения в нем легких и тяжелых групп. Результаты их усилий обобщены в формуле главного ударения (SPE, стр. 35, № 48; стр. 109—110, № 104; стр. 240, № 15); впоследствии она дополняется формулой второстепенного ударения (SPE, стр. 114, № 107). Вопреки постоянным утверждениям авторов, обе формулы в высшей степени сложны, но Хомский и Халле добиваются того, чтобы все слова, кроме нескольких исключений, имели исходные формы, однозначно свидетельствующие о месте их ударения. Если к таким записям, как [сущ. *pol*][сл. *is*]<sub>сущ.</sub> (*police* «полиция»), большая буква обозначает долгий гласный), [сущ. [гл. *torment*]<sub>гл.</sub>]<sub>сущ.</sub>, [сущ. *giraffe*]<sub>сущ.</sub>, [сущ. *per-tune*]<sub>сущ.</sub> и т. п., применить формулу, то ударение будет поставлено верно. Но не следует забывать, какой ценой получены исходные формы. В некоторых из них, как, например, в *police* или *blackboard*, факторы, определяющие «системную запись», действительно независимы от ударения (последний гласный в *police* долгий, а *blackboard* — сложное существительное определенной структуры; эти обстоятельства выясняются без всякой связи с акцентным контуром слов). Но исходная форма слов *giraffe*, *Neptune* и пр. непредсказуема: она именно для того и сочинена, чтобы можно было поставить правильное ударение.

Разберем элементарный пример. В польском языке ударение всегда падает на второй слог от конца. Поскольку сосчитать слоги можно, ничего не зная об ударении, его иррелевантность очевидна. Но, встретив английские слова *segment*, *eclipse* или *giraffe*, мы вынуждены сначала поставить в них ударение, потом сверить с формулой и, убедившись, что она для них не подходит, придать им на бумаге такой вид, чтобы и они стали ей соответствовать. Обобщения Хомского и Халле отражают бесспорный факт, что в огромном количестве английских слов ударение действительно подчиняется некоторым закономерностям. Но столь же бесспорно и то, что многочисленные слова нарушают эти закономерности. Формулы, якобы всегда п р е д с к а з ы в а ю щ и е место главного ударения в современном английском языке, — это самообман, равный которому трудно найти во всей истории английской фонологии.

Знакомство с основными принципами фонологического порождения позволит нам оцепить и ту часть теории, которая непосредственно связана с фонематикой. В своей книге Хомский и Халле более подробно разработали порождение гласных, но их материала совершенно достаточно для того, чтобы понять и оценить метод в целом.

В английском языке легко выделить чередования гласных, как в словах *divine* «божественный» ~ *divinity* «божество», *serene* «спокойный» ~ *serenity* «спокойствие», *profane* «богохульный» → *profanity* «богохульство» (в записи Хомского и Халле: *āy* → *i*, *īy* → *e*, *ēy* → *æ*), или как в словах *various* «разнообразный» ~ *variety* «разнообразие», *algebra* «алгебра» ~ *algebraic* «алгебраический», *funeral* «похороны» ~ *funereal* «похоронный» (т. е. *i* → *āy*, *e* → *īy*, *æ* → *ēy*). Следует заметить, что к своим транскрипциям Хомский и Халле не дают никаких пояснений. С самого начала известно, что гласные слов *divine*, *serene*, *profane* — это именно [āy], [īy], [ēy], т. е. сочетания долгих гласных с передним глайдом. Второй ряд чередований тоже представлен либо с сомнительными комментариями, либо совсем без них. Так, *algebra* дано с конечным системным /æ/ (SPE, стр. 166—167) потому,

что с переднеязычным дифтонгом в *algebraic* может чередоваться лишь передний монофтонг (это /æ/ потом подвергается правилу редукции, как любой открытый гласный), но подобное соображение неубедительно, ибо основной тезис порождающей фонологии состоит в том, что инвариантность морфемы может нарушаться до любых пределов<sup>15</sup>. Еще менее понятно, как установлен «системно-фонологический» статус первого безударного гласного в слове *funeral*. В аналогичных случаях гласные иногда зашифрованы под архифонемы: ср. *gVraffe*, *kVress*, *hVræss* (*giraffe*, *caress*, *harass*), где V — просто символ неопределенного гласного (SPE, стр. 46, 48, 150 и т. д.). Но, как и выше, заинтересованные в критике порождающей фонологии изнутри, мы примем исходный тезис Хомского и Халле, что в английском действительно есть два ряда встречаемых чередований:

$\bar{a}y \rightarrow i$	$i \rightarrow \bar{a}y$
$\bar{i}y \rightarrow e$	$e \rightarrow \bar{i}y$
$\bar{e}y \rightarrow \varepsilon$	$\varepsilon \rightarrow \bar{e}y$

Об этих двух рядах говорится (SPE, стр. 180), что они чрезвычайно сложны, что в них отсутствует элемент обобщения и что грамматика не может иметь двух таких правил одновременно. Хомский и Халле нигде не поясняют, как, посмотрев на правило, решить, сложно оно или просто, но согласимся и с этим их заключением. «Хорошо известно, — утверждают Хомский и Халле, — что английские напряженные гласные дифтонгизуются, т. е. имеют конечные глайды» (SPE, стр. 183). Этот факт и отражен в их транскрипции: ср.  $\bar{a}y$ ,  $\bar{i}y$ ,  $\bar{e}y$ . Следовательно, в английском оказываются краткие гласные *i*, *e*,  $\varepsilon$  и долгие  $\bar{i}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$ . Так как после долгих глайд обязателен, то незачем включать его в исходную транскрипцию: достаточно сформулировать правило, по которому долгие приобретают глайд (так называемое правило дифтонгизации). При наличии двух рядов — *i*,  $\varepsilon$  и  $\bar{i}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$  — легко связать их чередованием:  $i \rightarrow \bar{i}$ ,  $e \rightarrow \bar{e}$ ,  $\varepsilon \rightarrow \bar{\varepsilon}$  ( $\bar{a}$  временно принимается за  $\bar{\varepsilon}$  с последующим добавлением соответствующего правила). Итак, получаем:  $i \rightarrow \bar{i}$  (*y*),  $e \rightarrow \bar{e}$  (*y*),  $\varepsilon \rightarrow \bar{\varepsilon}$  (*y*) (в скобки я поместил глайд, появившийся лишь по правилу дифтонгизации). Но на самом деле чередуются не  $i \rightarrow \bar{i}$  (*y*), а  $i \rightarrow \bar{a}$  (*y*), не  $e \rightarrow \bar{e}$  (*y*), а  $e \rightarrow \bar{i}$  (*y*), не  $\varepsilon \rightarrow \bar{\varepsilon}$  (*y*), а  $\varepsilon \rightarrow \bar{e}$  (*y*) (см. схему, приведенную выше), поэтому необходимо дополнительное правило, превращающее  $\bar{i}$  в  $\bar{a}$  (или в  $\bar{\varepsilon}$  и потом в  $\bar{a}$ ),  $\bar{e}$  в  $\bar{i}$  и  $\bar{\varepsilon}$  в  $\bar{e}$ . Это правило вводится под названием правила сдвига гласных. Таким образом, гласные слов *divine*, *serene*, *profane* оказываются «порожденными» из  $\bar{i}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$  при помощи двух правил, а орфография, как всегда, служит почти идеальным образцом исходных форм, ибо эти гласные и пишутся через *i*, *e*, *a*.

Аналогичным образом, дифтонги в словах *loud* «громкий», *pool* «пруд», *goal* «цель» возводятся к  $\bar{u}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{e}$  (SPE, стр. 186). Насколько я могу судить, процессы с задними гласными далеко не так просты, как с передними. Если полностью принять способ рассуждения и транскрипцию Хомского и Халле, то в английском существуют чередования:  $\bar{\varepsilon}w \rightarrow u$  (*south* «юг» ~ *southern* «южный»); в произношении Хомского и Халле британское литературное [au] передано как  $\bar{\varepsilon}w$ , а [ʌ] всегда возводится к *u* с добавлением правила делабиализации),  $\bar{u}$  (*w*) →  $\bar{o}$  (*school* «школа» ~ *scholar* «ученый») и  $\bar{o}$  (*w*) →  $\bar{o}$  (*holy* «святой» → *holiday* «праздник»). Однако Хомский и Хал-

<sup>15</sup> Хомский и Халле нередко забывают об этом принципе, и тогда мы встречаем высказывания вроде того, что в *torrent* фонема /e/, потому что есть слово *to'trential* (SPE, стр. 37, примеч. 27). Добавлю еще, что если *algebra*, по крайней мере, связано с *algebraic*, то слово *Canada* совершенно изолировано, однако и в нем обнаружено конечное /æ/, а не /ɔ/, хотя в рамках построений Хомского и Халле и /æ/, и /ɔ/ в одинаковой степени редуцируются в [ə].

ле записывают слова типа *scholar* с /o/, потому что, видимо, не могут допустить, чтобы два разных долгих чередовались с одним и тем же кратким. Получаются ряды:  $\bar{x}(w) \rightarrow u$ ,  $\bar{u}(w) \rightarrow o$ ,  $\bar{o}(w) \rightarrow \varepsilon$ . «Системное о», которое в словах типа *fiasco* было мифом с самого начала, теперь насильственно вписывается в исходные формы, чтобы чередования получились симметричными. Поскольку Хомскому и Халле надо непременно получить  $\bar{o}(w) \rightarrow \varepsilon$  (вместо  $\bar{o}(u) \rightarrow \varepsilon$ ) и  $\bar{o}(w) \rightarrow o$  (вместо  $\bar{u}(w) \rightarrow \varepsilon$ ), то правило сдвига приобретает здесь вид  $\bar{o} \rightarrow \bar{o}$ ,  $\bar{o} \rightarrow \bar{u}$ . Что касается  $\bar{x}(w)$ , то он имеет переднее ядро и задний глайд, а по правилу дифтонгизации, о котором говорилось выше, передние ядра получают передний глайд, задний же глайд [w] возникает лишь после задних; следовательно, чтобы оправдать задний глайд в *south*, приходится признавать наличие исходного заднего долгого. Этим гласным, естественно, названо  $\bar{u}$  (пара к *u*). По правилу дифтонгизации оно принимает вид  $\bar{u}w$ . На следующем шаге его нельзя сразу превратить в  $\bar{u}w$ , поскольку сдвиг не превращает передних гласных в задние, а задних — в передние, и самое большее, что можно здесь ожидать, — это перехода  $\bar{u}w \rightarrow \bar{u}w$ . Далее отмечается, что и среди передних гласных  $\bar{i}(y)$  перешло не в  $\bar{u}(y)$ , а в  $\bar{x}(y)$ , и потом пришлось специальным правилом превращать переднее  $\bar{x}$  в заднее  $\bar{a}$ . Изменения  $\bar{x}(y) \rightarrow \bar{a}(y)$  и  $\bar{o}(w) \rightarrow \bar{x}(w)$  параллельны в том смысле, что в обоих случаях произошла диссимилиация ядра глайду, и для этих дифтонгов вводится правило диссимилиации. Даже говорится (SPE, стр. 191), что истинный дифтонг — это тот, в котором такая диссимилиация произошла.

Легко видеть, как произвольны и вычурны манипуляции с задними гласными, но общий ход мысли совершенно ясен: английские дифтонги на [-i], [-u] (так называемые closing diphthongs) порождаются в процессе речи из долгих монофтонгов по правилам дифтонгизации и сдвига; они, естественно, монофонемны, потому что образованы из монофонемных  $\bar{i}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{x}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{a}$ . О дифтонгах на [-ə] (centering diphthongs) в книге ничего не говорится. Очевидно, они признаны бифонемными.

Обратимся к рассуждениям относительно дифтонга /ɔɪ/. Это — «истинный дифтонг», поскольку у него заднее ядро и передний глайд. Вся схема, по мнению Хомского и Халле, будет более стройной, если окажется, что и он, подобно другим дифтонгам, есть результат порождения из какого-то монофтонга (SPE, стр. 191—192). Этот монофтонг должен быть, естественно, долгим и передним (иначе не было бы переднего глайда). Поскольку ядро дифтонга  $\bar{a}y$  — долгий, задний, открытый звук, а мы ищем долгий и передний, то желательно, чтобы искомым гласным тоже был открытым. Сочетание долготы, переднеязычности и открытости дает  $\bar{e}$ ; оно и признается исходной «системной фонемой» для  $\bar{a}y$ :  $\bar{e} \rightarrow \bar{e}y$  (дифтонгизация),  $\bar{e} \rightarrow y$  (диссимилиация, как в  $\bar{a}y$  и  $\bar{x}w$ , но перескакивая стадию сдвига).

Очевидно, что фактически Хомский и Халле занимаются внутренней реконструкцией: сведение  $\bar{a}y$ ,  $\bar{e}y$ ,  $\bar{u}y$  к  $\bar{i}$ ,  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  — это не более, чем попытка восстановить историю дифтонгов, но представить ее как происходящий в речевой деятельности синхронический процесс; в отдельных случаях внутренняя реконструкция невозможна, и все сказанное о «системном /o/», например, не внушает доверия. Разумеется, у нас нет никаких оснований верить Хомскому и Халле, будто *divine* или *pool* зафиксированы в современном сознании как *divin* или *pōl*: эти формы так же маловероятны, как /giraffe/ и /eklipse/. Для дифтонга  $\bar{a}y$  внутренняя реконструкция вообще работает вхолостую, так как он не восходит ни к какому долгому гласному, и в этом случае фантастичность модели Хомского и Халле особенно наглядна: как можно поверить, что *boy*, *toy* и т. п. где-то зашифрованы в виде  $b\bar{e}$ ,  $t\bar{e}$ , если ничего похожего на само-

стоятельную фонему /ce/ в английском языке нет уже много веков? Столь же фантастично порождение *jū* (в *ambiguity* «двусмысленность»). В угоду найденным ранее правилам предлагается пятиступенчатая схема, где на втором шаге образуется гласный [y] (SPE, стр. 195). В словах типа *menu* «меню» (где тоже есть *jū*, как и в *ambiguity*) в исходную форму вписывается /e/ и засчитывается за слог, потом /ue/ стягивается в легкую группу и переделывается в глайд /v/, о котором известно лишь, что он закрытый (SPE, стр. 195—200) и присутствует еще на конце слов типа *tolerance* «терпимость» (SPE, стр. 161). По мере описания правила сдвига, когда приходится разбирать «исключения», исходные формы делаются все более и более невероятными и все яснее становится, что перед нами сложная перекодировка одной транскрипции в другую, а не порождение речевого потока.

Цель Хомского и Халле — записать все слова английского языка в их исходных формах. Как мы видели, уже начав свой анализ, они располагали разнообразнейшими фонологическими сведениями: умели отличать долгие гласные от кратких, могли составить систему фонем своего диалекта, знали набор различительных признаков, легко транскрибировали слова (т. е. членили речевой поток, опознавали фонемы в разных контекстах) и т. д. Все эти задачи решает, по их мнению, универсальная фонетика (SPE, стр. 293—329), которая еще до начала их работы сделала все то, ради чего, в сущности, была изобретена фонология. Однако именно фонология показала, что звуковая система — это фильтр, преобразующий звуки речи, что нет и не может быть фонетики, отдельной и независимой от фонологии. Хомский утверждает, что фонология не пужна и что понятие фонемы — глубокое заблуждение. Он считает, что есть уровень словарной записи, уровень исходных форм и узкая транскрипция. Между исходными формами и узкой транскрипцией существует неопределенное количество безымянных уровней, из которых ни один не является фонологическим (отсюда порочность традиционной, «автономной», или «таксономической» фонологии). Но исходные формы (по какому-то недоразумению часто именуемые фонеморфологическими) можно придумывать лишь потому, что всю черную работу успела сделать универсальная фонетика<sup>16</sup>. Да и узкая транскрипция — самообман. В ней не могут быть зафиксированы бесконечные свойства физического звука, поэтому Хомский и Халле настаивают, что в ней отражен не речевой сигнал как таковой, а лишь то, что говорящий знает о своем языке (SPE, стр. 293). Но у нас нет способов зафиксировать это знание, и каждый волен толковать его по-своему.

В последнее время Хомский часто повторяет, что трансформационная грамматика знаменует возврат к традиционным методам исследования. Действительно, в описании звукового строя языка он отказался от фонологии — самого блестящего завоевания новейшей лингвистики — и вернулся к фонетике эпохи Брюкке и раннего Зиверса. Правда, в теории Хомского, Халле, Постала есть обширные разделы, посвященные различительным признакам, дополнительной дистрибуции, внутреннему содержанию фонем (маркировке), архифонемам и т. д. В этой теории, непременно выдаваемой за последнее слово науки, угадано многое из того, что давно вывели Бодуэн, москвичи и пражцы, а кое-что написано только для ниспровержения противников. В книге Хомского и Халле есть и богатый материал, и понимание ценности просодики и морфофонологии, и ряд других вещей, которые сами по себе могли бы быть интересны и полезны. Но главное для

<sup>16</sup> Ср.: J. V a c h e k, On some basic principles of «classical» phonology, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 17, 5, 1964, стр. 410.

них — идея порождения акцентного контура и самих звуков по правилам, и именно это главное представляет собой Вавилонскую башню, рассыпающуюся на наших глазах.

Думается, что сама идея порождения речевого потока (и просодики, и фонематики) плодотворна. Но порождающая фонология — это не перекодировка транскрипций, а теория, объясняющая, как недискретный ряд звуков превращается в ряд дискретных фонем. В рамках такой теории найдется место и главе о порядке действий, и главам о различительных признаках и маркировке. Лишь одного там не будет: универсальной фонетики, существующей до и отдельно от фонологии. Что же касается правил Хомского и Халле, некоторые из них, возможно, сохранятся, но займут в фонологии то скромное место, которое занимают прикладные устройства в любой науке.

---

И. П. РАСПОПОВ

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ  
ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Понятие так называемых детерминирующих членов предложения, введенное в научный обиход Н. Ю. Шведовой, несомненно, имеет под собой реальную почву, отражая, в частности, тот факт, что в составе конструктивной базы предложения нередко выступают словоформы, «присутствие» которых не является обусловленным ни лексической, ни грамматической семантикой других входящих в этот состав словесных форм: ср.: *В Сибири потепление принесло с собой снегопады; За версту от города видны развалины старой мельницы; На таком грунте трудно показать высокие результаты; Сегодня идет дождь; Первого мая будет парад; Много веков человек был привязан к земле. После техникума она поехала работать на ферму; До войны он был плотником; Спустя год мы встретились вновь; Ввиду износа агрегаты следует заменить; Во имя справедливости мы требуем сурового приговора преступникам; В порядке опыта магазина работает без продавцов; При всех его достоинствах он мне не нравится; Для мастера здесь работы на полчаса; С погодой не везет; Между друзьями начался крупный разговор* и т. д. и т. п.

Во всех этих примерах<sup>1</sup> выделенные словоформы с различными обстоятельственными и «объектно-субъектными» значениями в качестве членов предложения характеризуются, конечно, иными свойствами, нежели, например, словоформы *к берегу* в конструкции *Мальчик подошел к берегу, морем* в конструкции *Он любовался морем, ему* в конструкции *Ему не спится* и т. п., и по указанной причине они вполне заслуживают особой синтаксической квалификации и особого наименования. Однако путь, который к решению этой задачи пытается подойти Н. Ю. Шведова, представляется неоправданно сложным и не свободным от логических противоречий.

Как известно, в концепции Н. Ю. Шведовой, признающей раздельное и не зависимое друг от друга существование предложений и словосочетаний, конструктивный состав предложения определяется скорее в негативном, нежели в позитивном плане: членами этого состава считаются лишь те словесные формы, которые не являются компонентами словосочетаний, т. е. не распространяют других слов на основе их так называемых категориальных свойств. Таковы, по ее мнению, во-первых, словесные формы, образующие «минимальную структурную схему предложения» (в простейшем случае это подлежащее и сказуемое), и, во-вторых, словесные формы, которые «входят в предложение в качестве его распространителей», «относящихся ко всему предложению в целом». Последние называются детерминирующими членами, или детерминантами. Наряду с подлежащим и сказуемым, только за ними признается статус полноправных членов

<sup>1</sup> Они заимствованы преимущественно из «Грамматики современного русского литературного языка», М., 1970.

предложения, тогда как все другие словесные формы, относящиеся не к «предложению в целом», а хотя бы, например, к глагольному сказуемому, если они распространяют репрезентирующий сказуемое глагол на основе его «категориальных свойств», членами состава предложения не считаются.

Но что значит относиться к предложению в целом? Какие общие свойства предложения обеспечивают вхождение в его состав словесных форм, распространяющих «предложение в целом»?

Если рассматривать предложение как «самостоятельную синтаксическую единицу сообщения, грамматическим значением которой является предикативность, а формой минимальная структурная схема с принадлежащей ей системой собственно грамматических средств для выражения синтаксических времен и наклонений»<sup>2</sup>, то в состав такого предложения, очевидно, не должны включаться никакие члены, кроме главных. Во всяком случае в нем не может быть места не только для традиционно выделяемых второстепенных членов (которые в рамках данной концепции отвергаются с полным основанием), но и для детерминантов, поскольку они выступают за пределами «минимальной структурной схемы», представляющей предложение, и, следовательно, за пределами самого предложения. Иначе говоря, исходя из приведенного определения предложения, по внутренней сущности этого определения мы лишаем себя права квалифицировать детерминанты как члены предложения, а если все-таки признаем их таковыми, то допускаем непоследовательность по крайней мере в терминологии. Но дело даже не только и не столько в этом, а главным образом и прежде всего в том, что при таком подходе, когда детерминирующие члены ставятся в соотношение не с другими (недетерминирующими) членами предложения, а с компонентами словосочетаний (т. е. соотносятся друг с другом несоотносительные в рамках данной теории величины), характеристика их оказывается либо неадекватной, либо избыточной, неоптимальной.

1. Одним из существенных и первостепенных грамматических признаков детерминантов Н. Ю. Шведова считает их определенное местоположение в составе предложения. По ее мнению, «нормальной позицией» (под позицией здесь понимается именно местоположение) «является позиция: а) в абсолютном начале предложения или б) непосредственно при его главном члене»<sup>3</sup>.

Но что такое «нормальная позиция» и почему «нормально» лишь указанное местоположение детерминантов (они выделены разрядкой; ср.: *На таком грунте трудно показать высокие результаты и Высокие результаты на таком грунте показать трудно; У комсомольцев есть интересная идея и Есть у комсомольцев интересная идея; В порядке опыта магазин работает без продавцов и Магазин в порядке опыта работает без продавцов*) и «ненормально» их местоположение, например, в конце предложения (ср.: *Трудно показать высокие результаты на таком грунте; Интересная идея есть у комсомольцев; Магазин работает без продавцов в порядке опыта и т. п.*).

По словам Н. Ю. Шведовой, позиция детерминантов в конце предложения обычно связана с их актуализацией<sup>4</sup> или «с особыми задачами актуализации»<sup>5</sup>. Однако, как это показано в многочисленных исследованиях, вне задач актуализации (если под этим понимать сообщение высказы-

<sup>2</sup> Там же, стр. 544.

<sup>3</sup> Там же, стр. 629.

<sup>4</sup> Там же, стр. 630.

<sup>5</sup> Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6, стр. 84.

ваемому в предложении содержанию определенной коммуникативной перспективы) установление норм словоупотребления вообще невозможно. Именно задачи актуализации обуславливают и предопределяют местоположение тех или иных словесных форм в составе предложения (за исключением словесных форм с атрибутивной функцией), и в этом отношении детерминирующие члены ничем не отличаются от остальных словесных форм, включаемых в состав предложения как непосредственно, так и через посредство словосочетаний. Во всяком случае как те, так и другие в одинаковой мере и «вполне закономерно» могут занимать и первое, и последнее место в предложении в зависимости от того, какому коммуникативному заданию это предложение отвечает и каково в нем соотношение темы и ремы.

Вот, например, ряд извлеченных из соответствующих контекстов предложений, в составе которых первое место принадлежит явно не детерминирующим членам: *Большого обступили доктора, княжны и слуги* (Л. Толстой); *Барышню била лихорадка* (Бунин); *Павку душили слезы* (Н. Островский); *Хутор потрясали события* (Шолохов); *Мужа она нашла в кабинете* (Чехов); *Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука* (Чехов). Вот ряд других примеров на случай, когда последнее место в предложении занимают детерминирующие члены: *Князь Андрей уезжал на другой день вечером* (Л. Толстой); *Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад* (Паустовский); *Парфенов был в армии политработником с начала войны* (К. Симонов); *Голова и руки у меня трясутся от слабости* (Чехов); *Пастухов вздрогнул от негромкого стука в дверь* (Федин); *Цветухин придумал поход в ночлежный дом для изучения типов* (Федин); *Санитарный поезд отправляется в Омск на годовую ремонт* (В. Панова); *Стараться надо из любви к делу* (А. Коптяева).

С точки зрения задач актуализации, финальное местоположение в составе этих предложений детерминирующих членов в такой же мере вполне нормально, в какой оно было бы нормально для любого члена предложения или какого бы то ни было компонента включенного в него словосочетания, имеющего коммуникативную функцию ремы.

С другой стороны, положение в абсолютном начале предложения — при том же условии — может быть для детерминирующих членов необычным, не соответствующим норме, как в примерах: *Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целье сутки не выходил он оттуда* (Тургенев); *Два года провертелся Павка на этой работе* (Н. Островский); *Поздно вечером расстался Севастьянов с Кушлей* (В. Панова).

Н. Ю. Шведова считает, что в такого рода случаях определяющими для словорасположения являются не задачи актуализации, а «собственно грамматические нормы словорасположения». Но это основание ненадежно хотя бы потому, что «собственно грамматические нормы словорасположения», по признанию Н. Ю. Шведовой, «слабо изучены»<sup>6</sup>, не говоря уже о том, что применительно к русскому языку они, по-видимому, и не могут быть изучены, так как порядок слов здесь лишь частично связан с грамматическим членением предложения, а основные его функции лежат в иной области.

2. В качестве косвенного аргумента в пользу тезиса о своеобразии детерминирующих членов, обусловленном их местоположением (или проявляющемся в нем), Н. Ю. Шведова ссылается на построения, в составе которых перестановка соответствующих словоформ по тем или иным причинам невозможна или ограничена. Но причины таких ограничений не

<sup>6</sup> Там же, стр. 84.

имеют отношения к функционированию данных словоформ как самостоятельных распространителей предложения.

Так, если в конструкции *Между друзьями начался крупный разговор* предложно-падежную форму *между друзьями* поставить в непосредственный контакт с существительным *разговор* (ср.: *Начался крупный разговор между друзьями*), то это может привести (хотя и не обязательно: тут дело еще в интонации) к изменению конструктивных связей и к утрате данной формой детерминирующей функции (она становится компонентом именного словосочетания *разговор между друзьями*), что как будто бы свидетельствует о прямой зависимости функционирования детерминантов от их местоположения в предложении. Однако то же самое можно наблюдать и в таких построениях, где аналогичным образом ведут себя явно недетерминирующие члены, переходящие при изменении их местоположения в предложении, например, из состава глагольных в состав именных словосочетаний. Ср.: *Свое обещание он передал Петру через знакомых* — *Свое обещание Петру он передал через знакомых*; *Аксаков написал об охоте интересные записки* — *Аксаков написал интересные записки об охоте* и т. п.

В случаях типа *Однажды к нам за кулисы пришли иностранные журналисты*; *Здесь требуется исключительно высокая точность*<sup>7</sup> перестановка детерминирующих членов, например, в конец предложения не допускается из-за лексической «неполноценности» соответствующих словоформ (*однажды* и *здесь*, собственно, не имеют в этих случаях определенного временного или пространственного значения, а выполняют только своеобразную вводящую роль в высказывании). Ср., однако: *После спектакля к нам за кулисы пришли иностранные журналисты. Иностранные журналисты пришли к нам за кулисы после спектакля*. Ср. также: *Исключительно высокая точность требуется именно здесь*. Следовательно, и такие случаи в указанном отношении недоказательны.

3. Общим грамматическим признаком всех детерминантов Н. Ю. Шведова считает также «регулярную сохраняемость их во всех формах одного и того же предложения»<sup>8</sup>. При этом «под всеми формами одного и того же предложения» понимаются его видоизменения «для выражения разных объективно-модальных и временных значений», составляющие парадигму данного предложения такого, например, типа, как *В городе была тишина* — *В городе была бы тишина* — *Пусть в городе будет тишина* — *Если бы в городе была тишина* и т. д.

Однако так называемые объективно-модальные и временные значения вообще никак не влияют на состав и строение синтаксической конструкции (категории времени и наклонения, с которыми связано их выражение, являются для конструктивного синтаксиса нерелевантными). Поэтому указанное свойство регулярности сохраняемости детерминантов во всех соответствующих формах предложения не может быть специфическим для них: оно в одинаковой мере характерно для любого члена конструктивного состава предложения независимо от того, входит ли он в этот состав непосредственно или через посредство какого-то (например, глагольного) словосочетания. Ср.: *Он читает эту книгу* — *Он читал эту книгу* — *Он читал бы эту книгу* — *Пусть он читает эту книгу* — *Если бы он читал эту книгу* и т. п.

Итак, ни определенное местоположение в составе предложения, ни регулярная сохраняемость во всех формах одного и того же предложения

<sup>7</sup> Там же, стр. 85.

<sup>8</sup> «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 630.

не являются особыми и исключительными признаками детерминантов и не выделяют их среди других словесных форм, включаемых в состав предложения посредством явной словосочетательной связи.

Единственное, в чем реально обнаруживается своеобразие детерминантов, это, по формулировке Н. Ю. Шведовой, их «способность сочетаться более чем с одной структурной схемой предложения»<sup>9</sup>.

В самом деле, например, словоформа *сегодня*, выполняя роль детерминирующего члена в двусоставном предложении глагольного строя *Сегодня идет дождь*, ту же роль может выполнять в односоставном предложении глагольного строя *Сегодня моросит*, в односоставном предложении инфинитивного строя *Сегодня мне дежурить вечером*, в односоставном предложении наречного строя *Сегодня холодно* и т. д. Ср. также: *В городе ожидается приезд гостей* — *В городе масса народу* — *В городе есть чему поучиться* — *В городе никого не найти* — *В городе шумно* и т. п.

Однако это своеобразие детерминантов проще и реалистичнее интерпретировать не как проявление их синтаксической несвязанности, а как их свойство находиться в подчинительной связи со сказуемым независимо от его лексической и формальной репрезентации.

Детерминирующие члены предложения действительно не зависят от того, какой именно словесной формой выражается сказуемое, в позиции которого может быть и финитный глагол, и имя, и наречие (последние, конечно, в сочетании с наличной или нулевой связкой). Но это вовсе не означает, что они никак не связаны со сказуемым (и, следовательно, с той словесной формой, которая в данном случае репрезентирует сказуемое): иначе они не могли бы входить в состав предложения и выполнять в нем ту или иную (обстоятельную или субъектно-объектную) функцию. Другое дело, что, будучи в подчинительной связи со сказуемым независимо от его лексической и формальной репрезентации, такие члены в иерархии выражаемых в предложении отношений оказываются по сравнению с другими словесными формами, подчиненными сказуемому (и в силу этого также являющимися полноправными членами предложения) на более далеком семантико-синтаксическом «расстоянии» от сказуемого.

Указанное обстоятельство — семантико-синтаксическая отдаленность от сказуемого — и дает нам право квалифицировать детерминирующие члены как распространители конструктивного ядра предложения в целом, но именно конструктивные ядра предложения, представляющего собой минимально достаточный для выражения определенного содержания и потенциально заверченный набор словесных форм, связанных со сказуемым, а не предложения как такового, поскольку предложение включает в свой состав также и детерминирующие члены.

Предлагаемая интерпретация детерминантов не требует разграничения словосочетательных и несловосочетательных связей. Такое разграничение вряд ли вообще корректно и вряд ли может быть последовательно проведено — по крайней мере за рамками тех отношений, которые устанавливаются между главными членами двусоставного предложения — подлежащим и сказуемым<sup>10</sup>.

Еще в первой своей статье о детерминантах (ВЯ, 1964, 6) Н. Ю. Шведова пыталась доказать, что связи детерминирующих членов с так называемой предикативной основой предложения (или, что одно и то же, с его «структурной схемой») несловосочетательного характера и что они принципиально отличаются, например, от связей компонентов глагольных сло-

<sup>9</sup> Там же, стр. 625, 629, 639.

<sup>10</sup> Ср.: Н. З. Котелова, О логико-грамматическом уровне в языке, сб. «Язык и мышление», М., 1967, стр. 130.

восочетаний. Однако ни один из приведенных в этой статье аргументов нельзя признать вполне убедительным.

1. По утверждению Н. Ю. Шведовой, словосочетательная связь падежных или предложно-падежных форм с глаголом является системной (как в примерах: *играть в первом действии, выступить в третьем действии* и т. п.), тогда как внешне устанавливаемая («мнимая») несловосочетательная связь с глаголом падежных и предложно-падежных форм, выступающих в роли детерминантов, несистемна (ср.: *В первом действии плательщица бледнеет и краснеет. Во втором — закрыв лицо руками, бежит по этажам в поисках недостающей трешницы. А в третьем платит*). Но сами понятия системности — несистемности остаются нераскрытыми, а решения вопроса «о соотношении словосочетаний, системно существующих в языке, и соединений, которые могут быть построены по их образцу в определенных речевых условиях», не предлагается<sup>11</sup>; тем самым оказывается, что выдвинутый критерий разграничения словосочетательных и несловосочетательных связей по признаку системности первых и несистемности вторых не имеет (или пока еще не имеет) надежных оснований.

2. «Дополнительным показателем несвязанности падежной или предложно-падежной формы с глаголом может служить соединение этой формы, начинающей собою предложение, с частицей, например: *Еще в райцентре ему рассказали о делах в колхозе*»<sup>12</sup>. Но вполне аналогичные случаи соединения с частицей в одинаковой мере характерны и для словесных форм, явно входящих в состав глагольных словосочетаний. Ср.: *Еще его предшественнику обещали выдать для колхоза новый инвентарь; Еще его предшественники заверяли в том, что это будет сделано* и т. п.

3. «Особенно показательные случаи» типа: *Много веков человек был привязан к земле*, где, по комментариям Н. Ю. Шведовой, между глаголом и детерминирующим членом «не могут быть установлены даже внешние связи»<sup>13</sup>, как будто бы действительно показательны в том отношении, что словосочетания «привязать (кого к чему) много веков» в реальной речи невозможны. Но, во-первых, это еще не доказывает отсутствия словосочетательной связи между детерминантным в данном случае (если его признавать таковым) комплексом «много веков» и страдательным причастием «привязан». Во-вторых, подобный комплекс может относиться вовсе не к предикативной основе предложения, а входить, например, в состав атрибутивной синтаксической группы. Ср.: *Человек, много веков привязанный к земле, наконец поднялся в космос*.

4. В качестве одного из основополагающих приемов установления синтаксической несвязанности детерминирующего члена с наличным в предложении глаголом Н. Ю. Шведова использует проверку на трансформируемость конструкции. По ее мнению, «мнимое соединение» соответствующих падежных и предложно-падежных форм с глаголом характеризуется нетрансформируемостью в именное словосочетание и этим отличается от подлинно глагольных словосочетаний, допускающих подобную трансформацию. Но указанное свойство никак не раскрывает ни своеобразия несловосочетательных связей по сравнению со словосочетательными вообще (ср. возможность преобразования предложений: *Иван любит Петра, Мастер хорошо работает* в именные словосочетания: *любовь Ивана к Петру, хорошая работа мастера*), ни своеобразия детерминантов по срав-

<sup>11</sup> См.: Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, стр. 86.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же, стр. 87.

нению с любыми другими членами предложения или словосочетания (ср. возможность преобразования конструкций с детерминантами: *В п о - р я д к е о п ы т а м а г а з и н р а б о т а е т б е з п р о д а в ц о в* — *Работа м а г а з и н а в п о р я д к е о п ы т а б е з п р о д а в ц о в п о л у ч и л а о д о б р е н и е*; *Д о в о й н ы о н у ч и л с я н е д о л г о* — *Е г о у ч е б а д о в о й н ы б ы л а н е д о л г о й*; *Н а о т ч е т н о й к о н ф е р е н ц и и п о д ч е р к и в а л и н е д о ч е т ы в н а ш е й р а б о т е* — *П о д ч е р к и в а н и е н а о т ч е т н о й к о н ф е р е н ц и и р я д а с у щ е с т в е н н ы х н е д о ч е т о в в н а ш е й р а б о т е и м е л о п о л о ж и т е л ь н ы е р e з y л ь т а т ы* — и, с другой стороны, невозможность преобразования в именные словосочетания явно глагольных словосочетаний типа: *п о л о ж и л к н и ж у н а с т о л*; *к р е п к о с т и с н у л м о ю р у к у*; *с н о в а п р и н и м а е т с я з а д е л о* и т. д).

Приведенных демонстраций достаточно, чтобы показать, что для выявления специфики детерминантов разграничение словосочетательных и несловосочетательных связей несущественно и поэтому избыточно, оно ведет лишь к нарушению принципа оптимальности описания, который состоит в том, чтобы построить такую теорию, которая позволила бы интерпретировать соответствующие факты наиболее простым и естественным способом.

В действительности детерминанты выделяются в составе предложения не «несвязанностью» с другими его компонентами, а тем, что, подчиняясь непосредственно сказуемому, они вступают в связь с ним, так сказать, в последнюю очередь, после того, как в эту связь уже вступили другие подчиненные сказуемому члены предложения; именно поэтому они относятся к конструктивному ядру предложения в целом.

---

И. ВЛАШКОВИЧ

## ТОПОНИМЫ СТАРОТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ

1. Современные топонимы на территории Словакии имеют по большей части славянское происхождение, а в южных и юго-восточных областях с венгерским населением — преимущественно венгерское. Исторически Словакия входила в состав различных государств, и, помимо словаков и венгров, ее населяли другие этнографические группы, оставившие значительное количество топонимов, исходная языковая принадлежность которых до сих пор не установлена. Среди последних можно выделить около сотни названий, своим происхождением обязанных древним тюркским племенам и мелким этнографическим группам<sup>1</sup>, в почти непрекращавшемся соприкосновении с которыми жили славяне начиная со времени заселения ими территорий современной Словакии (V—VI вв.) вплоть до XVIII в.<sup>2</sup>

Первым тюркоязычным народом, который появился в отрогах Карпат одновременно со славянскими племенами, были авары; они основали сильное государство, охватывавшее области Богемии, Моравии и частично Австрии. На смену мирному сосуществованию славян и аваров, получившему в исторической литературе название «аварско-славянского симбиоза»<sup>3</sup> и длившемуся вплоть до падения Аварского государства в 799 г., пришло владычество булгар, которые в 803 г. расширили свое царство за счет Трансильвании и Восточной Словакии, а позднее (824 г.) — за счет территории между Дунаем и Тиссой и частично — областей в нижнем течении Дуная. Все эти области оставались под владычеством булгар вплоть до завоевания венгров в 892—896 гг. Венгры застали здесь, помимо славянского населения, многочисленные остаточные группировки аваров, а также болгарских тюрков и других, более мелких этнических единиц. В племенной состав венгров, помимо финно-угорского большинства, входили также несколько тюркских групп, три хазарско-тюркских племена и некоторые другие этнические компоненты. Три хазарских племена (их общим самоназванием было кабар-казар<sup>4</sup>) влились в венгерское племен-

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: J. V l a š k o v i č, *Čekoslovakya'da eski türklerin izleri*, в сб.: «Reşid Rahmeti Arat için», Ankara, 1966 (далее — RRA).

<sup>2</sup> Контакты с тюркоязычными народами оставили следы в чешской и словацкой лексике. См. об этом: J. V l a š k o v i č, *Çek dilinde türkçe kelimeler*, «Bilimsel bildiriler», Ankara, 1960; V. B l a n á r, *Otázka lexikálnych turcizmov v slovenčine*, «Jazykovedný časopis», XIII, 1, 1962. Помимо лексических заимствований и топонимов, в Словакии употребляется несколько сот фамилий и прозвищ тюркского происхождения. В RRA приведено 14 топонимов и 105 фамилий тюркского происхождения.

<sup>3</sup> Об «аварско-славянском симбиозе», исторические черты и реалии которого восстановлены достижениями отечественной археологии, существует обширная специальная литература.

<sup>4</sup> Константин Порфирогенетос в своем «De administrando Imperio» (Kap. 39) писал о кабарах, что первоначально они были хазарами [см.: «A magyar honfoglalás kút-fői», szerk. Pauler Gy. és Szilágyi S., Budapest, 1900 (далее — МНК), стр. 124]. Однако, восстав против хазарского кагана, они были разбиты и впоследствии ушли к «тюркам»

ное объединение на Украине. Кабары являлись первым племем в венгерском племенном союзе, состоявшем из восьми племен. Кабары имели в своем составе семь родов с семью родоначальниками. В X в. большая часть их осела в южной Словакии, особенно на Житном острове, в долинах рек Нитра, Житава и Грон, причем очень скоро кабары ассимилировались с местным населением.

Тюркские имена в большом числе использовались для наименования венгерских племен (*Kabar, Kürt-Gyarmat, Tarján, Kér, Keszi*), родов и родоначальников (*Álmos, Árpád, Taksony, Tas, Zoltán, Termacsu, Géza, Vajk* и др. — см.: NGy, 221—298); тюркского же происхождения была и высшая титулатура (*Tarján, Tolmács, Beeg, Baj* — см.: NGy, 44)<sup>5</sup>. На основе племенных и родовых названий, а также из титулов тюркского происхождения нередко возникали личные имена (см. NGy, 82), а из личных имен — топонимы (см. об этом ниже).

В первой половине X—XI в. на территорию Венгрии мигрировали из Украины в большом количестве печенеги, которые осели как в самой Венгрии, так и в Словакии — особенно на Житном острове и в долинах рек Морава, Ваг, Нитра, Житава и Грон<sup>6</sup>. Целый ряд топонимов в южной Словакии сохраняет в себе напоминание о печенегах, например: *Veša* (округ Левице), *Bešeňov* (округ Нове-Замки), *Besenyőd*, ныне: *Pečenice* (округ Левице), *Veča n/Váhom* (близ Sala), *Bős* (Gabčíkovo на Житном острове), *Padán* (там же); об этимологии этих топонимов см.: RRA, 347—348.

В период с 1077 по 1095 г. с последними группами печенегов-мигрантов в Карпатах появились первые пришельцы-куманы (русск. половцы; в Словакии также распространено обозначение *Polovci*), которые расселились как в Венгрии, так и в южной Словакии — преимущественно в долинах рек Ваг, Нитра и Житава. Многочисленные куманские поселения возникали в период после татарского нашествия (1242), в связи с чем в исторической литературе куманов часто называли татарами. Вновь поселившиеся тюркоязычные этнографические группы и их осколки быстро приспосабливались к новой среде и с течением времени были ассимилированы местным славянским (или венгерским) населением.

Совершенно иная ситуация сложилась в период османско-турецкого владычества (1543—1686): оно хотя и длилось почти полтора столетия, однако, вследствие религиозных различий, не могло быть и речи о сколько-нибудь постоянных поселениях и ассимиляции, кроме исключительных случаев (например, османско-турецкая колония в *Fiľakovo* [*Füleek, Filek*], основанная в 1593 г. и просуществовавшая 50 лет).

Основываясь на анализе словацкой овцеводческой терминологии, можно предположить наличие тюркоязычного этнического элемента среди многочисленных пастухов, приходивших в горные районы Словакии из Валахии и Трансильвании начиная с XVI в. (возможно, и несколько раньше), хотя традиционно валахов принято считать румынами. Отметим, например, следующие словацкие термины, связанные с пастушеством и овцеводством: *bača* «старшина, главный пастух (обычно — старейший пастух на альпийском пастбище)» соответствует тюрк. *bāšā* «дядя, наставник, руко-

(т. е. к венграм), которые обитали в стране печенегов. Там они были переименованы в кабаров, что означает «воставший» [об этимологии *Kabar* см.: *Németh Gy., A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930* (далее — NGy), стр. 237].

<sup>5</sup> Об изучении венгерских имен древнетюркского происхождения см.: Ю. Н е м е т, Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии, ВЯ, 1963, 6, стр. 132 и сл.

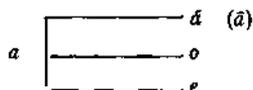
<sup>6</sup> О топонимах печенежского происхождения см.: *Rásonyi L., Turk non islamisé en Occident, в кн.: «Linguae Turcicae Fundamenta», III, Wiesbaden* (в печати).

водитель»; *košiar* «кошара, загон для скота» («огороженное ветками вербы место, куда овцы загоняются перед дойкой и на ночь») соответствует турецкому причастию *koşar* «привязывающий; [место, где] привязывают» от глагола *koşmak* «привязывать; спутывать (животных); запрягать»; *balta* «топор с длинным топорischem» — тюрк. *balta* «топор»; *osoň* «польза, выгода» — тюрк. *asyu*, уйг. *asyğ* «польза, выгода»<sup>7</sup>; *járok* «ров, канава, водосточная канава» — тюрк. *aryk* «ручей, арык»; *váluv* «корыто для кормления скота, кормушка, поилка» — тюрк. *oýluq* «корыто»<sup>8</sup>.

II. Само собой разумеется, что подобные заимствования, равным образом и топонимы тюркского происхождения с течением времени в значительной своей части претерпевали различные фонетические изменения, которые характерны для определенного языка (диалекта) в определенный исторический период. Эти фонетические изменения помогают нам при установлении происхождения топонима или слова — наряду с историческими источниками и достижениями археологических исследований, позволяющими реконструировать обозначаемые словами реалии.

В связи с тем, что поток тюркизмов был особенно интенсивным в южных и юго-восточных областях Словакии со смешанным словацко-венгерским населением и многие тюркизмы проникли в словацкий язык через посредство венгерского, остановимся на важнейших звуковых изменениях, которые претерпевали топонимы тюркского происхождения как в венгерском, так и в словацком языках.

1) Тюрк. *a* исторически мог развиваться в словацком и в венгерском по трем направлениям: или превращался в долгий *á*, или изменялся в *o*, или же диссимилировался в *e*:



Количественное изменение  $a > \bar{a}$  ( $\bar{a}$ ) происходило примерно в V—X вв., как это показывает анализ заимствований из тюркского: булг.-тюрк. *\*sam* «число», *san* «сани», *šar* «нечистоты» → венг. *szám*, *szán*, *sár*; тюрк. *šadyr* → венг. *sátor* «палатка, шатер»; тюрк. *sakal* → венг. *szakál* «борода»; тюрк. *šarqan* → венг. *sárkány* «дракон»<sup>9</sup>; тюрк. *Tarqan* → венг. *Tárkán* > *Tárkány* > *Tárány*; тюрк. *Tarzan* → венг. *Tarján* и т. д.

Регулярное чередование  $a > o$  в венгерском происходило в XII—XIII вв.; в словацком оно точно так же является старым. Например: булг.-тюрк. *aryslan* → венг. *oroszlán* «лев»; тюрк. *anbar* → венг. *hombár* «зернохранилище», тюрк. *Kabar* → венг. *Kovárc* → слов. *Kovarce*; тюрк. *tavar*, *đavar* → слов. *tovar* «товар» (ср. чешск. *továrna*), тюрк. *jormaty* → венг. *Gormot* > *Gyarmat* → слов. *Ďarmoty* (NGy, 232; Gombocz, 81), венг. *Tarján* > *Torjan* (NGy, 255).

Диссимиляция  $a > e$  достаточно старая: тюрк. *\*jormaty* → венг. 1153 г. *Gormot*, Конст. Порфирос. Герма́тос, венг. 1367 г. *Germath*; тюрк. *jarta*, *žarta* → венг. 1236 г. *gyertyan*, венг. 1270 г. *Gyartan* «граб (дерево)»; тюрк. *baqa* → венг. *béka* «лягушка», тюрк. *Tarzan* → венг. *Terjan* > *Terjén* > *Terény* (NGy, 255); венг. *Terjan* → слов. *Terany* и др.

<sup>7</sup> См.: Melich J., «Kőrösi Csoma archívum» (далее KCsA), 11, Budapest, стр. 241—244.

<sup>8</sup> См.: Bárczi G., Magyar szőféjtő szótár, Budapest, 1941, стр. 331. Подобные слова рассматриваются в этимологическом словаре чешского языка (см.: V. Mašek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968) как слова румынского, венгерского или неизвестного происхождения.

<sup>9</sup> Gombocz Z., Magyar történeti nyelvtan. I — Hangtan, Budapest, 1940 (далее — Gombocz), стр. 81.

2)  $e (= \bar{a}) > a$ . Тюркский открытый  $\bar{a}$  в словацком звучит как  $a$ : тюрк. *bāšā* → *bača*; тюрк. *dāvā* → слов. *tava* «верблюд»; турецк. *jāničāri* → слов. *janičiar*. В конце слова  $-a < -\bar{a}$  аналогизируется с окончанием ед. числа женского рода: тюрк. *kāfā* → слов. *kefa* «щетка»; тюрк. *bāšā* → венг. *Váčā (Vecse)*, *Bese* → слов. *Veča*; тюрк. *Bāšā* (венг. *Bese*) → слов. *Beša*.

3)  $i > e$ . Это звуковое развитие происходило в венгерском в XI—XIII вв., а началось, как это показывает анализ тюркских заимствований, много раньше; постепенно затухает оно на протяжении XIV в. Примеры: тюрк. *kendir* → венг. *kender* «конопля, пенька», тюрк. *ikiz* → венг. *iker* «двойня», тюрк. *tengi* → венг. *tenger* «море»; ср. *Imō* > *Eme*.

4)  $u > o$ . Это чередование в венгерском восходит к XI в. и особенно распространяется в XII—XIII вв.<sup>10</sup>: булг.-тюрк. *gumaq* → венг. 1055 г. *humic*, 1239 г. *hotok* «песок»; булг.-тюрк. *qumlay* → венг. 1212 г. *sumlu*, 1270 г. *komlo* → *komló* «хмель (название вьющегося растения)»; тюрк. \**Turmuš* → венг. XIII в. *Tormoš* → *Tormos*.

5)

-ak → aγ → au → ou → o	
	→ a → a
-ek → eγ → eü → öü → ö	
	→ eı → e → e (ä)

Это звуковое развитие можно проследить в старейших тюркских заимствованиях в венгерском, которые проникли туда в V—X вв. Туркизмы, датируемые этим временем, изменили в венгерском конечный слог *-ak*, *-ek* на *-aγ*, *-eγ*; конечный согласный  $\gamma$  со временем превратился в полугласный  $-u$ ,  $-ü$ , который впоследствии слился с предыдущим гласным в дифтонг  $-au$ ,  $-eü$  (Bárczi, 70—73). Это чередование прогрессировало с X в., усилилось в XI—XII вв., а начиная с XIII в. постепенно сходило на нет, причем дифтонги превратились в  $-o$ ,  $-ö$  (Bárczi, 85—86). Таково первое направление развития, оно ясно видно на примере следующих тюркских заимствований: тюрк. *pāčānāk* (турецкая форма *pececek* сохранилась до настоящего времени) → венг. \**pāčānāy* или *bāčānāy* > XII—XIII вв. *Bāšānāy*, 1209 г. *Bāšānā* → *besenyő*<sup>11</sup>; тюрк. *ināk* → венг. \**ināy* → 1252 г. *ineü* → *ünö* «телка» (Gombocz, 94); тюрк. *big*, *bek*, *beg* «князь, правитель» → венг. \**beγ* → *beü*, *böü* → *bö* (MTEsz, 357); тюрк. *kāsāk*, *kesik* → венг. \**Kesiγ*, \**Kesüγ* → *Keszö*. Туркизмы претерпевали это фонетическое изменение по аналогии с исконно венгерскими словами.

Другое направление этого фонетического преобразования состояло в том, что конечный согласный  $\gamma$  полностью редуцировался, особенно когда он попадал в интервокальную позицию (при присоединении посессивного показателя 3-го лица или словообразующего суффикса  $-i$ ). Этот процесс происходил уже в X в., прогрессируя в XI в. и закончившись в XII в. (Bárczi, 85—86, 94); он охватывал как собственно венгерские слова, так и заимствования, в том числе туркизмы и топонимы тюркского происхождения. В результате слова, оканчивавшиеся некогда на  $-aγ$ ,  $-eγ$ , имеют в настоящее время две основных формы — номинативную на  $-o$  и форму на  $-e$ , выступающую исключительно при присоединении посессивного показателя 3-го лица и аффикса  $-i$  (ср. *Imō* ~ *Ime*).

6)  $\bar{i} (-/ -)$  препятствует зиянию в венгерском, выступая в полувокальной функции, если в полной мере сохраняются оба гласных, между кото-

<sup>10</sup> См.: Bárczi G., *Magyar hangtörténet*, Budapest, 1954 (далее — Bárczi), стр. 30—31.

<sup>11</sup> «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», I, Budapest, 1967 (далее — MTEsz), стр. 288.

рыми выпал находившийся там согласный. Например: \**ime* + *i* > *imeji* (орфогр. *ímelyi*).

7) *i* > *í* (-*i*). Возникновение долготы у *i* под влиянием ударения — явление старое: тюрк. *уҗау* → венг. *író* «пахта», тюрк. *čарау* → венг. *csípa* > *csípa* «гной на глазах».

8) *a* > венг. *á* (*ā*) > слов. *ia*. Это количественное изменение представлено в тюркизмах венгерского и словацкого языков: венг. *janicsár* → слов. *janičiar* «янычар»; тюрк. *čadyr* → венг. *šátor* → слов. *šiator* «шатер», тюрк. *aryq* → венг. *árok*, слов. *járok* «канавы»; тюрк. *oluq* → венг. *vályú*, слов. *vályuv* «корыто» и т. д.

9) *ě* > *š* представлено в тюркизмах как в венгерском, так и в словацком: тюрк. *čadyr* → венг. *šátor*, слов. *šiator*; уйг. *čärig* → венг. *sereg* «войско»; *päčänäk* → венг. *besenyő* и др.

10) *j* > *gy*: тюрк. *jormaty* → венг. *Gyarmat*, слов. *Ďarmoty*; тюрк. *yüzük* → венг. *gyűrű* «кольцо»; тюрк. *jemiš* → венг. *gyümölcs* «фрукты» и т. д.

11) *γ* > *g* > *h*. Как показывают фонетические изменения в топонимах тюркского происхождения<sup>12</sup>, моменты указанного звукового перехода отражены в словацком:

тюрк. <i>bäčänäk</i> → др.-венг. * <i>bäčänäγ</i>	{	→ венг. <i>bűšänű</i> > <i>besenyő</i> → др.-слов. <i>pečeneg</i> > <i>pečeneh</i> .
тюрк. <i>käsäk</i> → др.-венг. <i>käsäγ</i>	{	венг. <i>käsű</i> → <i>Kesző</i> → др.-слов. <i>Kostg(y)</i> → <i>Kosth(y)</i> .
тюрк. <i>inäk</i> → др.-венг. * <i>inäγ</i> → <i>Inö</i> → <i>Imö</i> , <i>Imb</i> .		
тюрк. * <i>šarlaq</i> → др.-венг. <i>šarlaγ</i>	{	венг. <i>Sarlay</i> → <i>Salló</i> , <i>Sarló</i> → слов. <i>Sarlug(y)</i> → <i>Sarluh(y)</i>

12) Выпадение *-l* перед согласным довольно часто происходит в венгерском обиходном языке, при этом предшествующий гласный удлиняется; в диалектах это фонетическое явление, которое, по-видимому, можно датировать уже IX—X веками, представлено и в конце слова. Параллельно с этим явлением происходила вставка неэтимологического *-l-* после долгого гласного, причем долгота этого последнего претерпевала изменения, например: тюрк. *араččy* → венг. 1233 г., 1289 г. *Alch* (читается *Alč* вместо *Áč*) > *Ács*; тюрк. \**büyüči* → венг. 1211 г. *Belch*, 1350 г. *bulch*, 1456 г. *beck*, *bučh* > *bölcs* (вместо *böcs*) «мудрый» (MTESz, 360).

13) Метатеза *-l-* — частое и регулярное звуковое чередование в славянских языках. Представляется, что метатеза *-l-* в русск. *колбаса* ~ чешск., слов. *klobása* может служить подтверждением этимологии этого слова из тюрк. \**külbasa*<sup>13</sup>.

14) *n* ~ *η* ~ *m*. Примеры этого чередования имеются как в венгерском, так и в самом турецком. См. турецк. (*η*) ~ *m*: *qoŋšu* > *komšu* «сосед», *gönlek* > *gömlek* «рубашка», *oŋurğa* > *omurga* «позвоночник», *qoŋural* > *kumral* «светло-каштановый цвет; шатен»<sup>14</sup>. Это же чередование представлено в других тюркских языках: турецк. *yün* «шерсть», казах. *jön* ~ алтайск. *jüt* ~ чувашск. *šam*; кирг. *ölöŋ* «трава» ~ казах. *ülen*, *ülem* (NGy, 146). Ср. тюрк. *kökēt* «колючка» → венг. *kökény*, венгерские топонимы 1193

<sup>12</sup> См.: Melich J., Az ó-magyar szövégi-γ a tót helynevekben, MNy, XXIV, 1929.

<sup>13</sup> См.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 286.

<sup>14</sup> См.: S a m i B e y, Qamus-i türki, Istanbul, 1317 h., стр. 1117, 1215, 224, 1114.

*Concol*, 1664 *Komkol*<sup>15</sup> > *Konkol*, *Konkoly*; *Inō* > *Imō*, *Turmus* > *Tornōc* и др.

15) Переход *n* > *ny* был распространен в венгерском в XIV—XVI вв.: тюрк. *čaqaŋ* → венг. *csákány* «кирка»; тюрк. *bastyrqaŋ* → венг. *boszorkány* «чародей(ка)» (Bárczi, 102).

16) *sz* > *s*. Древневенгерский *-sz-*, особенно в позиции перед *-r-*, но также и в других позициях, изменялся в *-s-*. Звук *-s-* представлен в венгерском в XI в., спорадически распространялся в XII—XIII вв. Примеры: турецк. *Bursa* → венг. *Barca*, ср. тюрк. *karpuz* «арбуз; шар» → венг. *Árboc*; топонимы *Törpösün* → *Debrecen*, *Turmus* → *Tornóc*.

17) *s* > *š*: тюрк. *saŋu* → венг. *sárga* «желтый»; тюрк. *säpür-* → венг. *sörör* «подметать», тюрк. *Toqsun* → венг. *Taksony* и др.

18) *z(s)* > *r*. Ротацизм представлен в древнейших тюркизмах в венгерском (V—X вв.): тюрк. *öküz* «бык» → венг. *ökör* «вол»; тюрк. *tengiz* «море» → венг. *tenger*; тюрк. *ikiz* «двойня» → венг. *iker*; тюрк. *semiz* «жирный» → венг. *Semer(e)*, *Szemeréd* и т. д. Эти и подобные слова проникли в венгерский через чувашский.

19) *ǰ* > *j*. Палатальный согласный *ǰ* перед или после согласного переходит в *-j-*. В позиции после согласного этот процесс происходил еще в древневенгерском (Bárczi, 86), вместе с тем он продолжался в X в.: тюрк. *tarqaŋ* → др.-венг. *taržan* > X в. *Tarian* > *Tarján*. В позиции перед согласным этот звук в XIV—XV вв. представлен уже изменившимся в *-j-*, например: 1240 г. *buhuryan* (читается: *buǰturujan*) > 1395 г. *bojtorian*, со-врем. *bojtorján* «репейник», ср. чагат. *baldyrǰan*, турецк. *baldıran* (MTESz, 326).

III. Переходя к этимологизации старых топонимов-тюркизмов в Словакии, подчеркнем прежде всего, что не следует смешивать два разных вопроса — о тюркском происхождении собственно топонимов и о происхождении первоначального населения обозначаемых ими местностей. Судя по тюркскому (а отчасти — и венгерскому) способу образования топонимов, последние довольно часто имеют в своей основе племенные, родовые или фамильные наименования или же обозначения достоинства (звания, сана) высокопоставленных лиц, которые имели то или иное отношение к соответствующей общине<sup>16</sup>.

1. *Imel*, венг. *Imely* — современное название деревни, расположенной в округе Комарно на левом берегу р. Нитра 22 км севернее г. Комарно и 12 км южнее г. Нове-Замки. Археологические исследования показали, что древние поселения в окрестностях этой деревни относятся к V в.; обнаружено захоронение знатного аварского вельможи (судя по атрибутам захоронения), датированное VII—VIII веками<sup>17</sup>.

Название этой деревни представлено в письменных памятниках XIII—XIV вв. в форме *Inō*<sup>18</sup>. В XV в. эта деревня именуется *Eme* (1408 г.), *Emee* (1438 г.), в 1570 г. — *Imō*<sup>19</sup>, в 1664 г. — *Imō*<sup>20</sup>, а в XVIII в. —

<sup>15</sup> См.: «Defter-i mufassal-i eyalet-i Uyvar». Başbakanlık Arşiv dairesi (İstanbul, рпк. 1664 г.), ед. хр. №№ 115—698 (далее — Defter).

<sup>16</sup> См.: NGy; Virágh R., Magyar helységnevek eredete, Szeged, 1931; P e s t у F., Magyarország helynevei, Budapest, 1888; G o m b o c z Z., Melich J. Magyar etymológiai szótár, 1—11, Budapest, 1914—1934; A. Blaskovicsová, Rozbor místních jmen na Zitném ostrově (дипломная работа, машинопись, Карлов университет в Праге, 1958).

<sup>17</sup> Примечательно, что в ареале близрасположенных г. Нове-Замки и Stúrovo найдены аварско-словацкие захоронения, также относящиеся к VII—VIII вв.

<sup>18</sup> См.: «Komárom Vármegye», Budapest, 1907 (далее — KomVm), стр. 71.

<sup>19</sup> F e k e t e L., Az esztergomi szandzsák 1570. évi adösszeírása, Budapest, 1943 (далее — Fekete), стр. 151.

<sup>20</sup> Defter 53a; «Maliye Defteri», Başbakanlık Arşivi (İstanbul), ед. хр. № 4016, стр. 294.

*Imöl*<sup>21</sup> и *Imely*<sup>22</sup>. *Imel* отмечается начиная с 1919 г. и представляет собой всего лишь словацкую орфографическую форму венгерского наименования. Форму *Imely* (только орфографическая форма; вговорах произносится как *Imb*) можно интерпретировать как результат закономерного фонетического развития в венгерском языке тюркизма *inäk* «доверенное лицо; министр» (Ю. Немет сообщает форму *ынак*<sup>23</sup>):

др.-тюрк. *inäk* → др.-венг. \**ineç* → *ineš* → *inb* → *imb* → *imb*  
 ↓  
*inej* → *ine* → *eme*, *ime* → *ime*.

Итогом первой линии звукового развития явилась форма *Imb* (см. п. 5), а второй его линии — *ime* (см. п. 5 и 3). *Eme* ложно интерпретируется как форма, содержащая слог *-i* (< *e*), который следует непосредственно за основой: *eme* + *e* > *ime* + *i* (произносится как *emeje*, *imeji*). Из этой формы был «реконструирован» посредством аналогической редукции *Nominativ* *imey* > *imej*, который впоследствии приобрел орфографическую форму *Imely*, *Imely* по аналогии с орфографией слов *hely*, *mely*, *mily*, *amely* и т. п. Подчеркнем, что орфографическая форма *Imely* возникла таким путем в период, когда *-ly* уже произносилось как *-j*. Стабилизации долготы начального *i*- в этом топониме (*Imb*, *Imely*) могла способствовать аналогия с названием соседней деревни *Szimb* (совр. *Zemné*, округ Комарно, 14 км к северо-западу от дер. *Imely*).

Название *Imb*, *Imely*, *Imel* возникло в результате закономерного звукового развития старого тюркского заимствования \**inäk* в венгерском и словацком. Слово *inäk* в тюркских языках представлено распространенной и закономерной парой вариантов с глухим исходом: *inäk*, *ynäk* — в чагатайском (*inaq*, *inax*, *inay*) оно означает «доверенное лицо, советник, поверенный в делах, министр» (ЛБ I, 212), в алтайском — «друг», в куманском — «верный, преданный». В узбекском *inoq* «дружный; друг» исторически обозначало один из высших чинов в Бухарском ханстве; имеется также мужское имя собственное *Inoq*<sup>24</sup>. Формы *inäk*, *inäk*, *inax* (ср. ст.-венг. XIII в. *jenex*) считаются производными от глагола *ina-*, *yna-*, который чистой корневой морфемой представлен в хакасск. *yna-* «говорить, разговаривать; просить», а чаще же — производными основами: см., например, азерб., турецк. *inan-* «верить, доверять», казанско-татарск. *inäl-* «очень просить». Приведем некоторые производные от *ina-*: турецк. *inan* «вера, доверие», *inanç* «достойный доверия; вера; уверенность; доверие», чагат. *inal* (*inäl*) «князь, хан; предводитель»<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> J. Lipszky, Repertorium locorum obsectorumque... regnorum Hungariae, Budaë, 1808.

<sup>22</sup> Венг. *-ly* произносится как *-j* и отражает процесс полной палатализации *-l*: *l* > *l'* > *ly* /*j*/; например, заимствованное из славянского слово *kiräli*, имея орфографическую форму *kiräly*, произносится /*kiräj*/. Развитие палатализации *-l* началось в XII в. и распространялось довольно быстро (см.: Bárczi, 83, 87; В п к б Л., А тагуар *ly hang története*, Budapest, 1951). Особенно интенсивно происходило распространение произношения *-j* начиная с XVIII в., в то время как на письме сохранялось традиционное орфографическое *-ly*.

<sup>23</sup> Ю. Немет, указ. соч., стр. 133. Ср. там же *ынал* — обозначение достоинства, ср. Инал Ғаган; по Л. Будагову, *ынал* «у киргизов дико-каменных означало: царь, хан» [Л. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, I, СПб., 1869 (далее — ЛБ I), стр. 212]. Однако *inal/inäl* никак не соотносится с *Imöl*, *Imel*, *Imely*, поскольку эти последние — всего лишь орфографические формы, произносимые как *imej* и проч.

<sup>24</sup> «Узбекско-русский словарь», М., 1959, стр. 179.

<sup>25</sup> См. подробнее: NGy, 262—263; см. также: В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, I—IV, СПб., 1893—1911 (далее — ОСТН), I, слб. 1362. Старотурецк. *inağ*, *inäk* «достойный доверия; доверенное лицо; тот, на кого можно положиться; со-

Таким образом, первоначальным значением топонима *Imely* могло быть «советник; доверенное лицо; предводитель». Если принять во внимание, что археологическими изысканиями в окрестностях деревни обнаружено датированное аварско-тюркским периодом захоронение знатного вельможи, то название деревни можно связывать с тюркским наименованием сана *inäk*. Подтверждением этому могут служить многочисленные топонимы, особенно в южной Словакии, которые происходят из тюркских наименований достоинства (звания, сана), например: *Terany, Tlmače, Bajč, Vajka* (см. об этом ниже). Предположение об аварском происхождении топонима *Imely* косвенно подкрепляется также найденными близ деревни захоронениями, относящимися к периоду «аварско-славянского симбиоза» (VI—VIII вв.), — примечательно, что эти захоронения расположены между двумя песчаными холмиками, носящими названия *Salaš* и *Aba* (вероятно, *Aba* < тюрк. *oba* «поселение, лагерь, колония»).

Учитывая известную (правда, чисто внешнюю) проблематичность предложенной этимологии, можно было бы упомянуть еще об одной этимологии, в соответствии с которой топоним *Imely, Imeľ* выводится из словацк. *imelo*, чешск. *jmeli* «омела (*Viscum album*)», старые формы которого — *imelo, j̃melo; omelo*; ср. польск. *jemiota, -to*, русск. *omēla*, укр. *omēla*. Словацкие диалектные формы: *omelo, omela, omelie, jemelo, emelo, mel*; чешские диалектные формы: *měli, mejli, omeli, jemeli, jamela, himeli* и т. д.<sup>26</sup> Хотя топонимы, восходящие к этому слову, зафиксированы в различных областях расселения славян (см., например: *Jemjelica, Jemielno, Jemielna Góra*<sup>27</sup>), однако, из вышеприведенных форм явствует, что наиболее старые варианты рассматриваемого топонима *Inō* > *Imō* никак не могут быть возведены к ним и, следовательно, эта этимология не может быть принята.

Едва ли приемлема также этимологизация этого топонима из венг. *em-* (*emik*) «сосать», причастие *emō* «сосущий». Основой этого слова является *em-* (MTEsz, 763), и все его производные имеют в своем составе *-t-* (*emō* «вымя», *emtet* «кормить грудью», *emel* «дойть», *csecsetō* «грудной ребенок», буквально: «сосущий грудь»), так что форма *Inō* не может быть возведена ни к одной из них.

**2. *Ladomer, Ladomir*** — название четырех следующих населенных пунктов в Словакии: 1) *Ladomer*, бывшая деревня<sup>28</sup>, в настоящее время является частью населенного пункта *Ladomerská Vieska*, который ее присоединил к себе, в результате чего название деревни утрачено; 2) *Ladomerská Vieska* относится к округу *Žiar* на р. *Грон*<sup>29</sup> и расположен на левом берегу р. *Грон*, примерно в 2 км юго-восточнее окружного центра; 3) *Ladomir* входит в округ *Нумепне* (SL 65, 511), находится в 15 км юго-восточнее от городка *Snina*; 4) *Ladomirová* в округе *Bardejov* (SL 65, 505), расположен в 8 км северо-восточнее городка *Свидница* в Восточной Словакии.

Это название дважды встречается в истории в качестве антропонима. Булгарско-тюркский племенной вождь *Ladomir* в 892 г. вместе с королем *Арнульф* вступил в борьбу со *Святоплуком*<sup>30</sup>. Это имя в исторических источниках варьируется: *Laudomir, Laudomur, Leodomur*. Исходная фор-

ветник; преданный друг» см.: «*Tarama dergisi*», II, İstanbul, 1934, стр. 1037, 1038; датированные XIV веком формы *inäk, inağ, inah* «тот, кому доверяют; кому можно доверять» см.: «*Tarama sözlüğü*», III, Ankara, 1967, стр. 274.

<sup>26</sup> См.: *V. M a s h e k*, *Etymologický slovník jazyka českého*, Praha, 1968, стр. 230.

<sup>27</sup> *VI. S m i l a u e r*, *Příručka slovanské toponomastiky*, Praha, 1970, стр. 83.

<sup>28</sup> См.: «*Statistický lexikon obcí v krajine slovenskej*», Praha, 1930 (далее — SL 36), стр. 38.

<sup>29</sup> См.: «*Statistický lexikon obcí ČSSR 1965*», Praha, 1966 (далее — SL 65), стр. 498.

<sup>30</sup> См.: *P a u l e r Gy.*, *A magyar nemzet története az Árpádok korában*, 2, Budapest, 1893, стр. 147 (см. там же сообщение о том, что *Арнульф* снаряжал посольство «ad Bulgarios et regem eorum Leodomur»).

ма — \**Aldamur*, она подтверждается именем куманского предводителя *Oldamur*. Как считает З. Гомбоц, \**Aldamur* закономерно произведен от тюркского глагола *alda-* «лгать, хвастать, обольщать, обманывать» с помощью аффикса отглагольного образования *-mur*<sup>31</sup> (ср. *yagmur* «дождь» от *yag-* «дождить, идти дождю»), *Aldamur* означает «обманщик; тот, кто обманывает, обольщает». Метатеза *Aldamur* → *Ladamur* не единична, ср. *Albars* → *Labors* (венг. *Laborc*, слов. *Laborec* — название ручья в Восточной Словакии<sup>32</sup>).

3. *Semerovo*, *Szemere* — в его основе лежит тюркизм \**Semer*; он употребляется в качестве нижеследующих названий трех деревень в Словакии, а исторически — и как личное имя. 1) *Semerovo*, венг. *Szemere*, относится к округу Комарно и расположен в 15 км севернее г. Нове-Замки, между деревнями *Udvard* (*Dvory nad Žitavou*) и *Kolta*. В письменных документах этот топоним зафиксирован уже в 1210 г. и около 1270 г. в форме *Scemere* (*KomVm*, 121—122), а в 1570 г. и 1664 г. — форме *Semere* (*Fekete*, 315; *Defter*, 53a). Современное словацкое название произведено от венгерского топонима путем присоединения топоформанта *-ovo*. 2) *Felső Szemeréd*, слов. *Horné Semerovce* в округе Левице; деревня находится на берегу ручья *Štiavnica* в 5 км северо-восточнее от *Dolné Semerovce*. В исторических актах о поселении здесь упоминается уже в период правления короля Бэла IV (1255—70). В 1347 г. этот топоним зафиксирован в форме *Zemeréd*<sup>33</sup>, в 1570 г. — как *Főző Semere*, в 1664 г. — как *Felső Semeréd/Semeréd* (*Fekete*, 332). 3) *Szemeréd*, слов. *Dolné Semerovce* в округе Левице — эта деревня расположена примерно в 5 км севернее от впадения ручья *Štiavnica* в р. Ипель (см.: *Defter*, 77a). Как самостоятельный населенный пункт под названием *Alšo Semeréd (Semeréd)* существует начиная с 1664 г. (*Defter*, 76a).

Аффикс *-d* в *Szemeréd* представляет собой старый топоформант, аффикс *-e* — венгерский деминутивный аффикс. В словацком венгерском топоформанту *-d* в данном случае соответствует *-ovce*: венг. *Szemeréd* — слов. *Semerovce* (ср. другие случаи присоединения этого словацкого топоформанта уже непосредственно к венгерскому топониму: венг. *Sáró* — слов. *Sárovce*, *Vága* — *Váhovce*). Заметим, что при обратном процессе обычно словацкие топоформанты *-ovce*, *-ovce* в венгерском превращаются в *-óc*, *-óc*: слов. *Hlohovce* → венг. *Galgóc*, *Uhrovec* → *Ugróc*. По аналогии с этим венгерские топонимы, оканчивающиеся на *-óc*, проникая в словацкий, приобретают там неэтимологическое окончание *-ovce*, например: венг. *Tornóc* → слов. *Trnovce*.

В качестве фамильного имени начиная с XIII в. употребляется форма *Scemere* (старая орфографическая форма). Род *Szemere* (более новая орфографическая форма) ведет свою родословную от одного из военачальников князя Арпада (X в.) по имени *Huba*. В основе топонима и фамильного имени *Semere* (произносительная норма) лежит булг.-тюрк. \**semir*. Распространенное в тюркских языках до настоящего времени, это слово имеет следующий фонетический облик и значения: уйг., алт. *sämiz* «толстый, тучный, жирный», турецк., куманск. *sämiz* то же, кирг. *semiz* «тучный, жирный» (ОСТН, IV, 510), др.-тюрк. *semiz*, *semüz* «жирный, тучный»<sup>34</sup>. С этим словом, очевидно, связан глагол *sämür-(semir-)* «становиться жирным, тучным, толстым», который представлен в ряде тюркских языков. Эти две формы *semiz* ~ *semir* указывают на то, что здесь следует говорить

<sup>31</sup> См.: G o m b o c z Z., *Ladomég*, MNy, XI, 1915, стр. 149.

<sup>32</sup> Об этимологии этого гидронима см.: M e l i c h J., *A Laborc személynév*, MNy, XVII, 1921, стр. 73—75; е г о ж е, *Laborc*, KCSA, I, 1921, стр. 266—270.

<sup>33</sup> См.: «Hont Vármegye», Budapest, 1906 («Magyarország vármegyéi és városai», szerk. Borovszky Samu) (далее — *HontVm*), стр. 43.

<sup>34</sup> «Древнетюркский словарь», Л., 1969 (далее — ДТС), стр. 495.

о ротацизме; можно предположить, что прилагательное *semiz* (*sämiz*) могло иметь болгарско-тюркскую форму \**semir*, из которой развились топоним и фамильное имя *Szemere*, *Szemeréd*. О звуковом развитии *i* → *e* в форме \**semir* → \**semer* см. п. 3.

Значением прозвища *Semere*, таким образом, было «толстяк, толстощекий, толстомордый», а это значение находится в тесной связи с семантикой тех слов, которые древние турки имели обыкновение давать детям, например: *Karpus* → венг. *Árboc* «арбуз», т. е. «здоровый, как арбуз»; *Balaban* «медвежонок», т. е. «сильный, могучий, толстый»; *Toksun* (*toksun*) → *Taksony*<sup>35</sup>.

Топоним *Semerovo*, *Szemere*, *Semerovce* возник, вероятно, из фамильного имени *Szemere* при заселении отрогов Карпат венграми.

4. *Kozárovce*. Населенный пункт *Kozárovce* расположен в округе Левиче (примерно в 15 км северо-восточнее одноименного центра) на левом берегу р. Гроп. Веками эта местность была известна под названием *Kovácsi* или *Garamkovácsi*. Наиболее ранние упоминания относятся к 1075 и 1236 г.<sup>36</sup> В 1570 г. этот населенный пункт назывался *Na' Kováč* (*Fekete*, 173); в дефтере 1664 г. отмечен «*Nağ Kováč*, со вторым наименованием *Kozarofče*» (*Defter*, 35 а). В XVIII в. представлены формы *Kozarowce*, *Kozarowec* (*Lipszky*: *Kozarowec*). В монографическом описании области *Bars* (слов. *Tekovská župa*) в статье о соседней с *Kovácsi* (*Kozárovce*) деревне *Nagy Koszmály* (*Velké Kozmálovce*) отмечается, что эта последняя называется *Kozaroc*, и она рассматривается как старое хазарское поселение (*BarsVm*, 55). Это сообщение подтверждается тем, что здесь до настоящего времени сохраняются традиции, восходящие к хазарам.

Первоначальным названием деревни должно было быть скорее всего *Kozárovce* с основой *Kozár* и словацким топоформантом (в форме мн. числа) *-ovce*. Регулярное фонетическое развитие *a* > *o* (см. п. 1) подтверждает эту этимологию. В то же время этимологизация топонима из слов. *koziar* (чешск. *kozař*) «пастух коз» неприемлема, так как она противоречит историческим данным и обычному способу образования славянских топонимов.

5. *Kováar*, *Kovarce*. *Kováar* является старым наименованием населенного пункта *Koláry*<sup>37</sup>, который находится в округе *Sahy* на правом берегу р. Ипель в 5 км западнее г. Балашадьярмат. В исторических документах времен Арпада упоминается в форме *Kuar*<sup>38</sup>; представлена также и форма *Koarszeg* (*HontVm*, 54). Ю. Немет полагает, что, по всей вероятности, это было тюркское поселение периода правления Арпада (*NGy*, 236).

Деревня *Kovarce* округа *Torolčany* расположена на левом берегу р. Нитра, примерно в 10 км южнее г. *Torolčany*. Старое венгерское наименование ее было *Kovárc*. В исторических документах 1280 г. отмечена форма *Koarch*, 1318 г. — *Kouarch*<sup>39</sup>, 1570 г. — *Kuarče* (*Fekete*, 112 а). Венгерское наименование *Kovárc* заимствовано из слов. *Kovarce* → *Kovarci*.

Уместно предположить с известной долей проблематичности, что оба этих населенных пункта сохраняют наименование тюркской этнографической группы — кабаров, которые первоначально принадлежали к племенному объединению хазаров (хазаров). Это наименование в форме *Covar*

<sup>35</sup> См. об этом подробнее: L. R á s o n y i, Sur quelques catégories de noms de personnes en turc, «Acta linguistica», III, 1953, стр. 323 и сл.; о г о ж е, Türklükte kadın adları, «Türk dili araştırmaları yillığı. Belleten» (1963), Ankara, 1964, стр. 63 и сл.

<sup>36</sup> «Bars Vármegye», Budapest, 1903 («Magyarország vármegyéi és városai», szerk. Borovszky Samu), стр. 48.

<sup>37</sup> «Statistický lexikon obcí na Slovensku», Praha, 1927 (далее — SLO), стр. 81.

<sup>38</sup> См.: «Hazai Okmánytár», IV, Budapest, 1903, стр. 76, 91; M e l i c h J., MNy, XXIV, 1925, стр. 246; NGy, 236.

<sup>39</sup> См.: «Nyitra Vármegye». Szerk. Sziklay J. és Borovszky S., Budapest, 1898 (далее — NyVm), стр. 78.

впервые упоминается в 881 г. (NGy, 320); Константин Порфирогенетос привел форму *кабарои* (МНК, 124; NGy, 233—238).

Первоначальным значением слова *kabar* могло быть «мятежник, бунтарь». Его основой, как считает Ю. Немет (NGy, 237), является глагол *kabar* «подниматься; вдуваться, надуваться» (ср. турецк. *kabarçik* «опухоль, нарыв, фурункул»). Можно восстановить звуковое развитие заимствования: тюрк. *Kabar* > Konst. Porphirogen. *кабар* > старовенг. *koar*, *Kuar*, *Kovar* > венг., слов. *Kovar*, *Kovár*. Звуковое изменение *a* > *o* является регулярным (см. выше). Чередование согласных *b* ~ *v* представлено уже в древнетюркском, например: *varmak* ~ *barmak* «идти», *var* ~ *bar* «имеется», *vermek* ~ *bermek* «давать». Это чередование не переставало существовать также и в тюркизмах, проникших в венгерский язык, на что указывают варианты некоторых фамилий тюркского происхождения: *Vajk* ~ *Bajk*, *Vajta* ~ *Bajta* (NGy, 294), *Véce* ~ *Beše*, *Kabar* ~ *Kovar*.

6. *Teránu*. Населенный пункт под этим названием, венг. *Terény* (округ Зволен) расположен близ ручья *Štiavnica*, примерно в 10 км севернее дер. *Horné Semerovce*. Ненюгда здесь было две деревни — *Alsó-Terény* (*Dolné Teránu*) и *Felső-Terény* (*Horné Teránu*), которые в 1955 г. объединились в один населенный пункт. Селение *Teránu* было основано при колонизации местности венграми мадьярского племени *Tarján*, от имени которого деревня получила свое название (см. *HontVn*, 27, 43). В 1570 г. обе деревни *Teránu* были объединены под общим наименованием *Hársas Tarján* (*Fekete*, 7), которое уже в 1664 г. имело форму *Hársás Terén/Terín* (*Defter*, 70a). Старые письменные документы фиксируют такие формы топонима: *Tarján*, *Torján*, *Terian*. Из этих форм путем закономерной звуковой эволюции развились более новые: *Terjen*, *Terén*, *Terény*. Словацкий топоним *Teránu* возник как заимствование старейшей венгерской формы, получившей при этом словацкий показатель мн. числа -у.

Древневенгерское племенное наименование *Tarján* происходит из древнетюркского титула *tarqan*, *tarxan* «представитель, заместитель хана; князь» на основе регулярного фонетического развития (см. п. 19). У древних тюрков это слово в сочетании с именем выступало в качестве титула правителя: *Alp Tarxan*, *Altun Tamyan Tarqan*, *Oyul Tarqan* и т. п. (*ДТС*, 538, 539). Племенное название *Tarjan* в области расселения венгров около десяти раз встречается как топоним. В Советском Союзе, в основном, в зоне татарского и чувашского заселения отмечено тридцать два населенных пункта под названием *Torkan*, *Tarzan* (NGy, 259), *Tarxаны*.

7. *Taraň*. Два населенных пункта в округе Нове-Замки *Horný Taraň*, венг. *Felső Taránu* и *Dolný Taraň*, венг. *Alsó Taránu*, — в настоящее время объединены в один под названием *Štefanovičova* (*SL* 65), что примерно в 2 км северо-западнее деревни *Milanovce* (*Velký Kýr*) и 18 км южнее г. *Нитра*. В документах 1664 г. это поселение фигурирует под названием *Taran*<sup>40</sup>. В основе этого топонима — упомянутое выше венгерское племенное название, восходящее к древнетюркскому титулу: *Tarqan* (*Tarxan*) → *Tarxān* > *Tarján*. Топоним возник путем закономерного звукового развития: *Tarján* → *Tarian* → *Tarán* → *Taránu* (см. п. 19). Словацкий топоним заимствован непосредственно из венгерского: *Taraň* → *Taraň*.

8. *Ďarmoty*. Это название носят пять деревень в южной Словакии в округе *Želiezovce* — *Hostianske Ďarmoty*<sup>41</sup> (в настоящее время — *Hostianske Ďarmoty*).

<sup>40</sup> «Defter-i evkaf der eyalet-i Uyvar», Fol. 9a, Istanbul, Başbakanlık arşivi, Tapu Defterleri (далее — *Defter E*), ed. xp. № 653.

<sup>41</sup> «Administratívni lexikon obcí Republiky Československé 1955», Praha, 1955 (далее — *AL* 55).

tianska Vrblca), венг. *Füzes Gyarmat* (SL 65); в округе Нове-Замки — *Ďarmotky* (AL 55, совр. *Sikenička*), венг. *Kis Gyarmat* (SL 65), и *Kamenné Ďarmoty* (совр. *Kamenný Most*), венг. *Kőhid Gyarmat* (SL 39); в округе Нитра — *Lapašské Ďarmoty* (совр. *Golianovo*, SL 65), венг. *Lapás Gyarmat* (SL 36); в округе Врабле — *Ďarmoty nad Žitavou* (совр. *Žitavce*, SL 65), венг. *Zsitva Gyarmat*.

Старые формы: 1135 г. *Garmoth*, 1153 г. *Gormot*, 1297 г. *Gormot*, 1367 г. *Germath*; старейшая форма приведена Константином Порфирогенетом — Γερμάτω. Так именовалось четвертое племя венгров (NGy, 253). Это слово в венгерском представляет собой заимствование древнетюркской формы \**jormaty*, которая образована от основы *yor-* «устанавливать, утомляться» путем присоединения показателя *-mady*, *-medi*, *-maty*, *-meti* (см. о нем: ДТС, 657) и которая имела значение «неутомимый». В качестве племенного названия эта форма встречается также у башкир (см.: NGy, 254).

9. *Kosiňy, Kesy, Kesa*. Так называются семь деревень в южной Словакии: в округе Нове-Замки — *Malá Kesa*, венг. *Kis Keszi* и *Bánovská Kesa*, венг. *Bánkeszi*, обе деревни в настоящее время объединены в один населенный пункт под названием *Bánov* (SL 65); в округе Нитра — *Kesov*, венг. *Mezőkeszi*, совр. *Mojmírovce* (AL 55); в округе Левице — *Hronské Kosiňy*, венг. *Garamkeszi* (SL 65); в округе Комарно — *Bátorove Kesy*, венг. *Bátorkeszi*, совр. *Vojnice* (SL 65); в округе Нове-Замки — *Malé Kosiňy*, венг. *Kiskeszzi* (SL 65); в округе Комарно — *Krátké Kesy*, венг. *Kurtakeszi*, и *Kesegová*, венг. *Keszegfalva*, совр. *Kameničná* (SL 65).

В исторических документах XI—XII вв. топоним представлен следующими формами: *Kesiŋ*, *Keseŋ*, *Kesüŋ*, *Keseü*, *Kesü*, а в XV—XVII вв. — *Kesö* (*Keszö*). Старейшая форма \**Keseŋ* (*Käsäŋ*) происходит из закономерной болгарско-тюркской формы \**Käsäŋ*, производной от глагола *kes-* «резать, отрезать». Ср. уйг. *käsäk* «кусок; часть; ветвь»; турецк. *kesik* «отрезанный», караимск. *käsäk* «кусок», куманск. *käsäü* «кусочек», казанско-татарск. *kisäk* «кусочек; часть» (см.: NGy, 268—271). Старейшую форму непосредственно сохраняет наименование деревни *Kesegová*, венг. *Keszegfalva*. Косвенным отражением старейшей формы является слов. *Kosiňy*, которое получилось в результате закономерного фонетического развития древневенгерской формы \**Käsäŋ* → \**Kosig(y)* → *Kosih(y)*<sup>42</sup>, причем окончание *-y* является здесь словацким именным показателем мн. числа.

10. *Tlmače*. Деревня *Tlmače*, венг. *Tolmács*, округ Левице (SL 65) расположена на левом берегу р. Грон в 15 км северо-западнее г. Левице. Поселение восходит еще ко времени колонизации местности венграми; по некоторым источникам, это было поселение печенегов. В 1075 г. топоним представлен формой *Talmacs* (BarsVrn, 75—76), в 1570 г. — *Tolmacs* (Fekete, 153), в 1664 г. (Defter, 31a) и в 1672 г. (Defter E, N 356) — *Tolmáč*.

Слово *Tolmač* как наименование племени печенегов приводится у Константина Порфирогенетоса — Τουλμάτζοι («De administrando imperio», 37). Племенное название *Tolmač* и наименование высокого государственного сана *tolmač* «переводчик; комментатор» (этой должности придавалось большое значение в старотюркских государствах), безусловно, взаимосвязаны. Должность переводчика-комментатора часто упоминается в китайских источниках, касающихся Средней Азии<sup>43</sup>. Ср. куманск *tylmač*, турецк. *dilmaç*, др.-тюрк. *tylmačy* «переводчик» (ДТС, 566). В основе этого слова явственно вычленяется *til*, *dil* «язык». Слово *tolmač* проникло в боль-

<sup>42</sup> Melich J., Az 6-magyar szövegi -y a tót helynevekben.

<sup>43</sup> См. об этом: NGy, 46; J. de Groot, Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens, II, Berlin — Leipzig, 1926, стр. 61, 65—66.

шинство европейских языков, например: нем. *Dolmetscher*, венг. *tolmács*, слов. *tlmočnik*, чешск. *tlmočník*, ст.-слав. \**тълмаѣ* и соответствующие формы во всех славянских языках. То, что топоним *Tlmače* (*Tolmač*) печенежского происхождения, подтверждается историческими данными и самим способом образования топонима на базе тюркского племенного названия.

11. *Trnovec*. Населенный пункт *Trnovec nad Váhom*, венг. *Tornóc*, округ Galanta, лежит на левом берегу р. Ваг, примерно в 4 км восточнее г. Šala. В XII в. зарегистрирована форма *Durmus*, в XIII в. — *Turnoch* (это место было собственностью королевских рыбаков; NyVm, 153). В 1664 г. представлены формы *Turnyc/Tormyc/Durmyc* (Defter, 109b; Maliye Defteri, 212). Звуковое развитие происходило следующим образом: *Durmus* → \**Tormos* → *Tornóc*. Звуковые переходы *m* > *n*, *u* > *o*, *s* > *c* были обоснованы выше (см. п. 14, 9 и 16). Словацкий топоним *Trnovec* является новым, он относится к XX в., будучи заимствован из венгерского *Tornóc*; по аналогии с собственно словацкими топонимами, оканчивающимися на *-ovec* или *-ove*, он получил топоформант *-ovec*. Переделанная на словацкий лад форма быстро укоренилась здесь, чему способствовало в известной мере влияние наименования соседнего г. Трнава (*Trnava*, ср. также топонимы *Trnávka*, *Trnia*, *Trnové*, *Trnovo*, обозначающее местность, где изобилует тёрн).

*Durmus*, *Turmus*, *Durmuš* — весьма распространенное семейное имя у всех тюрков, оно принадлежит к группе так называемых охранных имен, «оберегов» (аротгораеон). Его значение — «тот, кто остается [жить]; оставшийся [чтобы жить]». Это имя проникло в венгерский язык в форме *Durmus*<sup>44</sup> (никак не *Durmuš!*) — на это указывает закономерное чередование *s* > *c*. Из исторических источников известно, что область Ваг, где находится *Trnovec*, и соседняя область Житава в XI в. были заселены печенегами. Подтверждением этому служат названия соседних деревень *Veča* (*Vecse*), *Beša* (*Bese*), *Bešeňov na Žitavou* (*Zsitvabesenyő*). Можно, хотя и проблематически, предполагать, что деревня *Tornóc* (> *Trnovec*) получила свое наименование в конечном счете от печенежского личного имени *Durmus/Turmus*.

12. *Tormoš*. Так назывался современный населенный пункт *Chrenová* в округе Нитра, который расположен примерно в 2 км восточнее г. Нитра, к территории которого он был присоединен в 1955 г. Прежнее словацкое наименование этого бывшего населенного пункта было *Tormoš*, венг. *Nagy Tormos*. В исторических документах этот топоним представлен в XIII в. в форме *Tormos*, в XVI в. — *Tornyos* (NyVm, 102), в 1570 г. — *Nagy Tormos* (Fekete, 186), в 1664 г. — *Na' Tormoš* (Defter, 129a; Maliye Defteri, 191), в 1673 г. — *Nağ Tormuš*<sup>45</sup>.

Современное наименование *Chrenová* (с основой слов. *chren*, чешск. *křen* «хрен») возникло в результате ложной этимологизации венгерского топонима *Tormos*, который по созвучию был воспринят как диалектный вариант «правильной» венгерской формы *tormás* «хреновый», т. е. «место, где в изобилии растет хрен» (венг. *torma* «хрен» + *-s*, венгерский отыменный суффикс). Старая форма *Tornyos* равным образом представляет собой результат ложной этимологизации на основе звукового сходства (*Tornyu* «башня», *Tornyos* «имеющий башню»).

В основе этих топонимов также лежит тюркское имя *Durmuš/Turmuš*, из которого возникла др.-венг. *Tormos* путем фонетического развития, обоснованного в п. 4. Заселение этой местности, по всей вероятности, на-

<sup>44</sup> Показатель причастия *-muš*, *-miš*, *-muš*, *-müš* в древнетюркском мог иметь регулярные варианты *-mys*, *-mis*, *-mus*, *-müs* (см.: ДТС, стр. 658).

<sup>45</sup> См.: «Ismal Defteri» ед. хр. Е. 356, л. 1b (Dresden); F e k e t e L., Die Siyāqat-Schrift. I, Budapest, 1955, стр. 707.

чали венгры, у которых — особенно среди господствующей верхушки — были очень распространены тюркские имена. Не исключено, что это наименование восходит к хазарам (ср. названия расположенных поблизости населенных пунктов *Kovarce*, *Kozárovce*), возможно также, что этот топоним можно связывать и с печенегами, которые обитали поблизости в X—XI вв. (ср.: *Veša*, *Veča*, *Vešeňová* и др.).



Итак, комплексное применение приемов лингвистического и историко-археологического анализа при изучении топонимии современной Словакии позволило установить старотюркское происхождение целой серии топонимов на ее территории. Эти последние в процессе адаптации их венгерским и словацким языком, естественно, претерпели целый ряд фонетических изменений, в результате чего приняли иногда совершенно новый, а порой значительно подновленный звуковой облик. Привлекая данные исторической фонетики словацкого, венгерского и тюркских языков, мы попытались реконструировать исходный — старотюркский — облик этих топонимов и на этой основе предложили свои этимологии некоторых из них.

Тот факт, что результаты лингвистических, филологических и историко-археологических изысканий в этой области исследования хорошо согласуются между собой, показателен уже сам по себе и позволяет думать, что дальнейшее изучение вопросов, связанных с топонимами старотюркского происхождения на территории Словакии, окажется плодотворным и, несомненно, будет способствовать успешной разработке проблем в области истории словацкого и венгерского народов.

Перевела с немецкого Г. Ф. Благова

---

Д. УОРТ

МОРФОЛОГИЯ НУЛЕВОЙ АФФИКСАЦИИ  
В РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ

В русском словообразовании имеется одна весьма любопытная и еще недостаточно изученная область, а именно — нулевая аффиксация (или, как говорится иногда, «безаффиксный способ словообразования»<sup>1</sup>). В существующих описаниях русского словообразования, например, в недавно вышедшей «Грамматике современного русского литературного языка» под ред. Н. Ю. Шведовой<sup>2</sup>, приводится ценный фактический материал и отмечаются разные типы морфонологических преобразований, однако не приводятся ни точное морфонологическое описание так называемого нулевого суффикса (что значит именно «нулевой»? сколько в русском языке «нулевых» суффиксов и чем они отличаются друг от друга?), ни фонологическая классификация производящих основ, ни эксплицитное определение тех морфонологических правил, по которым производятся усечение производящих основ (*беседовать* — *беседа*, *захлебнуться* — *захлеб* и т. д.) и довольно сложный набор изменений, касающихся палатальности — непалатальности конечных и предконечных согласных, вставочных гласных и т. п. (*ходить* — *ход*, *кричать* — *крик*, *записать* — *запись*, *плакать* — *плач*, *запить* — *запой*, *забрать* — *забор* и т. п.)<sup>3</sup>. Недостаточная систематичность и эксплицитность изложения свойственна, например, разделу о нулевом отглагольном образовании имен существительных. В настоящей статье будет сделана попытка найти наиболее эксплицитное и экономное описание морфонологических преобразований, происходящих при обра-

<sup>1</sup> Разница между «нулевой аффиксацией» и «безаффиксным способом словообразования» не просто терминологическая. Первый термин означает, что морфонологические преобразования зависят от присутствия каких-то конкретных (хотя и нулевых) единиц (суффиксов); второй же термин показывает, что грамматика может быть — по крайней мере отчасти — чисто процессуальная. О нулевой аффиксации см: В. В. Лопатин, Нулевая аффиксация в системе русского словообразования, ВЯ, 1966, 1; Р. И. Лихтман, Существует ли безаффиксный способ словообразования в русском языке? ВЯ, 1968, 2.

<sup>2</sup> «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970 (далее — ГСРЛЯ). Соответствующие разделы написаны В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым.

<sup>3</sup> Для простоты изложения и удобства сравнения приводятся примеры из соответствующего раздела ГСРЛЯ. Приходится констатировать, что ГСРЛЯ содержит немало неточностей формального порядка. Например, в разделе, где описывается отглагольное нулевое словообразование имен существительных мужского рода, говорится, что «основа наст. времени глагола выступает в существительных, мотивированных глаголами типов VI, VII, IX 1—5 и некот. др., напр.: *поджечь* (*подожгу*) — *поджог... жать* (*жму*) — *жим*, *поднять* (*подниму*) — *подъем*» (стр. 142—143), т. е. в качестве иллюстраций приводятся и существительные, основы которых не тождественны основам настоящего времени производящих глаголов. А ведь отличие от основы инфинитива еще не означает идентичности с основой настоящего времени. В том же разделе «обратное чередование» [ж'] — [зг] иллюстрируется не только правильным примером *вижеть* — *вижг*, но и совсем не подходящим сюда *приежеть* — *приезд* (существование чередования [ж'] — [зг] не отмечено). Это мелкие неточности, в целом же авторами проделана весьма полезная работа в описании и классификации способов русского словообразования; их труд отличается значительно большим вниманием к формальной стороне словообразования, чем это было в академической «Грамматике» 1952 г.

зовании имен существительных от глаголов способом нулевой аффиксации (вопросы семантики, связанные с такого рода деривацией, здесь не будут затрагиваться).

При помощи нулевой аффиксации образуются следующие типы отглагольных имен существительных: (1) существительные мужского рода (*принос, раскол, крик*); (2) имена женского рода на *-а* (*тратя, защита, награда*); (3) существительные общего рода на *-а* (*зёва, растеря, обжора*); (4) существительные женского рода третьего склонения (с нулевым окончанием в им. падеже ед. числа) (*брань, запись, россыпь*); (5) некоторые *plu-galia tantum* вроде *переговоры, хлопоты*; последние, однако, можно считать разновидностями первых двух типов (см. формы род. падежа *переговоров, хлопот*), так что остаются четыре морфологических типа отглагольных имен, образованных нулевой аффиксацией.

Ситуация осложняется тем, что внутри каждого из этих четырех морфологических типов имеется до четырех морфонологических разновидностей, т. е. производящие основы морфонологически преобразуются по четырем разным типам. Более того, морфонологические разновидности распределены неодинаково по морфологическим типам, т. е. морфологический и морфонологический критерии классификации отчасти пересекаются.

В первом морфологическом типе представлены следующие морфонологические разновидности: (1а) усечение производящей основы<sup>4</sup> не сопровождается другими ее изменениями (*приливать — прилив, недосыпать — недосыл, пускать — пуск*); (1б) усечение производящей основы сопровождается переходным смягчением (*плакать — плач, кликать — клич, вопить — вопль*)<sup>5</sup>; (1в) диспалатализацией зубных и палатальных (*ходить — ход, гудеть — гуд; визжать — визг, приезжать — приезд*<sup>6</sup>; в случае палатальных ГСРЛЯ указывает на «обратные чередования согласных»<sup>7</sup>; как мы постараемся показать, такого процесса в русской морфонологии не существует вообще; (1г) наконец, вставным гласным (или чередованием *e ~ o*) и отвердением предшествующего согласного, которое можно, несколько упрощая, назвать «внутренней диспалатализацией» (*течь, теку — ток; мереть, мрут — мор; забрать, заберут — забор; поджечь, подождут — поджог*).

Во втором морфологическом типе наблюдаются те же морфонологические разновидности, правда, с несколько иным распределением по типам производящих основ: (2а) без изменений (*играть — игра, беседовать — беседа, потерять — потеря*); (2б) с переходным смягчением (*портить — порча, пропадать — пропажа, ловить — ловля*; случаев с заднебным нет); (2в) с диспалатализацией (только с заднебными: *разлучить — разлука, заслужить — заслуга, засушить — засуха*); (2г) с внутренней диспалатализацией (по-видимому, всего один случай: *опереться — опора*).

В третьем морфологическом типе картина слегка изменяется; имеются разновидности: (3а) без изменений после усечения (*звать — зёва, заи-*

<sup>4</sup> В данной статье мы не будем касаться вопросов усечения, так как этот морфонологический процесс всесторонне освещается в работе А. В. Исаченко «Роль усечения в русском словообразовании», «International journal of Slavic linguistics and poetics», (IJSLP), 15, 1972.

<sup>5</sup> Заметим мимоходом, что только пример *вопить — вопль* позволяет нам считать *плакать — плач* и *кликать — клич* примерами переходного смягчения, так как в русской морфонологической системе противопоставление переходное — непереходное смягчение нейтрализуется у заднебных; см., например, в глагольной флексии: *махать (махну́, махнешь) = писать (пишу́, пишешь)*, но *течь (теку́, течешь) = нести (несу́, несешь)*.

<sup>6</sup> Диспалатализация соответствует и непереходному (*ходить — ход*), и переходному смягчению (*приезжать — приезд*).

<sup>7</sup> ГСРЛЯ, стр. 143 и сл.

каться — *зайка*, *нюнить* — *нюня*, *растерять* — *растеря*)<sup>8</sup>; (3б) с непереходным смягчением (*разинуть* — *разиня*, *заснуть* — *засоня*; последнее приближается по внутренней огласовке к типу 3г); (3в) с непереходной диспалатализацией (*реветь* — *рёва*, *зудить* — *зуда*, *брюзжать* — *брюзга*, *канючить* — *канюка*); (3г) с внутренней диспалатализацией (*обожраться* — *обжора*)<sup>9</sup>.

Наконец, в четвертом морфологическом типе наблюдаются только разновидности без изменений основы (4а) (*бранить* — *брань*, *молвить* — *молвь*) и разновидность (4б) с непереходным смягчением зубных, губных и заднеязычных [*записать* — *запись*, *насыпать* — *насыпь*, *течь* (*текут*) — *течь* (им. сущ.), *лгать* — *ложь*]<sup>10</sup>. Так как в первой из этих двух разновидностей представлены производящие основы исключительно на парные мягкие согласные, эту первую разновидность можно целиком отнести ко второй (с непереходным смягчением), так что остается всего одна морфонологическая разновидность четвертого морфологического типа.

После этого беглого обзора фактического материала можно приступить к анализу скрывающейся за ним морфонологической системы. Напомним, что морфонологическое описание состоит из трех компонентов: производящие основы, словообразовательные аффиксы и правила, по которым первые соединяются со вторыми. Структурные факты, обеспечивающие оптимальное решение задачи, можно искать в одном, в двух или во всех трех из этих компонентов.

В поисках оптимального решения любой лингвистической задачи следует руководствоваться некоторыми общими требованиями к каждому лингвистическому (и не только лингвистическому) описанию. С тем, что описание должно быть адекватным (т. е. должно соответствовать фактам описываемого языка), никто не будет спорить. Но существуют и другие, не менее важные требования. Лингвистическое описание должно быть естественным, т. е. содержащиеся в этом описании морфонологические и фонетические правила не должны противоречить известным в науке фактам — например, сведениям о физиологии речевого аппарата, фактам сравнительно-типологических исследований и под. Точную и эксплицитную дефиницию «естественности» дать, пожалуй, нельзя, но тем не менее каждый лингвист на основании своего опыта и «здравого смысла» знает, что это такое (например, вполне естественно, что смягчение согласных происходит перед суффиксами, начинающимися с гласного переднего ряда или с йота, и совершенно неестественна выдумка вроде «смягчение происходит перед последовательностью неокруглый гласный плюс округлый гласный»). Существует еще третье требование ко всякому линг-

<sup>8</sup> Пример *растерять* — *растеря* можно было бы отнести к разновидности (3б) (непереходное смягчение), так как правило непереходного смягчения в таких случаях, как *разинуть* — *разиня*, очевидно, не может действовать в случае дизяного согласного [р'] в глаголе *растерять*.

<sup>9</sup> Термин «внутренняя диспалатализация» является условным. Под ним понимаются два не зависящих друг от друга, но во многих случаях действующих совместно морфонологических процесса, первый из которых обеспечивает появление вставного («беглого») гласного [о], а второй производит отвердение парного мягкого согласного, предшествующего этому [о]; правило отвердения, естественно, не может касаться непарного согласного [ж] в *обжора*.

<sup>10</sup> На первый взгляд, *лгать* — *ложь* как будто примыкает к разновидности (г), так как существительное *ложь* содержит вставной гласный. Однако, с одной стороны, здесь происходит не внутренняя диспалатализация, а конечная палатализация [г] в [ж], а с другой стороны, вставляется не гласный полного образования [о], а чередующаяся морфонема «гласный ~ нуль» (в условной транскрипции #), см. род. падеж *лжи* и т. д. На самом деле, как станет ясно из дальнейшего изложения, сама производящая глагольная основа содержит эту чередующуюся морфему {#}. О слове *ложь* и ему подобных см.: D. S. W o r t h, Remarks on Russian stress, 2: *ложь*, *рожь*, *вошь*, *любовь*, сб. «Studies in honor of B. O. Unbegaun», New York — London, 1969.

вистическому описанию, которое тоже чрезвычайно трудно поддается точной и эксплицитной дефиниции: это то, что по-английски называется «*insightfulness*» «проницательность», т. е. объясняющая сила, возможность через данное описание проникнуть в суть дела. Без этих критериев лингвистическое описание слишком легко может превратиться в пустую игру символами.

Вернемся к нашей задаче. Какое описание производящих основ, словообразовательных суффиксов и морфонологических правил даст наиболее ясную картину морфонологии нулевой аффиксации в образовании отглагольных имен существительных?

Наиболее легкое решение задачи — поиск объяснения морфонологического многообразия нулевой аффиксации в существовании соответствующего набора суффиксов, способного произвести все морфонологические разновидности в каждом морфонологическом типе. Самое простое решение такого рода — постулировать существование тринадцати разных нулевых суффиксов ( $\{\emptyset\}^1, \{\emptyset\}^2, \dots, \{\emptyset\}^{13}$ ), по одному для каждой разновидности каждого морфонологического типа. Такое банальное решение, разумеется, не ведет к каким бы то ни было интересным обобщениям, тем более что оно грешит против принципа, известного в науке под названием «оккамского лезвия» («*entia non sunt multiplicanda*»).

Более интересное решение этого рода — постулировать такой алфавит морфем, который бы обеспечил фонетически естественным образом все типы морфонологического преобразования, например, следующие четыре морфемы:

$\{\emptyset\}$  не вызывающая никаких изменений в конце производящей основы (фонологический нуль);

$\{j\}$  вызывающая переходное смягчение в конце производящей основы;

$\{i\}$  вызывающая непереходное смягчение в конце производящей основы;

$\{w\}$  вызывающая диспалатализацию (=лабиовеляризацию) в конце производящей основы («внутреннюю диспалатализацию» оставим пока в стороне).

Таким образом, разные морфонологические преобразования производящих основ можно просто приписать действию четырех разных морфонологических единиц в словообразовательных суффиксах. Сами эти единицы, конечно, будут исчезать при репрезентации (т. е. в цепочке морфонологических символов) в силу общих законов морфемной структуры в русском языке [морфемы не могут оканчиваться на гласный (даже нулевой) или на сочетания «согласный плюс  $\{j\}$ », «согласный плюс  $\{w\}$ »]. Иными словами, эти четыре морфемы произведут в каждом случае пужный морфонологический эффект, а потом сами исчезнут (подобно улыбающемуся чеширскому коту из «Алисы в стране чудес», который исчез, оставив после себя одну улыбку). Действие такого рода правил можно проиллюстрировать хотя бы следующими примерами: (1) (исходная цепочка)  $vor'i + j \rightarrow$  (правила усечения)  $vor' + j \rightarrow$  (правила палатализации)  $vor'l' + j \rightarrow$  (правила снятия +')  $vor'l'j \rightarrow$  (правила морфемной структуры — «*morpheme structure rules*»)  $vor'l'$  (основа производного существительного); (2) (исходная цепочка)  $xod'i + w \rightarrow$  (правила усечения)  $xod' + w \rightarrow$  (правила диспалатализации)  $xod + w \rightarrow$  (снятие +')  $xodw \rightarrow$  (правила морфемной структуры)  $xod$  (основа производного существительного).

Введем морфем  $\{\emptyset\}$ ,  $\{j\}$ ,  $\{i\}$ ,  $\{w\}$  достигается известная степень фонологической естественности, но не уменьшается общее число нужных суффиксов, которых все равно остается тринадцать. Лишь для первого морфонологического типа, например, нужны будут следующие три суффикса [м — мужского рода, ж — женского рода, о — общего рода, I — первое склонение (*жена*), II — второе склонение (*стол*), III — третье скло-

нение (ночь): {θ} м-II (приливать — прилив, пускать — пуск), {ʃ} м-II (плакать — плач, вопить — вопль) и {w} м-II (ходить — ход, визжать — визг) [о четвертом типе (1г) с внутренней диспалатализацией речь будет ниже]. Для второго морфологического типа понадобятся суффиксы {θ} ж-I (играть — игра, беседовать — беседа), {j} ж-I (портить — порча, пропадать — пропаша) и {w} ж-I (разлучить — разлука, заслужить — заслуга). В третьем морфологическом типе будут {θ} о-I (зевать — зёва, заикаться — заика), {i} о-I (разинуть — разиня, заснуть — засоня)<sup>11</sup> и {w} о-I (зудить — зуда, брюзжать — брюзга). Наконец, в четвертом морфологическом типе окажется суффикс {i} ж-III (записать — запись, лгать — ложь). Итак, понадобятся десять приведенных разных суффиксов плюс три для пока не разобранных случаев внутренней диспалатализации. Очевидно, что это неестественно большое количество для одного только типа русского отглагольного именного словообразования. И оно не может уменьшиться при поиске оптимального решения лишь в пределах фонологической структуры нулевых суффиксов.

Перейдем к рассмотрению структуры производящих основ.

В ГСРЛЯ производящие основы приводятся в их графической форме, под которой надо разуместь, кажется, цепочки фонем. Однако в последнее время стало ясно, что славянскую морфологию нельзя описать исключительно на поверхностном, фонемном уровне<sup>12</sup>. Из таких примеров, как *визжать* — *визг*, *приезжать* — *приезд*, видно, что если описание отглагольного словообразования останется лишь на уровне фонемной структуры, окажется неясным, почему в одном случае из [ж'] получается [зг], а в другом [зд]; см. подобные примеры в образовании формы несовершенного вида *сдвигнуть* — *сдвигать* с [г], но *взглянуть* — *взглядывать* с [д]<sup>13</sup>. Только в том случае, если производящие основы приводятся не в фонемной, а в глубинной морфологической форме {v'izg + já}, {pr'ijezd + jáj}, {s#dv'ig + nu}, {v#z#gl'ad + nú}, окажется возможным вывести из них правильные производные основы {v'izg}, {pr'ijezd}, {sdv'igaj}, {vzgl'adivaj}<sup>14</sup>. Следует подчеркнуть, что такого рода глубинная транскрипция — это самое простое отражение того очевидного факта, что каждый говорящий на русском языке вполне осознает, что *визжать* соотносится именно с *визг*, а не с \**визд* и т. д., т. е. что за поверхностной [ж'] в *визжать* кроется [зг], а не [зд], что за поверхностной цепочкой [и'н] в слове *взглянуть* скрыто [ад + н], а не [иг + н] и т. д.

Приведем интересующие нас производящие основы в такой глубинной транскрипции: *приливать* = {pr'il'iv + aj}, *недосыпать* = {nedosip + aj}, *пускать* = {pusk + aj}, *плакать* = {plak + ja}, *вопить* = {vor + i}, *ходить* = {xod + i}, *визжать* = {v'izg + ja} и т. д. Поможет ли это уменьшить число нулевых суффиксов? Глубинная транскрипция имеет

<sup>11</sup> Пример *заспать* — *засоня* вызывает такой же комментарий, как *лгать* — *ложь*, см. примеч. 10.

<sup>12</sup> См., например: D. S. W o r t h, «Surface structure» and «deep structure» in Slavic morphology, сб. «American contributions to the VI<sup>th</sup> International Congress of Slavists», I, The Hague, 1968; е г о ж е, On cyclical rules in derivational morphophonemics, сб. «Phonologie der Gegenwart», Wien, 1967; A. V. I s a č e n k o, East Slavic morphophonemics and the treatment of the jers in Russian, IJSLP, 13, 1970; е г о ж е, Morpheme classes, deep structure and the Russian indeclinables, IJSLP, 14, 1971. Все эти и им подобные работы в конечном итоге восходят к первому «спорождающему» (хотя этот термин тогда еще не существовал) описанию фрагмента славянской морфологии — известной работе Р. О. Якобсона «Russian conjugation» («Words», 4, 3, 1948).

<sup>13</sup> Другие примеры см. в работе «„Surface structure“ and „deep structure“».

<sup>14</sup> В транскрипции не отражаются особенности, не относящиеся к теме данной работы. Глубинные структуры глагольных основ выведены из «основных основ» (basic stems) Р. О. Якобсона.

два существенных преимущества. Во-первых, усечение производится вполне автоматически: отсекается сегмент, следующий за морфемным швом, без необходимости перечислять каждый отсекаемый фонологический отрезок в отдельности (-и-, -иаа-, -ова-, -ну- и т. д.); тем самым становится ясно, что усечение — процесс морфологический, а не фонологический (т. е. отсекаются морфемы, а не цепочки фонем)<sup>15</sup>. Во-вторых, правильные формы усеченных производящих основ во многих случаях появляются тоже вполне автоматически, без привлечения каких-либо дополнительных морфонологических правил. Это касается не только появления [г] и [д] в таких формах, как *визг* и *приезд*, но и всех случаев диспалатализац и ж а ц и ж; иначе говоря, целая морфонологическая разновидность оказывается фикцией. Приведем примеры:

	Исходная форма	Производная основа
(1в)	<i>xod + i</i> <i>v'izg + ja</i> <i>pr'ijezd + jaj</i>	<i>xod-</i> ( <i>ход</i> ) <i>vizg-</i> ( <i>визг</i> ) <i>pr'ijezd-</i> ( <i>приезд</i> )
(2в)	<i>razluk + i</i> <i>zaslug + i</i> <i>zasuz + i</i>	<i>razluk-</i> ( <i>разлука</i> ) <i>zaslug-</i> ( <i>заслуга</i> ) <i>zasuz-</i> ( <i>васуза</i> )
(3в)	<i>r'ov + e</i> <i>zud + i</i> <i>br'uzg + ja</i>	<i>r'ov-</i> ( <i>рѣва</i> ) <i>zud-</i> ( <i>зуда</i> ) <i>br'uzg-</i> ( <i>брюзга</i> )

Таким же образом выводятся *ремонт* (с твердым [т]) и *контроль* (с мягким [л']) из глубинных форм

*remont + trova* → *remont*  
*kontrol' + trova* → *kontrol'*

Если же выводить эти существительные из поверхностных форм *ремонтирова-контролирова-* (с одинаково мягкими [т'] и [л']), остается неясным, почему в первом случае получается твердый согласный, а во втором мягкий.

Итак, оказывается, что разновидность (в) совпадает с разновидностью (а) — в обоих случаях происходит усечение производящей основы без дальнейших изменений:

(1а)	<i>pr'il'iv + aj</i>	— <i>pr'il'iv-</i>
(1в)	<i>pr'ijezd + jaj</i>	— <i>pr'ijezd-</i>
(2а)	<i>igr + aj</i>	— <i>igr-</i>
(2в)	<i>zaslug + i</i>	— <i>zaslug-</i>
(3а)	<i>zaik + aj...sa</i>	— <i>zaik-</i>
(3в)	<i>br'uzg + ja</i>	— <i>br'uzg-</i>

В обоих случаях (а) и (в) достаточен один и тот же нулевой суффикс {θ}, т. е. оказывается вовсе ненужной морфонема {w}; тем самым число нулевых суффиксов уменьшается на три (отпадают суффиксы {w} м-II, {w} ж-I и {w} о-I). Это достигается одним только приемом: приведением производящих основ в их глубинной форме.

Рассмотрим теперь случаи так называемой внутренней диспалатализации [*забрать* (*заберут*) — *забор*, *опереться* — *опора*, *обожраться* — *обжора*]. За незначительными исключениями (вроде *течь*, *текут* — *ток*) оказывается, что все производящие основы данного типа (г) отличаются такой фонологической структурой, которая целиком отсутствует в разновидности (а), а именно почти все производящие основы разновидности (г) содержат чередующуюся морфонема «гласный ~ нуль» (*бить* = {b' ≠ j}),

<sup>15</sup> Подробнее см.: А. В. Исаченко, Роль усечения в русском словообразовании.

*запить* = {zap' # j}, *запереть* = {zap' # r}, *забрать* = {zab' # ra} <sup>16</sup>, *учесть* = {uč' # t}, *поджечь* = {pod # ž # g}, *роптать* = {rop # t}, *шептаться* = {šop # t} и т. д.) <sup>17</sup>. Некоторые глаголы данной разновидности проявляют нерегулярные соотношения между основой инфинитива и основой настоящего времени (*запереть* — *запрут*, но *забрать* — *заберут* и т. п.), по это целиком относится к сфере словоизменения, а не словообразования.

Если все производящие основы данной разновидности отличаются специфической фонологической структурой, не встречающейся ни в каких других разновидностях, то это значит, что мы вправе отнести и их морфологические особенности целиком за счет этой фонологической структуры, т. е. оказывается ненужным особый ряд «внутренне-диспалатализирующих» суффиксов; тем самым общее число нулевых суффиксов снова уменьшается на три.

В словах данной разновидности наблюдаются два морфологических процесса. Первый из них вполне естествен: чередующаяся морфонема «гласный ~ нуль» ({#}) производящей основы становится полноценным гласным {o} в положении перед нулевым суффиксом {θ} м-II ({zap' # j} — {zapo}, {uč' # t} — {učot}, {pod # ž # g} — {podžog} и т. д.) <sup>18</sup>. Такая фиксация первоначально чередующейся морфонемы в одном из своих вариантов — характерный для славянского словообразования морфологический процесс.

Второй морфологический процесс, однако, кажется менее естественным. Он состоит в том, что парные мягкие согласные перед чередующейся морфемой «гласный ~ нуль» становятся твердыми (*бить* — *бой*, *запереть* — *запор* и т. д.). Непарные согласные, конечно, остаются незатронутыми этим процессом: *учесть* — *учет*, *поджечь* — *поджог*, *принять*, *примут* — *прием* (*učot-*, *podžog*, *pr'ijom-*). Этот процесс с точки зрения современной русской морфологии загадочен: такие чередования не в конце, а внутри производящей основы в современном русском языке крайне редки <sup>19</sup>. Заметим попутно, что отверждение этих парных мягких согласных нельзя отнести за счет появившегося после них гласного заднего ряда {o} из {#}; наоборот, правило отверждения должно действовать до правила вокализации {#} в {o}, так как иначе правило отверждения охватит такие формы, как *рѣва*, давая неправильное \**рова* и т. д. [т. е. по правилу отверждения [p'] в *запереть* — *запор*, произойдет также отверждение [p'] в *реветь* — \**рова* (вместо *рѣва*)]. Любопытно, что отверждение предпоследнего согласного основы происходит там, где последний согласный является сонорным или глайдом (*запой*, *забор*), а там, где последний согласный является взрывным (т. е. [+ consonantal] [— vocalic]), пред-

<sup>16</sup> О глубинной структуре глаголов типа *брать* — *берут*, *звать* — *зовут* см.: D. S. W o r t h, On the morphophonemics of the Slavic verb, «Slavia», 39, 1, 1970.

<sup>17</sup> В примерах *роптать* — *ропот* и *шептаться* — *шепот* чередующаяся морфонема «гласный ~ нуль» ({#}) хотя и представлена в глагольной основе, но не проявляется в формах глагольного словоизменения, так как в этих формах отсутствуют нужные для вокализации {#} → o условия (положение перед # или ф). См. «скрытое» [л] в слове *солнце*, не проявляющееся в формах склонения этого слова, а всплывающее на первом этапе в образованном от этого слова имени прилагательном *солнечный* (с [лн']). Таких «скрытых» морфем немало в славянской морфологии. Случаи вроде *принять* — *прием* также можно рассматривать как содержащие основу {pr'ij # m}, {#} которой тоже проявляется только в словообразовании (исчезновении {j} перед {m} в *приму* — регулярное явление русской фонетики).

<sup>18</sup> Имеются и исключения: гласный {i} в *жать* — *жим*, морфонема {#} в *заять* — *займ*, *нанять* — *наём* (ср. род. падеж *займа*, *найма*). В разновидности (3а) имеется нерегулярное чередование {o} с {a}: *раззеваться* — *раззѣва* (а не [e] — [a], как пишут авторы ГСРЛЯ, см. *зѣвать* — *зѣва*, *раззеваться* — *раззѣва* (Ушаков), доказывающее существование коренного гласного {o}).

<sup>19</sup> Подобные чередования наблюдаются в глагольном видообразовании: *нести* — *носить*, *вести* — *водить* и т. п.

последний согласный сам оказывается или глайдом, или непарным взрывным, т. е. во всяком случае согласным, не подлежащим отвердению (*учёт, заем* = {zaj} ≠ m} и т. п.)<sup>20</sup>. Как интерпретировать это своеобразное дополнительное распределение — не ясно. Поскольку разница между первой и четвертой морфонологическими разновидностями (а), (г) зависит целиком от фонологических различий в их производящих основах, одна и та же суффиксальная морфонема {θ} будет достаточной для обоих случаев.

Итак, при помощи точного морфонологического описания глубинной структуры производящих основ удалось свести три морфонологические разновидности к одной [случаи разновидности (в) с диспалатализацией и разновидности (г) с внутренней диспалатализацией оказались идентичными с разновидностью (а)]. Этим, по-видимому, и исчерпывается роль морфонологической структуры производящих основ в нашем описании.

В нашем морфонежном алфавите остаются три единицы: {θ} (не меняющая формы производящих основ или меняющая ее в полной зависимости от фонологических особенностей последних), {j} (вызывающая переходное смягчение) и {i} (вызывающая непереходное смягчение). Две последние единицы также находятся в условиях дополнительной дистрибуции, а именно: переходное смягчение имеет место в морфологических типах (1) и (2) (*плакать* — *плач*, *вопить* — *вопля*; *пропадать* — *пропажа*, *ловить* — *ловля*), тогда как непереходное смягчение происходит в третьем и в четвертом морфологических типах (*разинуть* — *разиня*, *записать* — *запись*, *текут* — *течь*). Этот факт в свою очередь означает, что можно обойтись единственной палатализирующей морфемой в суффиксах; переходность — непереходность палатализации выводится автоматически из морфонологического типа производного имени. Иными словами, вместо {j} и {i} нужна только {i}. Благодаря этому уменьшается и число суффиксов, и число элементарных единиц, из которых строятся суффиксы.

Надо признать, однако, что в таком решении имеется недостаток, а именно неестественность морфологических окружений, определяющих переходность и непереходность смягчения. Оказывается, что в первом склонении смягчение бывает переходным в словах женского рода (*пропадать* — *пропажа*, *ловить* — *ловля*) и непереходным в словах общего рода (*разинуть* — *разиня*, *заснуть* — *засоня*). Тип смягчения, таким образом, как будто зависит от грамматической категории рода, но трудно себе представить сколько-нибудь естественные причины для такого положения вещей. Есть, однако, способ хоть до некоторой степени снять неестественность этого дополнительного распределения. Поскольку в третьем морфонологическом типе имеются, по-видимому, только основы, кончающиеся на {п} (т. е. не различающие переходный и непереходный типы смягчения), мы вправе отнести случаи *разинуть* — *разиня*, *заснуть* — *засоня* к непереходному, а к переходному типу смягчения. Дополнительная дистрибуция в таком случае получается более естественная: непереходное смягчение имеет место в словах третьего склонения, а переходное смягчение — во всех остальных случаях.

Подведем итоги. Вместо четырех морфем {θ}, {j}, {i}, {w} оказываются нужными всего две: непалатализирующая {θ} и палатализирующая {i}. Оба варианта производят усечение производящих основ<sup>21</sup>. Все дальней-

<sup>20</sup> Исключение: *течь, текут* — *ток*.

<sup>21</sup> Как справедливо замечает А. А. Зализняк, можно было бы образовать все существительные, о которых идет речь в данной работе, не от специфически глагольных основ типа {v'izg + ja}, а от более абстрактных общих основ типа {v'izg}, в таком случае из морфематики выпадают все правила усечения. Вопрос о направленности русского словообразования нуждается, на наш взгляд, в коренном пересмотре.

шие изменения выводятся из фонологической структуры основ или же из морфологической структуры суффиксов (т. е. из типов склонения). Дискалатализация («обратное чередование») не существует вовсе. Остаются семь суффиксов: {θ} м-II, {i} м-II, {θ} ж-I, {i} ж-I, {θ} о-I, {i} о-I, {i} ж-III. Но разницу в грамматическом роде внутри первого склонения можно вывести из семантической характеристики производных основ — это нетрудно доказать; таким образом остается всего пять словообразовательных суффиксов, а именно:

- {θ}-II: *прилив, пуск, ход, визг, прогад, забор*
- {i}-II: *плач, вопль*
- {θ}-I: *игра, беседа, разлука, заслуга, опора;*  
*зѣва, вапка, рѣва, брюзга, обжора*
- {i}-I: *пропажа, ловля; рязня, засоня*
- {i}-III: *брань, молвь; запись, течь.*

Итак, вместо тринадцати разных нулевых суффиксов, строящихся из четырех разных морфем (плюс показатели склонения и рода), у нас оказывается всего пять суффиксов, строящихся только из двух морфем (плюс показатели склонения). Это, как нам кажется, и есть максимально эксплицитное, экономное и естественное описание морфологии нулевой аффиксации в современном отглагольном словообразовании имен существительных<sup>22</sup>. Достигается оно исследованием структурных особенностей всех трех компонентов словообразовательной системы: производящих основ, словообразовательных аффиксов и правил морфологических преобразований<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> За рамками настоящей дискуссии остаются некоторые нерегулярные случаи вроде *сеять — сев, помочь — помощь*.

<sup>23</sup> Автор благодарит А. А. Зализняка, Е. А. Земскую, Вяч. Вс. Иванова, Б. А. Успенского и других коллег, читавших настоящую работу в рукописи или принимавших участие в ее обсуждении и сделавших ряд ценных замечаний.

Б. А. УСПЕНСКИЙ

## ПЕРВАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (Неизвестная русская грамматика 30-х годов XVIII в.)

1. Хорошо известно, что грамматические описания русского — а не книжного церковнославянского — языка появились сравнительно недавно. Наибольшей известностью среди них пользуется, несомненно, «Российская грамматика» М. В. Ломоносова (СПб., 1755; фактически вышла в свет в 1757 г.). Доломоносовских грамматик русского языка вообще очень мало, причем все известные до сих пор грамматики написаны на иностранных языках, т. е. предназначены для иноязычного читателя, практически заинтересованного в описании именно живой разговорной речи, а не книжных языковых норм. Сюда относятся следующие сочинения: а) грамматика Г. В. Лудольфа 1696 г. — на латинском языке; б) очень фрагментарный очерк И. С. Горлицкого 1730 г. — на французском языке; в) краткая грамматика В. Е. Адодурова 1731 г. — на немецком языке и, наконец, г) грамматика М. Грëнинга 1750 г., на шведском языке — наиболее обстоятельная из перечисленных<sup>1</sup>. Очевидно, между тем, то принципиальное значение, которое имеет появление грамматического описания, составленного непосредственно на русском языке: появление грамматики на родном языке знаменует кодификацию норм живой речи и представляет собой тем самым кардинальный этап в истории литературного языка.

Первой грамматикой такого рода принято считать грамматику Ломоносова. Это мнение в известной мере поддерживается заявлением самого Ломоносова, который и сам считал, по-видимому, свою грамматику первой. В черновых набросках предисловия к «Российской грамматике» Ломоносов писал: «Сю грамматику не выдаю я за полную, но только опытъ, ибо еще никакой нѣтъ, кромѣ славенской [имеется в виду грамматика Мелетия Смотрицкого. — Б. У.] и малинькой въ лексиконѣ [имеется в виду грамматика Адодурова 1731 г. — Б. У.], весьма несовершенной и во многих мѣстахъ неисправной» (на месте последнего слова первоначально стояло: «несправедливой»). И в другом месте того же черновика читаем: «Меня хотя другіе мои главныя дѣла воспящаютъ отъ словесныхъ наукъ, однако видя, что ни хто не принимаетъ, а многіе того ...» (фраза не окончена)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. подробное описание названных сочинений: В. О. Unbegaun, *Russian grammars before Lomonosov*, «Oxford Slavonic papers», VIII, 1958; В. П. Вомперский, *Неизвестная грамматика русского языка И. С. Горлицкого 1730 г.*, ВЯ, 1969, 3. Вопреки иногда высказываемому мнению, нет оснований причислять к описаниям русского языка ни «Граматику славенскую» Ф. Максимова (СПб., 1723), ни «Ръководѣніе въ грамматкѣ ...» И. Кошневича (Штольценберг, 1706).

<sup>2</sup> См. изд.: М. В. Ломоносов, *Поли. собр. соч.*, VII, М. — Л., 1952, стр. 689—691. Необходимо заметить, что несмотря на критический отзыв об адодуровской грамматике 1731 г., Ломоносов во многом использовал это сочинение, тщательно его изучая и даже конспектируя отдельные места. См.: В. Н. Макева, *История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова*, М. — Л., 1961, стр. 66, 72, 74, 90, 93, 115, 192.

Представляется возможным утверждать, что это мнение не соответствует действительности: у Ломоносова были предшественники. Грамматическое описание на родном языке было составлено более чем за пятнадцать лет до появления грамматики Ломоносова. Вместе с тем, обнаружение этого описания, как это ни парадоксально, не увеличивает списка доломоносовских грамматик — в силу того обстоятельства, что одна из перечисленных выше иноязычных грамматик русского языка неожиданно предстает как перевод этой неизвестной доселе русской грамматики.

2. В отделе рукописей Библиотеки Академии наук под шифром 16.7.3 хранится анонимное грамматическое сочинение, писанное (разными почерками) скорописью, по большей части довольно небрежной<sup>3</sup>. На первом листе рукописи значится надпись: «Сія кнѣга Ивана Сердюкова. 1738 Года»; запись эта, конечно, владельческая, но она очень важна для раскрытия обстоятельств, связанных с созданием данного сочинения. Что касается владельца рукописи, то, вне всякого сомнения, это Иван Михайлович Сердюков, инженерный деятель середины XVIII в. (ум. 1761 г.). Важно отметить, что во время написания рукописи И. М. Сердюков являлся учеником при академической гимназии, куда он поступил 4 X 1735 г. и где числился во всяком случае еще в 1739 г.<sup>4</sup>

На полях рукописи неоднократно встречаются записи, свидетельствующие о временном прекращении и возобновлении письма; эти записи в ряде случаев помечены более поздними датами. Так, на стр. 38 читаем: «зачалъ по каникула<sup>x</sup> 17<sup>го</sup> дня августъ»; на стр. 111 — «14<sup>го</sup> зач<sup>a</sup> оня<sup>t</sup> писа<sup>t</sup>»<sup>5</sup>; на стр. 112, 116, 117, 120, 124, 127, 129, 130 помечены разные числа марта и мая 1739 г. Наконец, на последней — 134-й — стр. в конце текста на полях стоит дата: «6 Junii» (очевидно, того же 1739 г.). Итак, 1738 г., помеченный на первом листе, обозначает, по-видимому, начальную дату написания рукописи: процесс написания продолжался в общей сложности до июня 1739 г.

По всей видимости, рукопись воспроизводит уже готовый оригинал. На это указывает, между прочим, и то обстоятельство, что в двух случаях имеется пропуск текста (мы можем судить о нем по проставленной нумерации параграфов), для которого писавший оставляет пустые страницы (имея в виду, вероятно, позднее вписать соответствующий текст): так, на стр. 81—110 оставлено место для пропущенных §§ 74—101, а на стр. 118—119 — для § 106 (при этом каждый раз после пропущенных страниц имеется запись писца с календарной датой)<sup>6</sup>.

Уже из сказанного видно, что интересующая нас грамматика представлена в рукописи не полностью. Если, с одной стороны, можно констати-

<sup>3</sup> Единственное известное нам упоминание о данной рукописи содержится в письме Р. О. Якобсона к Д. Н. Ушакову (без даты), сохранившемся в архиве Г. О. Винокура (ЦГАЛИ ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 372); здесь же представлены и некоторые выписки, а сама рукопись характеризуется как «очень ценная». Итак, описываемая рукопись была известна (прямо или косвенно) трем выдающимся русистам, но тем не менее осталась неисследованной.

<sup>4</sup> См.: «Материалы для истории имп. Академии наук», СПб., 1885—1900 [далее — *Материалы АН*], III, стр. 177, 262; IV, стр. 160, 265, 268.

<sup>5</sup> См. также неясную запись на полях стр. 78, кажется, аналогичного содержания, а также какую-то календарную помету на полях стр. 113.

<sup>6</sup> Текст вообще содержится на с т р а н и ц а х 1—81, 111—117, 120—134 по пагинации, проставленной чернилами (тем же почерком, что и текст), что соответствует листам 6—46, 61—64, 65 об.—72 об. по карандашной фолiaции. В дальнейшем мы ссылаемся исключительно на обозначение страниц. (В рукописи, кроме того, имеются еще буквенные сигнатуры, обозначающие порядок тетрадей, из которых спита книга; соответствующие обозначения встречаются через каждые 8 страниц.)

ровать отдельные лакуны текста, то, с другой стороны, грамматика явно не окончена. Перед нами, собственно, только первая часть грамматики русского языка, посвященная вопросам орфографии и отчасти фонетики — «Часть первая о Орфографіи», которой предпослано краткое введение, озаглавленное «О Грамматікѣ во обще». Уже само обозначение данной части грамматики предполагает продолжение; и, действительно, в тексте данной рукописи несколько раз (см. стр. 21, 50, 67, 71, 72) встречается ссылка на другую часть грамматики (в одном случае она прямо и называется «второй частью», см. стр. 50), где содержится описание морфологии. Более того, в упомянутом вводном рассуждении «О Грамматікѣ во обще» вслед за определением грамматики представлен план всей грамматики в целом (стр. 1): «Грамматіка есть такая наука, которая обыкновенную члвчскую рѣчь приводить въ обыкновенныя правила. Но понеже члвчская рѣчь состоитъ изъ разныхъ словъ, которыми другъ другу мысли свои иъъявляетъ, а всякое слово содержитъ въ себѣ одинъ или нѣсколько слоговъ, такъ какъ и слоги иѣ оной или многихъ літеръ составляютъ то надлежитъ въ Грамматікѣ перво рассу<sup>д</sup>ать о літерахъ, ихъ раздѣленіи и употребленіи, потомъ о словахъ, особливо о ихъ Главныхъ свойствахъ, о различіи между собою, послѣ о словахъ соединенныхъ, то есть о цѣлой рѣчи, а на послѣдокъ какъ всякое въ рѣчи положенное слово правильно выговариватъ».

Итак, перед нами отрывок не дошедшего до нас в полном виде сочинения.

Уже первое знакомство с данной рукописью не оставляет сомнения в том, что дело идет о грамматике именно русского языка — совершенно оригинальной и во многом революционной. Достаточно отметить хотя бы необычайно смелое по тому времени предложение упразднить буквы ер в русской орфографии — предложение, почти на двести лет опередившее его практическую реализацию! — см. §§ 4, 15, стр. 4, 7—10; четкое провозглашение фонетического принципа в орфографии — см. § 23, особенно пункт VI, § 24, стр. 12—17, ср. еще § 4, стр. 3—4, § 15, стр. 7—10, § 54, стр. 40—41, § 61, стр. 59—60; довольно последовательное различение звука («глас») и буквы («литера»), о чем говорится в § 3, стр. 3<sup>7</sup>; и т. п.

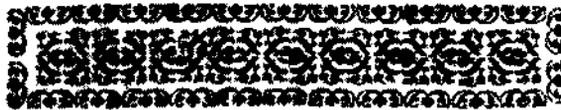
Эта грамматика характеризуется вообще отчетливым противопоставлением церковнославянских и русских форм [см., например, рассуждение о соотношении местоименных форм *сей* — *этот* (§ 49, на полях стр. 36), *ю* — *я* (§ 66, стр. 71); или противопоставление глагольных форм с приставками *воз-*, *пре-* и соответствующих форм с *вз-*, *пере-* (§ 110, стр. 124), ср. также соотнесение глаголов с приставкой *из-* и глаголов с приставкой *вы-* в § 61, стр. 62] — и явной ориентацией на собственно русскую языковую стихию. Весьма показательна в этой связи ссылка на «нынешнее (герр.: обыкновенное, общее) употребление», которую неоднократно встречаем в тексте (см., в частности, стр. 124, 130, 15, 16, 44, ср. также стр. 19, 59).

3. Итак, перед нами начало первой грамматики русского языка на родном языке. Но ближайшее рассмотрение данного сочинения приводит к еще более неожиданному выводу: оказывается, наша грамматика дословно совпадает с одной из известных науке иноязычных доломоновских грамматик русского языка — а именно, с упоминавшейся выше грамматикой Михаила Грёнинга, изданной в Стокгольме в 1750 г.<sup>8</sup> Иначе говоря, грамматика Грёнинга оказывается не оригинальным сочинением, как это до сих пор считалось, а переводом на шведский язык

<sup>7</sup> Замечательно, что автор грамматики может различать графически звук *э* и букву *е* (например, на стр. 46, 50); иначе говоря, здесь могут наблюдаться элементы транскрипции.

<sup>8</sup> Michael Groening, *Russisk grammatik. Thet är Grammatica Russica eller Grundelig Handlingning til Ryska Språket...*, Stockholm, 1750.





Om  
GRAMMATICAN  
i Samen.

§ 1.

**G**rammatican är en Konst et lärda et tal efter wis-  
sa Regler och ut nått Skriften.

2. Om som et tal består af bestilte ord, genom hvilka  
men förstås som under uttrycker: samt hvar et och  
ett bestilte en eller något bestilte: bestilternes åter  
en eller flera sammansatta bestilte: Så blir man först  
i Grammatican lärda bestilte, thena inledning och  
bestilte, som till följande orden, »Schwerigen thers påstund  
opplider och följande af smilne; från the flewode orden,  
the de, et tal tal, och återigen från hvar et ord ut et tal  
the bestilte bestilte morda.

3. Om som Grammaticans inledning i thes wis-  
sa riter, som Orthographien, Nomenclogien, Syn-  
taxen och Proledien, uttrycker.

§ 2. 4. End

Рис. 2. Тот же текст в шведском переводе (в изд. M. Groening. Российская грамматика. Thei ar Grammatica Russica.., Stockholm, 1750, стр. 1).

(стр. 4). Это б у к в а л ь н о повторяет Гренинг в соответствующем параграфе, хотя очевидно, что у него под рукой были более близкие примеры произношения взрывного [g], чем мало что говорящая шведскому читателю ссылка на фонетику польского языка: достаточно было бы сослаться на родной язык Гренинга. Ср. здесь: «... bokstafwen r, som ar i sitt uttal lika med et Latinskt eller Palskt g, thet ar, then äger en medelton emellan Ryska bogstafwerne g och k ...» (стр. 5).

Еще пример такого же рода. В § 57 (см. стр. 55 русского текста) обсуждение необходимости различать между *e* и *ѣ* заканчивается следующим выводом: от их смешения произойдет непреодолимая трудность не только для иностранцев, но и для природных русских, почему «имѣ<sup>м</sup> мы бо<sup>ль</sup>шею причину оста<sup>т</sup>са при пре<sup>ж</sup>не<sup>м</sup> употреблений си<sup>х</sup> ли<sup>т</sup>ер<sup>н</sup>». Гренинг дословно повторяет этот вывод («... hafwe wi störra orsak, at blifwa wid these bokstafwers förra bruk», стр. 29) — не замечая того, что вывод этот, вполне уместный, если исходит от русского, звучит по меньшей мере странно в устах иностранца, от которого, к тому же, никак не зависят возможные реформы русской орфографии.

Аналогично в § 58 (стр. 55—57) русской грамматики идет речь о том, что различение в произношении гласных *ы* и *и* представляет значительную

трудность для иностранцев, «пото<sup>му</sup> что недостае<sup>т</sup> имъ въ свое<sup>м</sup> языкѣ онаго гласа которой наше<sup>му</sup> ѡ свойстве<sup>нно</sup> приличенъ», тогда как русские легко могут различать пары типа *был* и *бил*, *сыр* и *сир*, *сыт* и *сит*: «мы с<sup>ю</sup> рад<sup>ю</sup>стью очень легко познаваемъ, мы ясно слыши<sup>м</sup> что літерою ѡ изображае<sup>т</sup>-ся гласъ посредстве<sup>нный</sup> между літера<sup>ми</sup> *у* и *и* ...». В соответствующем параграфе грамматики Грëнина (стр. 30) на месте последней фразы читаем: «Man kan thenna åtskillnaden [имеется в виду различие между приведенными словами. — Б.У.] mycket lätt begripa, när man gifwer åckt på uttalet; ty wi höre tydeligen, at bokstafwen ѡ uttrycker en medelton emellan bokstafwerne *у* och *и*». Грëнинг буквально перевел слово «мы», которое в оригинале относится, конечно, к носителям языка, т. е. к русским, в одном случае безличным «man», а в другом — местоимением «wi»: в результате цитированная фраза в грамматике Грëнина прямо противоречит тому, что было сказано непосредственно раньше.

Кажется, уже и независимое рассмотрение подобных мест в стокгольмской грамматике могло бы привести к выводу о том, что в ее основе лежит какой-то русский источник<sup>11</sup>.

Соответственно можно предположить, что и те — немногие — разночтения, которые обнаруживаются в стокгольмской грамматике по сравнению с имеющимся в нашем распоряжении русским текстом, объясняются скорее всего не инициативой Грëнина (ее, кажется, не было вовсе), а тем, что в его руках был д р у г о й с п и с о к грамматики; что наша грамматика могла вообще расходиться в списках, об этом свидетельствует определенным образом уже и описанная выше рукопись. Наиболее разительный пример такого отличия находим в § 8, где в русском источнике указывается, что в русском языке 9 гласных (причем имеются в виду б у к в ы): а, е, и, ї, о, у, ѡ, э, ѳ; тогда как в шведском тексте указано 6 гласных (причем явно имеются в виду з в у к и, хотя и говорится о гласных буквах — «sielfljudande b o k s t a f w e r»): а, э, и или ї, о, у, ѡ. В других случаях речь идет о небольших вставках, которые имеем в издании Грëнина по сравнению с нашей рукописью, причем в ряде случаев эти вставки повторяют содержание других параграфов: такие вставки находим в § 5 (причем соответствующий текст в большой степени повторяет содержание § 4, ср. еще § 72), в § 8 (данный текст отчасти соответствует содержанию §§ 12, 49, 55), а также в §§ 7 и 15. Вместе с тем в шведском издании отсутствуют отдельные фразы, имеющиеся в русском списке, именно в § 107 (определение слова) и в § 103 (фраза о выносных буквах *с* и *г* при написании под титлой); наконец, если первая часть грамматики Грëнина оканчивается § 114, то русский текст оканчивается § 118, т. е. у Грëнина пропущены §§ 115—118, где речь идет о знаках препинания.

Особенно показательно в связи с интерпретацией подобного рода расхождений одно место в § 55 грамматики (см. стр. 41—43 русского списка или стр. 25 шведского текста), где обсуждение произносительного различия букв *е* и *ѣ* сопровождается отсылкой к тому, что было сказано по этому поводу выше, в начальных параграфах грамматики: «... мы еще въ само<sup>м</sup> пачалѣ а именно при радѣленїи літеръ уже ияснили въ чемъ оная

<sup>11</sup> Некоторые места грамматики Грëнина вообще невозможно понять адекватным образом, если не обращаться к ее русскому оригиналу. Так, в § 45 (стр. 21) читаем: «... hafwer плачу, uti Secunda Persona Indicativi Modi Perfecti temporis плакаль». Странное для грамматиста, и, казалось бы, ничем не оправданное (применительно к русскому языку) упоминание о втором лице прошедшего времени представляет собой результат порчи текста: в соответствующем месте русского текста (стр. 31) имеем: «плачу имѣеть во второ<sup>м</sup> лицѣ наклоненїа иясвите<sup>ннаго</sup> времени настоящаго плачешь, въ прош: вр: плака<sup>ль</sup>». Иначе говоря, в шведском тексте выпал при переводе кусок фразы русского оригинала («... времени настоящаго плачешь...»).

ра<sup>3</sup>ность состои<sup>т</sup>», — указывает автор грамматики, — «и какое между ими [т. е. литерами *e* и *t*. — *B. U.*] находи<sup>т</sup>ся схо<sup>д</sup>ство». И далее подробно пересказывается содержание того, что уже было сформулировано ранее. Однако одно из тех рассуждений, на которые здесь делается ссылка, — а именно, рассуждение о том, что буква *e* есть «гласная, которая и<sup>3</sup>являе<sup>т</sup> простой то<sup>3</sup>ко чл<sup>3</sup>вческой глас<sup>ь</sup>», хотя и получает в определенных случаях «силу д<sup>3</sup>воегласного», — о т с у т с т в у е т в имеющемся русском списке грамматики; оно наличествует, между тем, в соответствующем параграфе (§ 8) шведского текста, который в данном случае предстает как более полный. Можно предположить, таким образом, что это рассуждение имело<sup>сь</sup> и в русском оригинале и что соответствующее различие русского текста и шведского издания объясняется в данном случае исключительно разницей в русских списках, а не последующей редактурой шведского переводчика.

Мы вправе предположить далее, что и другие части грамматики Грёнинга, посвященные морфологии («*Andra Delen. Om Etymologien*», стр. 71—172) и синтаксису («*Tredje Delen. Om Syntaxi*», стр. 173—178), — также представляют собой перевод не дошедшего до нас продолжения данной грамматики. Достаточно показательны в этом смысле уже ссылки на это продолжение, которые имеются как в русском тексте грамматики, так и в соответствующих местах издания Грёнинга. Так, говоря в § 56 о правописании букв *e* и *t*, наш грамматист указывает, что в определенных случаях это зависит не от фонетики (он настаивает вообще на звуковом различении указанных букв), а от морфологии: так, после предлогов *na*, *pri*, *po*, *o* должно писать *t*, даже если слуху слышится *e*: «надобно тогда вм<sup>3</sup>есто *e* писа<sup>т</sup> д<sup>3</sup>воегласное *t* что учини<sup>т</sup>я всегда бе<sup>3</sup> всякого погр<sup>3</sup>шенія какъ то во второй части граматіки о<sup>т</sup> свойства склоненій и предлого<sup>в</sup> ясные вид<sup>3</sup>т<sup>3</sup> можно буде<sup>т</sup>» (стр. 50)<sup>12</sup>. Но точно такую же ссылку мы находим — естественно — и в соответствующем параграфе грамматики Грёнинга: «*så bör man tå i stället för e skrifa tweljudande bokstafwen t, hwilket sker alltid utan något fel, som uti Grammaticans andra Del af Declinationernes och Præpositionernes egenskap kan tydeligare finnas*» (стр. 28). Аналогичные ссылки на морфологическую часть грамматики можно встретить и в §§ 34, 63, и дважды в § 66 (см. стр. 21, 67, 71, 72 русского текста, отвечающие соответственно стр. 16, 34 и 36 стокгольмского издания). Очевидно, таким образом, что вторая часть грамматики Грёнинга в принципе также должна соответствовать не дошедшему до нас русскому оригиналу. То же с вероятностью может быть предположено и в отношении совсем небольшой третьей части, посвященной синтаксису и занимающей всего 6 страниц. При этом та близость шведского текста к русскому оригиналу, которая обнаруживается в первой части грамматики, позволяет догадываться о такой же близости и других ее частей.

Сформулированные предположения получают дополнительные подтверждения ниже в связи с обсуждением авторства рассматриваемого сочинения. Мы увидим, что как отдельные фразы в первой части грамматики, которые имеются в шведском тексте, но отсутствуют в тексте русском, так и ее вторая и третья части, — находят соответствие в сочинениях предполагаемого автора нашей грамматики, откуда естественно полагать вообще, что соответствующий текст принадлежит именно данному автору, а не М. Грёнингу, выступавшему только в качестве переводчика.

<sup>12</sup> Разрядка в цитатах здесь и далее принадлежит автору статьи.

4. Кто же был автором данной грамматики? Есть все основания считать, что им является Василий Евдокимович Адогуров (или Адагуров, Атагуров, как его иногда именуют).

Отметим сразу же, что если принять это предположение, становится понятной и легко объяснимой близость грамматики Грёнинга к краткой грамматике Адогурова 1731 г.<sup>13</sup>, давно замеченная исследователями<sup>14</sup>. В частности, как констатировал Унбегаун, вторая часть грамматики Грёнинга, посвященная морфологии («Om Etymologien», стр. 71—172), не может считаться оригинальной, поскольку она обнаруживает непосредственную зависимость от грамматики Адогурова 1731 г.<sup>15</sup>. Еще в большей степени это замечание может быть отнесено к третьей части стокгольмской грамматики («Om Syntaxi», стр. 173—178), которая в большинстве случаев д о с л о в н о соответствует тому же очерку Адогурова (отличаясь главным образом лишь увеличением и в некоторых случаях изменением приводимых примеров). Для иллюстрации этого соответствия достаточно сопоставить начало синтаксического раздела в том и в другом источнике:

Г р а м м а т и к а    А д о д у р о - в а 1731 г. (стр. 46)	Г р а м м а т и к а    Г р ё н и н г а (стр. 173)
--	--

Die Syntaxis lehret, wie ich eine Rede recht zusammen setzen soll. Zu dem Ende giebt sie gewisse Regeln an die Hand, wornach ich mich richten muß. Es sind aber einige die allen Sprachen gemein...

Syntaxis wisar huru man et tal ordenteligen sammansätta skal, och therföre gifwer then wiða Reglor wid handen, hwilka man noga följa och i akt taga bör. Somlige af dem äro alla Språk enlige...

Оригинальной вообще считалась до сих пор только первая часть грамматики Грёнинга, посвященная орфографии<sup>16</sup>, и именно потому, что в кратком очерке Адогурова 1731 г. соответствующий раздел дан предельно сжато (он занимает всего 4 страницы — против 65 страниц грамматики Грёнинга). Мы видим, однако, что как раз эта — наиболее оригинальная, по мнению исследователей, — часть грамматики Грёнинга во всяком случае представляет собой простой перевод грамматики русского автора!

Но если в грамматике Адогурова 1731 г. вопросы орфографии почти не затронуты, то достоверно известно, вообще говоря, что он специально занимался орфографией. Так, в мае 1740 г. в своем рапорте Академии наук Адогуров сообщал: «Продолжаю начатое о<sup>т</sup> меня сочинение о приведении

въ и<sup>з</sup>вѣстныхъ правилъ Россійскаго правописанія, которыя прои<sup>з</sup>вожу я о<sup>т</sup> самаго свойства и<sup>н</sup>шего языка и утвержденныхъ на оно<sup>м</sup> неспоримыхъ основаній» (Архив АН СССР, разряд I, оп. 70, № 1а, л. 49). Точно так же и Н. И. Новиков указывал в своем «Историческом словаре» (изданном еще при жизни Адогурова)<sup>17</sup>, что Адогуров, «будучи адъюнктом Академии

<sup>13</sup> См.: «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» в изд. «Deutsch-Lateinisch- und Russisches Lexicon...», СПб., 1731.

<sup>14</sup> См.: И. Д а в ы д о в, Предисловие..., в изд.: «Грамматика русского языка академике М. В. Ломоносова 1755 года. Изд. Вторым отделением имп. Академии наук в воспоминание столетия русской грамматики», СПб., 1855, стр. XVIII; И. Б а л и ц к и й, Материалы для истории славянского языковедения, Киев, 1876, стр. 18; В. О. У н б е г а у н, указ. соч., стр. 114—115; е г о ж е, Einleitung, в изд.: «Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts», München, 1969, стр. XII—XIV.

<sup>15</sup> См. довольно подробное сопоставление обеих грамматик в работе: В. О. У н б е г а у н, Russian grammars..., стр. 115.

<sup>16</sup> Там же, стр. 114; В. У н б е г а у н, Einleitung, стр. XII.

<sup>17</sup> Н. Н о в и к о в, Опыт исторического словаря о российских писателях, СПб., 1772, стр. 2.

наук [Адогуров был адъюнктом в 1733 — 1741 г. — *Б. У.*], сочинил „Правила российской орфографии“. Соответствующее сочинение с теми или иными коррективами и могло войти в качестве первой части в грамматику русского языка.

Не подлежит сомнению вообще то обстоятельство, что Адогуров принимал ближайшее участие в разработке и установлении норм русской орфографии (т. е. специальных правил правописания гражданских текстов, в принципе противопоставленной орфографии церковнославянских книг) и, может быть, даже являлся в 30-е годы их основным законодателем.

Предположение об авторстве Адогурова подтверждается, наконец, целым рядом разительных текстуальных совпадений рассматриваемого сочинения — о котором мы можем теперь судить как по найденному русскому списку, так и по его шведскому переводу в первой части грамматики Грѣнинга, — с другими сочинениями Адогурова. Помимо упомянувшегося уже грамматического очерка Адогурова 1731 г., мы располагаем еще двумя его неопубликованными заметками (см.: Архив АН СССР, разряд I, оп. 76, ед. хр. 7; или совершенно идентичный список — там же, разряд V, оп. А-10, ед. хр. 1). Одна из этих заметок, датированная 11 III 1737 г., посвящена употреблению букв ъ и ѣ, другая — применению польской орфографической системы при транскрибировании русских текстов (но не латинизации русского алфавита, как это иногда неправильно понимается!). Ниже эти заметки обозначаются соответственно как «Заметка о ъ и ѣ» и «Заметка о транскрипции».

Одной из показательных иллюстраций совпадения исследуемой грамматики с адогуровскими сочинениями может служить, например, рассуждение о функции буквы ъ (см. § 15 грамматики), которое соответствует прежде всего вышеупомянутой специальной записке Адогурова на ту же тему от 11 III 1737 г. Ср.:

Грамматика (стр. 8):

Все его [ера.— *Б. У.*] употребленіе состоит то́лько въ сложеніи рѣчей которыя складываются изъ предлога кончающагося на літеру согласную и изъ другаго слова начинающагося о́т літеры гласныя въ такіхъ рѣченіяхъ поставляется ъ после онаго предлога и чрезъ то согласное кончащее предлогъ о́т слѣдующаго гласнаго о́дѣляется, а слѣдовательно и къ произношенію такіхъ сложныхъ словъ подается нѣкоторая способность... на примѣръ слово *подъемаю* которое складывается изъ предлога *подъ* и глагола *емлю* въ срединѣ послѣдней літеры *д*... знакъ... имѣетъ которой показываетъ что... *д* въ произношеніи на́лежитъ до гласн: *о* а не до слѣдующаго гласнаго *е*...

Заметка о ъ и ѣ (л. 1):

Она [буква ъ.— *Б. У.*] въ сложныхъ словахъ, которыя состоятъ изъ предлога кончающагося на согласную, и изъ слова начинающагося съ гласной, съ предлогомъ ставится, и такимъ образомъ... различаетъ согласную, которою предлогъ кончится, отъ гласной послѣдующаго слова, слѣдовательно... способствуетъ къ правильному произношенію такихъ сложныхъ словъ, напримеръ: въ словѣ *подъемаю*, которое слагается изъ предлога *подъ* и глагола *емлю* ... літера ъ... въ срединѣ поставленная... показываетъ, что літера *д* при произношеніи принадлежитъ къ предыдущей гласной *о* а не къ послѣдующей *е*...

Далее в шведском переводе грамматики следует фраза, отсутствующая в нашем русском списке: «... samt at thetta ordet utsäges *под-емлю*, och intet *по-демлю*» (см. стр. 9 издания Грѣнинга). Эта фраза, между тем, точно соответствует продолжению цитируемой заметки 1737 г.: «и тако читается

*подъемлю* а не *по-демялю*»; вместе с тем она находит соответствие и в аналогичном месте адодуровского очерка 1731 г.: «*подъемлю wird gelesen podjetliu nicht podetliu*» (стр. 5). Этот случай подтверждает высказанное выше предположение о том, что различия между шведским и русским текстом исследуемой грамматики обусловлены различием списков, а не инициативой переводчика (Грëинга); ниже будут приведены и другие случаи подобного рода.

Аналогичное совпадение нашей грамматики с обоими сейчас процитированными сочинениями Адодурова — с заметкой о ъ и ь и с очерком 1731 г. — наблюдаем и в рассуждении о букве ь (см. § 14). Ср.:

Г р а м м а т и к а (стр. 7):

ь имѣтъ силу половину гласныя літеры і то есть ея гласъ или звонъ въ прои³пошеиіи продо³жае³ся то³ко на половину времени должнаго гласному і и того ради признавае³ся она не за сове³ше³но но токмо за по³гласную літе³ру, когда она прикладывае³ся къ которой нибуд³ согласных³ літе³ тогда глас³ оныя согласныя въ прои³пошеиіи н³ско³ко умягчае³т и притомъ д³лае³тъ различіе и въ само³ знаменованіи словъ такъ слово *братъ* ра³нствуетъ о³ слова *братъ*...

З а м е т к а о ъ и ь (лл. 1—1 об.):

Литера ъ... имѣтъ половинной звонъ гласной і ибо ону выговаривать должно вполвину времени противъ того въ какое гласная і произносится изъ сего слѣдуетъ что литера ъ сама собою... ни какого звону не имѣтъ, но токмо предыдущую согласную впроизношеиіи н³ско³ко умягчае³тъ, и потому сія литера въ старинных³ славенских³ грамматиках³ съ довольнымъ основаніемъ за совершенную гласную не положена..., сверхъ показанной разности въ звонѣ, при согласных³ отъ сея литеры происходящемъ, д³лае³тъ она такъже д³ствительную разность и въ самых³ словах³ напримѣръ *братъ* и *братъ*...

См., наконец, о том же и в очерке Адодурова 1731 г.: здесь говорится, что буква ъ «*wird wie ein halb verschlungenes J ausgesprochen, als *bratъ* lie³ *bratj* ...*» (стр. 5).

Совершенно так же указание в § 58 нашей грамматики, что «літерою ы изображае³ся гласъ посредственный между літерами *у* и *и*», равно как замечание о своеобразии соответствующего русского звука и о той трудности, которую он представляет для иностранцев, несомненно, восходит к сообщению в очерке 1731 г. (стр. 5), где говорится, в частности, что ы произносится как *иу* при одновременной артикуляции (причем имеется в виду польское звучание соответствующих латинских букв). Ср. здесь: «*Ы ist ein Buchstab, welcher der Rußischen Sprache ganz eigen ist. Die Pohden [sic! должно быть: «Pohlen». — Б. У.] exprimiren ihn durch ein у. Eigentlich aber ist seine Pronunciation wie ein Уу, so daß diese Vocale gleichsam zusammen gegossen werden. Beßer läßt sich die Aussprache davon mündlich lehren*». Ср. также в заметке Адодурова о транскрипции указание, что ы произносится «как короткое *и*» (л. 3).

Аналогичным образом в сочинениях Адодурова находит соответствие и указание о произношении букв *е* и *ѣ*, которые отождествляются в начале слога, но противопоставляются в позиции после согласного. См. в § 49 исследуемой грамматики: «е употребляется въ природ³ных³ руски³х³ р³ченіях³ какъ въ началѣ тавъ [sic! читай: «такъ». — Б. У.] въ срединѣ и въ концѣ. Когда оно полагае³ся въ началѣ или также въ середѣ [sic!] и въ концѣ слова, но послѣ какого нибуд³ гласново или д³огласново тогда получае³

силу писмени доегласного и выговаривае<sup>т</sup>ся такъ бу<sup>д</sup>то бы и<sup>а</sup> *ї* и *е* сложено было какъ на примѣ<sup>л</sup> въ слова<sup>х</sup> *единъ*, *ученіе*, *удиненіе*, а когда *се* *е* полагае<sup>т</sup>ся въ срединѣ или въ концѣ слова по послѣ<sup>д</sup> какой нибудь согласной літеры тогда выговаривае<sup>т</sup>ся чисто и совѣ<sup>р</sup>шенно такъ какъ простое гласное то есть безъ примѣ<sup>с</sup>а къ оно<sup>му</sup> літеры *ї* какъ на прим: въ словѣ *дерево*; *э* употребляе<sup>т</sup>ся то<sup>л</sup>ко въ чужестранны<sup>х</sup> реченія<sup>х</sup> а выговаривае<sup>т</sup>ся во всѣ<sup>х</sup> случаяхъ такъ какъ наше *е* послѣ<sup>д</sup> писмени согласнаго положеннаго» (стр. 34—36; ср. стр. 22 шведскаго перевода). Далее в § 55 говорится о букве *ѣ* — «ѣ есть писмя доегласное для того что оно два разныя гласа вмѣ<sup>ст</sup>ѣ соединяетъ а літ: *е* гланая [sic] должно быть: «гласная». — Б. У.] которая и<sup>з</sup>являетъ простой то<sup>л</sup>ко члвческой гласъ ... *ѣ* сълі<sup>т</sup>: *е* токмо въ таки<sup>х</sup> случа<sup>х</sup> имѣ<sup>т</sup> сходное прои<sup>з</sup>ношеніе когда *е* находи<sup>т</sup>ся въ началѣ слова или послѣ<sup>д</sup> какого нибудь писмяни гласнаго и что оно тогда силу доегласнаго получае<sup>т</sup> такъ бу<sup>д</sup>то бы и оно и<sup>а</sup> *ї* и *е* состояло о<sup>т</sup> сего разсужденія можемъ мы то уже дово<sup>л</sup>но видѣ<sup>т</sup> что літ: *ѣ* и *е* ме<sup>ж</sup> собою весьма разнствуютъ и что никоторой и<sup>а</sup> ни<sup>х</sup> во всѣ<sup>х</sup> случаяхъ вмѣ<sup>ст</sup>о другой упо<sup>т</sup>ребля<sup>т</sup> и слѣ<sup>д</sup>ова<sup>т</sup>ельно за и<sup>з</sup>лишнюю счита<sup>т</sup> не мо<sup>ж</sup>но» (стр. 42; ср. стр. 25 шведскаго перевода). Иначе говоря, различіе данных букв состоит в том, что буква *ѣ* смягчаетъ предшествующій согласный, тогда какъ передъ буквой *е* такого смягченія не происходитъ: читается твердый согласный<sup>18</sup>; между тем, в началѣ слога *е* и *ѣ* произносятся одипаково (какъ «двугласныя», по выраженію нашего грамматиста, т. е. какъ йотированный гласный звук). Ср. такое же указаніе в адодуровском очерке 1731 г.: «*E* wird von Anfang einer jeden Silbe wie *Je* gelesen, als *edinъ*, ließ *jedin*, sonstn aber am Ende der Silben wie ein schlechtes *E* ausgesprochen, als *ectество* wird gelesen *jestestwo*; *вернее*, ließ *werchneje*» (стр. 4); между тем, о букве *ѣ* здѣсь говорится, что она произносится «wie *Je* im Teutschen» (стр. 5). Точно такъ же в замѣткѣ Адодурова о транскрипціи лаконично сообщается, что *е* произносится какъ польское «*ie* вначалѣ а на концѣ слога какъ *e*», между темъ какъ *ѣ* соответствуетъ здѣсь *je* (л. 2 об. — 3); позиция «на концѣ слога», несомненно, соответствуетъ в данномъ случаѣ положенію после согласнаго.

Введеніе буквы (диграфа) *іѳ* для обозначенія звука [o] в позиціи после мягкаго согласнаго или [j] — см. § 97 нашей грамматики<sup>19</sup> — мы находим и в адодуровской замѣткѣ о транскрипціи, где эта буква завершаетъ перечень букв русскои азбуки. Употребленіе этой буквы было регламентировано орфографическими правилами 1738 г., к составленію которыхъ Адодуров имѣл, кажется, самое непосредственное отношеніе. Адодуров, по всей видимости, можетъ считаться вообще изобретателемъ буквы *іѳ* (ср. изобретеніе Карамзинымъ буквы *ѣ* шестюдесятью годами позже). Очень вероятно при этомъ, что соответствующій принципъ былъ заимствованъ Адодуровымъ изъ польскои орфографіи: достаточно характерно, что данный диграфъ едва ли не впервые появляется именно в запискѣ, рекомендующей «выраженіе русскіихъ литеръ по польскому манѣру». Необходимо подчеркнуть революціонный характеръ и большое принципиальное значеніе даннаго нововведенія, знаменующаго своеобразную легитимацию русскои некнижной фонетики, т. е. признаніе возможности включенія ее в сферу литературнаго (письменнаго) языка.

<sup>18</sup> Ср.: Б. А. Успенскій, указ. соч., стр. 29—35.

<sup>19</sup> О содержаніи даннаго параграфа, однако, можно судить только по шведскому переводу Грѣвнига (см. стр. 54 стокгольмскаго изданія), такъ какъ в русскои оригиналѣ соответствующее место представлено лакуной (иначе говоря, этотъ параграфъ приходится здѣсь на пустыя страницы, которые должны были быть дописаны позднее).

Наконец, весьма знаменательное совпадение рассматриваемого сочинения с адодуровским очерком 1731 г. можно обнаружить в разделе, посвященном сокращенным (подтительным) написаниям (§ 105). Среди традиционных сокращений мы находим одно совсем необычное: «дѣка — девка» (см. стр. 115 русского списка; это сокращение, между прочим, отсутствует в соответствующем месте перевода Грёнинга, см. здесь стр. 60). Точно такая же аббревиационная форма показана и в соответствующем разделе краткой грамматики Адодурова 1731 г. (стр. 7) — при том, что это сокращение не встречается ни в каком другом грамматическом сочетании. Данная форма представляется вообще достаточно характерной: она находится, по-видимому, в определенной генетической связи с специфическими скорописными аббревиационными формами, т. е. сокращениями, употребляемыми исключительно в скорописных текстах<sup>20</sup>.

Возвращаясь к уже обсуждавшейся проблеме, следует особенно подчеркнуть, что и те немногочисленные места в первой части стокгольмского издания, которые отсутствуют в соответствующем русском тексте (см. о них выше, стр. 90—91) и в принципе могли бы, таким образом, рассматриваться как интерполяции Грёнинга, — в целом ряде случаев обнаруживают совпадения с адодуровскими сочинениями. Выше (стр. 93—94) мы уже отмечали один такой случай (пример с произношением слова *подъѣмлю* в § 15); совершенно так же замечания о буквах *и, 1, 8, ѡ*, которые имеются в § 8 издания Грёнинга (но отсутствуют в русском списке), находят соответствие в аналогичных указаниях адодуровского очерка 1731 г. (стр. 4—5); предложение включить в азбуку букву *г* для передачи взрывного [g] (§ 5) отсутствует в русском списке грамматики, но зато содержится в том же очерке (стр. 3—4); не вполне обычная по своему составу азбука старой печати, приводимая в § 5 шведского текста, но отсутствующая в нашей рукописи, в точности соответствует, опять-таки, очерку 1731 г. (стр. 3); указание о возможности исключить из азбуки буквы *ѵ* и *ѿ* (§ 5), также отсутствующие в русском списке, находят соответствие в заметке Адодурова о транскрипции (отчасти и в очерке 1731 г.). Подобные примеры подтверждают как предположение об авторстве Адодурова, так и предположение о том, что различия между соответствующими русским и шведским текстами обусловлены, скорее всего, не инициативой Грёнинга.

5. Итак, рассматриваемая грамматика представляет собой простую грамматику Адодурова. С одной стороны, эта грамматика отражает, видимо, дальнейшую работу автора над вопросами языка после выхода в свет его очерка 1731 г. Следует иметь в виду при этом, что уже при издании этой первой своей грамматики Адодуров располагал определенным материалом для более подробного трактата. В заключительном абзаце названного очерка (стр. 48) Адодуров сообщал читателям, что в данном издании изложены только начальные сведения по русскому языку, но что соответствующих правил имеется вообще гораздо больше; по условиям объема их изложение приходится оставить для более обширного сочинения, а до тех пор автор просит читателя довольствоваться этим кратким очерком. Значит, уже и в то время Адодуровым предполагалось напи-

<sup>20</sup> В этой связи заслуживают особого внимания ссылки на практику скорописи, которые несколько раз встречаются в нашей грамматике (см., например, § 15, стр. 9, и § 105, стр. 113—114) и в известных случаях могут служить ее автору оправданием того или иного формулируемого им принципа. Показательно, в частности, что предлагая упразднить написание конечного ера, наш грамматист ссылается именно на прецедент подобного написания в скорописных текстах (§ 15). Можно полагать, что противопоставление скорописного и книжного письма, воспринимавшееся в свое время в самой непосредственной связи с противопоставлением книжного и не книжного языка (так же, как и более позднее противопоставление церковной и гражданской азбуки печатных книг), в значительной мере определило вообще характер представлений о русском языке в первых опытах кодификации живой речи.

санне пространной грамматики русского языка и была начата работа в этой области.

С другой стороны, написание данной грамматики могло быть ближайшим образом связано с деятельностью Российского собрания при Академии наук (образовано в 1735 г.), активным членом которого был Адодуров. Одной из основных задач, стоящих перед данным собранием, было именно создание грамматики русского языка. Адодуров тем более способен был выполнить эту задачу, что а) у него был уже довольно большой задел к данной работе в виде очерка 1731 г., а также упомянутых материалов, не вошедших в данный очерк; б) он пользовался признанным авторитетом в области кодификации русской литературной речи<sup>21</sup>; в) он продолжал вплотную заниматься лингвистическими вопросами (об этом свидетельствуют хотя бы цитированные его заметки, а также редакторская работа над переводом немецкой грамматики, выразившаяся, в частности, в разработке русской грамматической терминологии).

По сенатскому указу в июле 1737 г. Адодурову было поручено дважды в неделю обучать при сенате сенатских и коллежских юнкеров «грамматики славянской и латыни читать»<sup>22</sup>; можно полагать, однако, что дело шло в действительности об обучении русскому языку, так как в академическом реестре на 1737 г. (от 31 XII 1737 г.) указывается, что Адодуров должен «обретающихся при правительствующем сенате юнкеров обучать по дважды в неделю в чтении и писании российского диалекта»<sup>23</sup>. Уже в следующем году Адодуров должен «российскому языку учить» в публичных лекциях, возобновляемых с 1 VI 1738 г. в так называемом академическом университете<sup>24</sup>, причем, по свидетельству самого Адодурова, он принужден «все, что до того надлежит, сам в новь сочинять»<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> См., например, отзывы Адодурова на славяно-русский лексикон Егера (1742 г.) или на перевод «Флориновой генеральной экономики» (1734 г.) (см.: Материалы АН, II, стр. 485—486, V, стр. 45—46, ср. также III, стр. 572). Как видно из последнего отзыва, Адодуров рассматривал переводческую деятельность как важное средство в выработке норм русского литературного языка (такой взгляд отвечал, в сущности, и предназначению Российского собрания, см. там же, II, стр. 633). В справке об Адодурове, поданной Академией наук в кабинет императрицы в мае 1740 г., отмечается, что он «к переводам ученых дел и к приведению в большее совершенство русского языка с немалой пользою употреблен быть может» (там же, IV, стр. 408—409). Любопытно, что в 1740 г., в числе «книг, которые академия наук для употребления при гимназии еще 19-го марта 1739-го года изготовить приказала и доныне при гимназии не находятся, наряду с учебниками по логике, истории, риторике, упоминается «Собрание российских писем, господина Адодурова» — по-видимому, какое-то учебное пособие по русской словесности (там же, IV, стр. 482).

Достаточно знаменательно, наконец, и то, что именно Адодурову было поручено в 1744 г. преподавать русский язык невесте наследника престола — будущей императрице Екатерине II. См. воспоминания об этом и, в частности, о внимании Адодурова к произношению в кн.: «Записки императрицы Екатерины Второй», СПб., 1907, стр. 48, 210, 225.

<sup>22</sup> Материалы АН, III, стр. 425; ср. еще VI, стр. 451.

<sup>23</sup> Там же, III, стр. 572.

<sup>24</sup> Там же, III, стр. 723; при этом назначение Адодурова на эту должность оправдывается тем, что «никто из профессоров в российском языке потребного к наставлению искусства не имеет, см. допосение Синоду от Академии наук 31 V 1738 г. в кн.: М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. II, Сб. ОРЯС, т. 14, СПб., 1875, стр. 407—408.

<sup>25</sup> «По приказу главного академии командира... фон Корфа, и по рассуждении академии наук, — доносил Адодуров 15 VII 1738 г. — положена на меня сия должность: чтоб по всякой вторник, среду, четверток и субботу публично в академии показывать надлежащие до российского языка правила, а по совершении оных, толковать на том же языке реторнику. К исполнению которого дела принужден я все, что до того надлежит, сам вновь сочинять, и на то употребить тем больше времени, что в сем, как весьма новом деле, по сие время еще никакого предводителя не имею, которому бы в том можно было последовать» (Материалы АН, III, стр. 755).

Эти лекции Адодуров продолжает читать в 1739<sup>26</sup> и 1740 гг., причем в справке об Адодурове 1740 г. прямо говорится о создании Адодуровым новой русской грамматики: согласно этому отчету, адъюнкт Адодуров «по силе опубликованной июня 1-го дня 1738-го года росписи академических лекций, по четыре дни в неделю, а именно: по вторникам, по средам, по четверткам и по пятницам, по утру с 8 до 9 часов, в российском языке наставление дает, а сверх того еще новую грамматику, для способнейшего изучения сего языка, делает»<sup>27</sup>. Нет никаких сомнений, что речь идет здесь именно о нашей грамматике. Работа над ней велась, таким образом, еще в 1740 г.<sup>28</sup>; значит, обнаруженный русский список представляет один из ранних ее вариантов<sup>29</sup>. При этом текстологическое сопоставление исследуемой грамматики с заметкой Адодурова о буквах *ъ* и *ь*, показывает, что грамматика была написана позднее указанной заметки, следовательно, после марта 1737 г. Непосредственным стимулом к написанию данной грамматики могли быть публичные лекции при Академии наук 1738—1740 гг. Вместе с тем, первая часть грамматики Адодурова, посвященная вопросам орфографии, могла быть подготовлена им в связи с орфографической реформой 1738 г. (ср. выше)<sup>30</sup>. Итак, по всей вероятности, грамматика была написана не ранее 1738 г.; если это так, то описанная рукопись, принадлежавшая И. Сердюкову, представляет собой один из самых первых ее списков.

Адодуров, кажется, не вел занятий в академической гимназии до августа 1740 г., когда ему поручается преподавать здесь математику<sup>31</sup>, но И. Сердюкова он мог знать и раньше — хотя бы как земляка (они оба из Новгорода). Очень вероятно, что Сердюков посещал лекции Адодурова в академическом университете (следует иметь в виду, что возобновление публичных лекций при Академии наук в 1738 г. было вызвано как раз тем, что некоторые ученики академической гимназии оказались в состоянии слушать профессорские лекции<sup>32</sup>, т. е. эти лекции и были предназначены в какой-то степени для гимназистов). Можно предположить, что Адодуров вообще давал грамматику своим слушателям для переписывания; во всяком случае, он мог ее дать своему земляку Ивану Сердюкову. По-видимому, он давал ее переписывать по частям, по мере изложения курса; наконец, он мог просто диктовать свое сочинение слушателям, как это делал, например, несколько позднее Ломоносов. Отсюда могут объясняться пустые страницы с пропущенным текстом в рукописи Сердюкова и, вместе с тем, характер некоторых исправлений, представленных в тексте. Если принять предложенное объяснение, то следует заключить, что Адодуров начал писать данную грамматику в 1738 г. (между тем как подготовительные работы велись им еще в конце 20-х годов), продолжал писать ее в

<sup>26</sup> См. Материалы АН, IV, стр. 91 (данные относятся к апрелю 1739 г.).

<sup>27</sup> Материалы АН, IV, стр. 408—409 (данные относятся к маю 1740 г., т. е. к тому же времени, что и цитированный выше рапорт Адодурова о работе над правилами орфографии).

<sup>28</sup> Между тем, в справке о занятиях Адодурова, поданной Академией наук в июле 1741 г. (см. там же, IV, стр. 710), данная грамматика уже не указывается. По-видимому, к тому времени она была окончена. Вместе с тем осенью 1740 г. прекратились и публичные лекции при Академии наук.

<sup>29</sup> Это обстоятельство позволяет объяснить отдельные (отмеченные выше) расхождения данного списка со шведским переводом. В руках М. Грэнинга мог быть более поздний список.

<sup>30</sup> Следует иметь в виду, что именно первая часть была, по-видимому, написана заново, так как другие части грамматики представляют собой распространение соответствующих разделов адодуровского очерка 1731 г.

<sup>31</sup> См.: Материалы АН, IV, стр. 448—449, 452—453; VI, стр. 525.

<sup>32</sup> См.: Д. А. Толстой. Академический университет в XVIII столетии по рукописным документам Архива Академии наук, СПб., 1885, стр. 11.

1739 г. (ср. записи с упоминанием разных чисел 1739 г. в нашей рукописи) и в 1740 г. (ср. цитированное выше свидетельство самого Адодурова); окончена она могла быть в 1740 или по крайней мере в первой половине 1741 г.

Наконец, если грамматика Адодурова расходилась в списках среди учеников гимназии, то таким образом она могла попасть и к Грёнингу, который преподавал в академической гимназии с 1743 г. — сначала немецкий, а затем (с 1745 г.) и французский язык<sup>33</sup> (следует заметить, что Адодуров к тому времени уже оставил академическую службу и находился вне Петербурга). Перевод данной грамматики не должен был составить для полиглота Грёнинга никакого затруднения, поскольку он превосходно владел русским языком<sup>34</sup>. К тому же, он вообще, по-видимому, практиковался в переводе русской лингвистической литературы: так, например, в библиотеке Упсальского университета хранился сделанный им перевод на шведский язык предисловия к трехязычному букварю Ф. Поликарпова (М., 1701)<sup>35</sup>.

6. Автор настоящей статьи ставил перед собой следующие задачи: обосновать самый факт существования доломоновской грамматики русского языка на родном языке; показать, что грамматика Грёнинга представляет собой не оригинальное сочинение, а перевод этой грамматики на шведский язык; наконец, доказать, что автором данной грамматики был В. Е. Адодуров. В рамках этой статьи невозможно было произвести подробный анализ содержания рассмотренной грамматики и показать ее соотношение с другими грамматическими сочинениями; но уже по приведенным примерам можно судить о характере грамматики Адодурова, а в какой-то степени и о ее оригинальности. Замечательно, что, как и у Ломоносова, научные интересы Адодурова лежали прежде всего в области точных знаний (Адодуров был адъюнктом по кафедре высшей математики; еще в 1728 г. Бернулли отмечал его математические способности). В обоих случаях это способствовало самостоятельному взгляду на языковые факты, отказу от слепого следования славянской грамматической традиции. Вместе с тем и непосредственный контакт с западноевропейскими языками, несомненно, способствовал научному описанию родного языка, в какой-то мере определяя, может быть, и характер нормализаторской деятельности Адодурова<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> См. Материалы АН, VII, стр. 463—464, 570—571, 617, V, стр. 797, VI, стр. 601.

<sup>34</sup> О знании Грёнингом русского языка см. отзывы современников (правда, иностранцев) в Материалах АН (VII, стр. 460, 601, 618), а также свидетельство самого Грёнинга (там же, VII, стр. 463—464). При Академии наук Грёнинг числится сначала (в 1740 г.) «толмачом», т. е. устным переводчиком; причем переводит, в частности, и на русский язык (там же, IV, стр. 532, V, стр. 13, VI, стр. 515), а затем, с 1743 г., «переводчиком» (там же, VI, стр. 570—571), причем, опять-таки, ему приходится переводить на русский (там же, VII, стр. 323). В гимназии он, между прочим, «поправляет немецкие и российские переводы учебников» (там же, VII, стр. 680—681) и преподает французский язык по-русски (там же, VII, стр. 618). М. Грёнинг (1714—1778) пробыл в России почти 20 лет: он приехал в Петербург в 1729 г. пятнадцатилетним юношей (см.: Материалы АН, V, стр. 682—683) и получил здесь образование в каком-то воспитательном заведении (см. заметку о нем И. Микколы в «Tietosanakirja», II, Helsinki, 1906, столб. 1614); в 1748 г. он выехал в Стокгольм (Материалы АН, IX, стр. 140, 235—238).

<sup>35</sup> См.: А. Ј е п с е н, Die Anfänge der schwedischen Slavistik, AfsIph, XXXIII, 1—2, 1912, стр. 159.

<sup>36</sup> В 1743 г. Адодуров вспоминал о своих академических занятиях: «Я при Академии наук учился языкам латинскому, немецкому и французскому и притом имел случай собственные мои недостатки в правильном употреблении природного нашего языка несколько усмотривать и оные в себе по возможности исправить» (см.: П. П. П е к а р с к и й. История имп. Академии наук в Петербурге, I, СПб., 1870, стр. 511).

Есть основания думать, что грамматика Адодурова не осталась незамеченной современниками и отразилась в последующих грамматических сочинениях. Правда, эта грамматика была, по-видимому, неизвестна Ломоносову<sup>37</sup>. Между тем, ее определенно использовал Тредиаковский в своем «Разговоре об орфографии» 1748 г.; следы знакомства с данной грамматикой (может быть, не непосредственного) можно, кажется, обнаружить и в трудах А. А. Барсова. Рассмотрение этих связей должно составить, однако, предмет специального исследования.

---

<sup>37</sup> Ломоносов встречался с Адодуровым в 1736 г., но отношения их были, вероятно, чисто официальными: Адодурову был поручен надзор за учениками, присланными в Академию из московских духовных школ, в числе которых недолгое время был Ломоносов (см. Материалы АН, III, стр. 169—170); важно отметить, что русский язык этим ученикам в то время не преподавался. Когда в 1738 г. некоторым из них решили преподавать русский язык (см. там же, стр. 678), Ломоносов был за границей. Между тем, когда Ломоносов вернулся, Адодуров уже оставил академическую службу.

А. С. ГАРИБЯН

СИСТЕМА СКЛОНЕНИЯ ИМЕН ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

(К типологической характеристике армянской морфологии)

Древнеармянское слово (за исключением глагольного инфинитива) в словарной форме не носит никаких морфологических признаков в результате выпадения индоевропейского последнего слога на армянской почве, что, в свою очередь, было следствием перемещения ударения с последнего слога на предпоследний<sup>1</sup>. Поэтому невозможно установить принадлежность древнеармянского слова в прямой форме к той или иной части речи, если исходить лишь из формы слова. Например:

<i>gari</i>	«ячмень» сущ.	<i>bari</i>	«добрый» прилаг.
<i>kaysr</i>	«император» сущ.	<i>nosr</i>	«редкий (не частый)» прилаг.
<i>anasun</i>	«животное» сущ.	<i>hisun</i>	«пятьдесят» числит.

Омонимичны также многие косвенные падежные формы с прямыми, например: *sṛni* «ось» (им. п.), *sṛti* «сердца» (род. п.), *katu* «кошка» (им. п.), *aygu* «сада» (род. п.). Естественно, чтобы понять и разобраться в армянских словах и словоформах, необходимо исходить из содержания слова. Это правило обязательно для тех, кто берется изучить армянский язык, независимо от того, какого он придерживается лингвистического направления.

Выпадение последнего гласного или слога в именах видоизменило в древнеармянском языке индоевропейскую именную основу, лишив ее морфемного признака. Но по тому же закону перемещения ударения с последнего слога на предпоследний наращенный к именной основе элемент индоевропейского род. падежа на армянской почве выпадает, и в армянском род.-дат. падежах восстанавливается эта индоевропейская именная основа. Это сыграло огромную роль при формировании типологии древнеармянского склонения. Приведем лишь несколько примеров<sup>2</sup>.

* <i>mbho'-</i> /* <i>nbho'</i> .	{	им. п.	<i>amp</i>	«небо»
		род.	<i>ampoy</i> <sup>3</sup>	
* <i>niso-</i>	{	им. п.	<i>nist</i>	«сидение»
		род.	<i>nistoy</i>	

<sup>1</sup> Об этом А. Мейе писал: «Существенное изменение индоевропейского облика слова на армянской почве обязано ударению... Еще в весьма древний период доисторической эпохи в армянском языке утвердилось ритмическое ударение на предпоследнем слоге индоевропейских слов. Это ударение имело два принципиальных последствия: 1) Гласный элемент последнего слога выпал во всех случаях, и, следовательно, даже там, где от последнего слога остается консонантный и сонантный элемент, многосложное индоевропейское слово, как правило, теряет один слог в армянском языке; санскритскому *raṅsa*, греч. *ῥαγς* «пять» в армянском соответствует форма *hing...*; 2) Иные вокалические элементы слогов, предшествующих последнему слогу (древний предпоследний слог), подвергаются изменениям» (А. Мейе, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Vienne, 1936, стр. 19—20).

<sup>2</sup> Р. Ачарян, Корневой словарь армянского языка, II—VI, Ереван, 1924—1932 (на арм. яз.).

<sup>3</sup> у после гласных *a, e, o* является результатом дифтонгизации этих гласных в конце слова, так как древнеармянские имена не терпят чистых гласных в ауслaute. Бывают случаи, когда ауслautное *-eu* отражает и.-е. *-et*, например: арм. *bereu* «он приносит», ср. санскр. *barati*; лат. *feret*, русск. *берет*).

*k'ērdi-	{	им. п.	sirt	«сердце»
	{	род.	srti	
*stēr-	{	им. п.	astl	«звезда»
	{	род.	astēl	
*dhug'hātēr-	{	им. п.	dustr	«дочь»
	{	род.	dster	
*vedo-	{	им. п.	get	«река»
	{	род.	getoy	

Сравнивая формы им. и род. падежей армянских имен с индоевропейской основой, нетрудно заметить, что армянское имя в им. падеже утратило конечный гласный или гласный элемент конечного слога индоевропейской основы, а в род.-дат. восстанавливает его. Например: и.-е. \*kerdi «сердце» на армянской почве, утратив конечный гласный -i в им. падеже, превращается в sirt, а в род.-дат. восстанавливает этот гласный — srti «сердца»; то же происходит и в слове \*dhughatēr «дочь»: в армянском в им. гласный e утрачивается — dustr «дочь», а в род.-дат. он восстанавливается — dster «дочери». Отсюда нетрудно заключить, что индоевропейские конечные гласные в род. падеже армянского языка переосмыслились в самостоятельную морфему — в показатель типа склонения, который мы называем «флексией» и обозначаем через *f*. Эта флексия получается либо путем возникновения в конце или внутри слова гласных или дифтонга, либо в результате перехода дифтонгов *ay > a*, *oy > e*, *ay > aw* и т. д.

Все исследователи морфологии древнеармянского языка, и крупнейшие из них А. Мейе, Р. Ачарян <sup>4</sup>, при разборе древнеармянского склонения рассматривают его морфемный состав в диахроническом разрезе, поэтому у них получаются типы склонения с основами, оканчивающимися на гласный и согласный. За основу древнеармянского склонения берется индоевропейское состояние морфемного состава имен, и в результате этого исчезает из поля зрения подлинный лингвистический тип древнеармянского именного склонения. Для конструирования системы склонения древнеармянских имен необходимо морфемный состав древнеармянского имени рассматривать с позиции синхронической структуры слова в им. падеже, утратившего индоевропейский тематический гласный, и, значит, опираться на непреложный факт переосмысления в древнеармянском языке морфологических единиц индоевропейского состояния. При таком подходе древнеармянские имена в прямой форме представляют собой чистую основу и, значит, в таком виде и являются основой древнеармянского склонения. Появление деклинационных морфем уже в род. падеже не отождествляет эти морфемы с окончаниями индоевропейской основы; эти морфемы переосмыслены в показатели типов древнеармянского склонения. Поэтому в древнеармянском языке нет «согласного склонения», т. е. склонения с показателями за согласный, а есть только «гласные склонения» с показателями *a*, *e*, *i*, *o* и «дифтонговое склонение» с показателем *ow* <sup>5</sup>.

Консонантные окончания некоторых индоевропейских основ переосмыслились в падежные форманты древнеармянского языка, образуя вместе с другими, унаследованными древнеармянским языком падежными признаками систему его падежных окончаний.

При синхроническом походе к древнеармянскому склонению можно заметить, что здесь сложилась трехморфемная система склонений, т. е. морфологическая структура слова в косвенных падежах состоит из трех грамматических единиц, а именно:

<sup>4</sup> См.: Р. Ачарян. Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками, III, Ереван, 1957, стр. 394—518 (на арм. яз.).

<sup>5</sup> Для удобства изложения дифтонг *ow* будем передавать в дальнейшем через *и*.

а) из основы, или основной морфемы, представляющей прямую форму слова, например, *Tigran*, *dustr* «дочь» (ср. и.-е. позднее \**dhuik'ter*), *net* «стрела», *get* «река, вода» (ср. и.-е. \**vedo-*), *awr* «день» (ср. и.-е. \**amor-*). Такую основу мы обозначаем через *A*;

б) из показателей типа склонения — *a*, *e*, *i*, *o*, *u*; их мы обозначаем через *f* (флексия), следовательно:  $f = a, e, i, o, u$ ;

в) из падежных окончаний:

Для ед. числа: им. п. — нулевое окончание; род.-дат. п. <sup>6</sup> — или ноль<sup>7</sup>, или одно из следующих окончаний — *n*, *ĵ*, *nĵ*; отложит. п. — *eu* или ноль (причем отложит. падеж без предлога не употребителен — если склоняемое слово начинается с согласного, перед ним, для выражения основного значения, ставится раздельно предлог *i*; если же слово начинается с гласного, то предлог имеет форму *y* и пишется слитно со склоняемым словом; например: *i kherēy* «от сестры», *yaŋney* «от мужа, мужчины»); твор. п. — *v* (после конечного гласного *o*), *w* (после конечных гласных *a*, *e*, *i*), *b* (после конечных согласных).

Для мн. числа: им. п. — *kh*, прибавляемое обычно к формам им. и род. падежей ед. числа; род.-дат. и отложит. падежи — *ç*, прибавляемое обычно к формам род.-дат. падежей ед. числа; вин. п. — *s*, которое заменяет *kh* в форме им. падежа мн. числа; твор. пад. — *kh*, прибавляемое к формам твор. падежа ед. числа, в результате чего получаются окончания *vkh*, *wkh*, *bkh*.

Таким образом, структура косвенной падежной формы древнеармянского склонения может быть представлена в виде формулы:  $A + f + a$ . К примеру возьмем слово *kin* «жена», считающееся обычно в грамматиках древнеармянского языка принадлежащим к неправильному склонению. В род.-дат. падеже имеем форму *kənoĵ*. Применяя к этой структуре вышеприведенную формулу, получаем: им. п. *kin*; род.-дат. п.  $kənoĵ = A$  (основа *kin/kən*) + *f* (флексия *o*) + *a* (аффикс *ĵ*), т. е. форма *kənoĵ* соответствует формуле  $A + f + a$ . Приведем другие примеры слов, считающихся принадлежащими к неправильному склонению:

Им.	<i>khoŷr</i>	«сестра»	<i>ayr</i>	«муж, мужчина»	<i>gıwł</i>	«село»
Род.-дат.	<i>kher</i>		<i>aŋn</i>		<i>geĵj</i>	

Применяя к ним нашу формулу, получаем:

$A = k\text{ho}\ddot{y}r^8$	$ayr^9$	$g\ddot{i}w\ddot{l}^{10}$
$f = e(k\text{he}\ddot{r})$	$a(a\ddot{r}n)$	$e(g\ddot{e}\ddot{l}\ddot{j})$
$a = \text{ноль } (k\text{he}\ddot{r})$	$n(a\ddot{r}n)$	$\ddot{i}(g\ddot{e}\ddot{l}\ddot{j})$

Отсюда:  $k\text{he}\ddot{r} = A + f + a$ ;  $a\ddot{r}n = A + f + a$ ,  $g\ddot{e}\ddot{l}\ddot{j} = A + f + a$ .

Таким образом, в приведенных примерах с точки зрения древнеармянской синхронии мы имеем не неправильное, а последовательно правильное склонение. А если так называемые неправильные склонения совпадают с требованиями формулы древнеармянского склонения, тем более не может быть сомнения в удивительной последовательности системы правильных склонений древнеармянского языка.

<sup>6</sup> У прилагательных и числительных редко, у местоимений сравнительно чаще в дат. падеже встречаем *-um/m* в качестве падежного окончания.

<sup>7</sup> В древнеармянском подавляющее большинство имен в род.-дат. падеже не имеют падежного окончания, т. е.  $a = \text{ноль}$ ; флексия (*f*) совмещает со своими функциями также функции падежного признака ( $a$ ). В результате этого произошло еще одно переосмысление вторичных морфем, что привело к трансформации флективного лингвистического типа древнеармянского языка в агглютинирующий тип современного армянского языка.

<sup>8</sup> Основа *khoŷr* получает *f* внутри слова, и *oy* трансформируется в *e*.

<sup>9</sup> Основа *ayr* получает *f* внутри слова, и *ay* трансформируется в *a*.

<sup>10</sup> Основа *gıwł* получает *f* внутри слова, и *iw* трансформируется в *i*.

Став на точку зрения синхронического разбора древнеармянского склонения, мы должны рассматривать его вне непосредственной связи с индоевропейским склонением — эта связь исследуется обычно в диахроническом плане, и она верна во всех подробностях, как в изложении у Р. А. Ачаряна, так и у других исследователей.

С синхронической точки зрения древнеармянское склонение обладает рядом неожиданных черт <sup>11</sup>:

1. Превратившись в флективные признаки древнеармянского склонения, индоевропейские тематические и нетематические окончания основ в прямой форме исчезли из армянского языкового представления. В то же время они восстанавливались в косвенных падежах, начиная с род. падежа, и при этом переосмысливались в флективный признак, т. е. приобрели морфологическое значение, указывающее лишь на флективность типа склонения, не связанную ни с одним из падежей. Они обособились от основы, не присоединились к окончаниям, составив, таким образом, независимые морфемы.

Это особенно хорошо заметно в формах твор. падежа ед. числа и во всех падежах мн. числа древнеармянских имен, например: *Tigran-a-w* «Тиграном», *dster-b* «дочерью», *net-i-w* «стрелой», *get-o-v* «рекой», *awur-b* «днем». Применяя нашу формулу, получаем ряд аналогичных равенств:

$A = Tigran-$	$dstr-$	$net-$	$get-$	$awr-$
$f = a$	$e$	$i$	$o$	$u$
$a = w$	$b$	$w$	$v$	$b$

Отсюда:  $Tigranaw = A + f + a$ ;  $dsterb = A + f + a$ ,  $netiw = A + f + a$ ;  $getov = A + f + a$ ;  $awurb = A + f + a$ . Ни одного отступления от формулы и, значит, от правил, здесь мы не видим, хотя сомнения могут вызывать формы *dsterb*, *awurb*. Однако внимательно присматриваясь к ним, замечаем, что  $f$ , т. е. флективный признак, в этих основах возник не в конце основы, как в словах *Tigran*, *net* и *get*, а внутри основы, а, следовательно, здесь попросту мы имеем классический пример того, что мы называем в и у т р е н н е й ф л е к с и е й, тогда как в остальных словах имеется в наличии в н е ш н я я ф л е к с и я.

2. Таким образом, древнеармянское склонение обладает последовательной внутренней и внешней флексией. Внутренняя флексия возникла тем же путем, что и внешняя, а именно: переосмыслением гласного конечного слога основы индоевропейской прямой формы в флективный признак древнеармянского языка. Так, например: в и.-е. *\*dhug'hātēr* в армянском ударение передвинулось с последнего слога на предпоследний: *\*dhug'hātēr* > *\*dhug'hiēr* > *\*dhūktēr* > *dhūk'ter*, в результате чего в армянском выпал  $e$  последнего слога: *dhūk'tr*; и.-е.  $k'$  в армянском через палатализацию дает  $s$  <sup>12</sup>, отсюда и арм. *dustr*: как известно, в род.-дат. падеже древнеармянского языка индоевропейская основа восстанавливается, в результате чего получается *dster* (ср. и.-е. им. п. *dhuk'tēr*), а гласный звук основы переосмысливается в флективный признак  $e$ . Тем самым складывается склонение путем внутренней флексии —  $f$  сохраняется во всех косвенных падежах ед. числа и во всех (включая и именительный) падежах мн. числа:

<sup>11</sup> Эти черты подмечены в нашей книге «Введение в изучение истории армянского языка», Ереван, 1937, стр. 108—115 (на арм. яз.).

<sup>12</sup> См., например, и.-е. *\*kava* = арм. *sag* «гусь» и др. (А. М e i l l e t, указ. [соч., стр. 37)

	Ед. число	Мн. число
Им.	<i>dustr</i>	<i>dstèrkh</i>
Род.	<i>dster</i>	<i>dsterç</i>
Дат.	<i>dster</i>	<i>dsterç</i>
Вин.	<i>dustr</i>	<i>dsters</i>
Отложит.	<i>i dsterey</i>	<i>i dsterç</i>
Твор.	<i>dsterb</i>	<i>dsterbkh</i>

3. Древнеармянский язык характеризуется наличием системы смешанного склонения. В этом случае *f* имеет по два своих признака:  $f = i - a, o - a, u - a, e - i$ . В этом случае имя получает один из первых членов приведенных пар флективных показателей во всех косвенных падежах ед. числа до отложит. падежа включительно, а в твор. падеже ед. числа и во всех косвенных падежах мн. числа — второй член такой пары. Бывают случаи, когда *f* сохраняется и в им. и вин. падежах.

Возьмем, к примеру, два слова, традиционно причисляемые к неправильным склонениям древнеармянского языка, а именно: *ereyç* «перей. священник», и *barjɾ* «высокий» (ср. и.-е. \**bhrǵ'h* + наращенный *r*).

	Ед. число		Мн. число	
Им.	<i>ereyç</i>	<i>barjɾ</i>	<i>erçunkh</i>	<i>barjunkh</i>
Род.	<i>erçin</i>	<i>barju</i>	<i>erçanc</i>	<i>barjanc</i>
Дат.	<i>erçin</i>	<i>barju</i>	<i>erçanc</i>	<i>barjanc</i>
Вин.	<i>ereyç</i>	<i>barjɾ</i>	<i>erçuns</i>	<i>barjuns</i>
Отложит.	<i>yerçin(ey)</i>	<i>i barju(ey)</i>	<i>yerçanc</i>	<i>i barjanc</i>
Твор.	<i>erçamb</i>	<i>barjamb</i>	<i>erçambkh</i>	<i>barjambkh</i>

Применяя нашу формулу, получаем:  $A = ereyç-, barj-; f = u - a -$  внешняя флексия в косвенных формах слова *ereyç*;  $f = u - a -$  внутренняя флексия в слове *barj* (*r*) (у последнего наращенный согласный *r* выпадает во всех падежах, за исключением им. и вин. ед. числа);  $a = n/m$  (появляется в большинстве форм в сочетании со вторым членом указанной пары флективных показателей), *ey, b, w, kh, ç, s, bkh*.

Как видим, смешанный тип склонения представляет собой настолько последовательную и правильную систему, что она остается неизменной даже для слов, признанных в традиционной грамматике древнеармянского языка неправильными в отношении склонения.

4. Падежное окончание род. падежа, выпавшее в большинстве слов, появляется в дальнейших косвенных падежах некоторых слов в ед. и мн. числа. Это означает, что выпадение *a* в род. падеже — явление позднейшее и, естественно, знаменует собой начало разложения классически флективного типа в склонении имен древнеармянского языка.

Итак, при рассмотрении типологии древнеармянского склонения в синхроническом аспекте можно без труда убедиться в следующем:

а. Склонение имен классического древнеармянского языка по своей структуре трехморфемное, в нем выделились специфические признаки, носящие лишь морфологическую функцию (т. е. указывающие, что слово находится в косвенной форме). Эти морфологические признаки выражаются четырьмя гласными армянского языка и одним дифтонгом, а именно: *a, e, o, i, ow*.

б. Древнеармянское склонение обладает системой внутренней и внешней флексии, проявляющейся и в простом, и в смешанном склонении.

в. Древнеармянское склонение не знает исключения и свою деклинационную систему довело до логического завершения.

Таблица 1

## Простое склонение древнеармянского языка

		Типы склонения							Падежные окончания
Число	Падеж	f = a		f = e	f = i	f = o	f = ow (u)		
		внутренняя флексия	внешняя флексия	внутренняя флексия	внешняя флексия	внешняя флексия	внутренняя флексия	внешняя флексия	
Ед. число	Им.	<i>tun</i> <sup>1</sup>	<i>Aršak</i> <sup>2</sup>	<i>dustr</i> <sup>3</sup>	<i>ban</i> <sup>4</sup>	<i>get</i> <sup>5</sup>	<i>awr</i> <sup>6</sup>	<i>ard</i> <sup>7</sup>	— n, j <sup>8</sup> , nj n, j, im — ноль или <i>ey</i> j (после согласных), v (после o), w (после a, e, i).
	Род.	<i>tan</i>	<i>Aršakay</i>	<i>dster</i>	<i>banı</i>	<i>getoy</i>	<i>awır</i>	<i>ardu</i>	
	Дат.	<i>tan</i>	<i>Aršakay</i>	<i>dster</i>	<i>banı</i>	<i>getoy</i>	<i>awır</i>	<i>ardu</i>	
	Вин.	<i>tun</i>	<i>Aršak</i>	<i>dustr</i>	<i>ban</i>	<i>get</i>	<i>awr</i>	<i>ard</i>	
	Отлож. Твор.	<i>i taney</i> <i>tamb</i>	<i>y Aršakay</i> <i>Aršakaw</i>	<i>i dsterey</i> <i>dsterb</i>	<i>i baney</i> <i>banıw</i>	<i>i getoy</i> <i>getov</i>	<i>yawrey</i> <i>awırb</i>	<i>yardu (ey)</i> <i>ardu</i>	
Мн. число	Им.	<i>tunkh</i>	<i>Aršakkh</i>	<i>dsterkh</i>	<i>bankh</i>	<i>getkh</i>	<i>awurkh</i>	<i>ardkh</i>	<i>kh</i> ç ç s ç <i>kh</i> (прибавляется к форме твор. падежа ед. числа)
	Род.	<i>tanç</i>	<i>Aršakaç</i>	<i>dsterç</i>	<i>banıç</i>	<i>getoç</i>	<i>awırç</i>	<i>arduç</i>	
	Дат.	<i>tanç</i>	<i>Aršakaç</i>	<i>dsterç</i>	<i>banıç</i>	<i>getoç</i>	<i>awırç</i>	<i>arduç</i>	
	Вин.	<i>tuns</i>	<i>Aršaks</i>	<i>dsters</i>	<i>bans</i>	<i>gets</i>	<i>awırs</i>	<i>ards</i>	
	Отлож. Твор.	<i>i tanç</i> <i>tambkh</i>	<i>y Aršakaç</i> <i>Aršakawkh</i>	<i>i dsterç</i> <i>dsterbkh</i>	<i>i banıç</i> <i>banıwkh</i>	<i>i getoç</i> <i>getovkh</i>	<i>yawırç</i> <i>awırbkh</i>	<i>yarduç</i> <i>ardukh</i>	

Примечание: <sup>1</sup> «дом»; <sup>2</sup> имя собственное; <sup>3</sup> «дочь»; <sup>4</sup> «слово»; <sup>5</sup> «река»; <sup>6</sup> «день»; <sup>7</sup> «украшение»; <sup>8</sup> Падежные окончания род. и дат. у большинства имен отсутствуют, но у некоторых слов они сохранились, как, например: *kın* «женщина» — *knoç*, *awr* «муж, мужчина» — *awrç*. Склонение на -o может иметь в род., дат. и отлож. падежах окончание на j, или же обходиться без него.

## Смешанное склонение древнеармянского языка

Число	Падеж	Типы склонения						Падежные окончания
		$f = i - a$		$f = o - a$	$f = u - a$		$f = e - i$	
		внутренней флексии	внешней флексии	внешней флексии	внутренней флексии	внешней флексии	частью внутренней и частью внешней флексии	
Ед. число	Им.	<i>anjn</i> <sup>1</sup>	<i>net</i> <sup>2</sup>	<i>aygi</i> <sup>3</sup>	<i>barjr</i> <sup>4</sup>	<i>ereyc</i> <sup>5</sup>	<i>giwl</i> <sup>6</sup>	—
	Род.	<i>anjtn</i>	<i>neti</i>	<i>aygwou</i> { <i>aygwof</i>	<i>barju</i>	<i>ericu</i>	<i>gelj</i>	<i>j</i>
	Дат.	<i>anjtn</i>	<i>neti</i>	<i>aygwou</i> { <i>aygwof</i>	<i>barju</i>	<i>ericu</i>	<i>gelj</i>	<i>j</i>
	Вин.	<i>anjn</i>	<i>net</i>	<i>aygi</i>	<i>barjr</i>	<i>ereyc</i>	<i>giwl</i>	—
	Отлож.	<i>yanjneuy</i>	<i>i netey</i>	<i>yaygwou</i> { <i>yaygwofey</i>	<i>i barju(ey)</i>	<i>yericu(ey)</i>	<i>i gelfey</i>	<i>ey</i>
	Твор.	<i>anjamb</i>	<i>netiw</i>	<i>aygeaw</i>	<i>barjamb</i>	<i>erica mb</i> <i>erica w</i>	<i>giwlw</i>	<i>w</i>
Мн. число	Им.	<i>anjnkh</i>	<i>netkh</i>	<i>ayjikh</i>	<i>barjunkh</i>	<i>ericunkh</i>	<i>giwlkh</i>	<i>kh</i>
	Род.	<i>anjanc</i>	<i>netic</i>	<i>aygeac</i>	<i>barjanc</i>	<i>ericanç</i>	<i>giwl ic</i>	<i>ç</i>
	Дат.	<i>anjanc</i>	<i>netic</i>	<i>aygeac</i>	<i>barjanc</i>	<i>ericanç</i>	<i>giwl ic</i>	<i>ç</i>
	Вин.	<i>anjins</i>	<i>netis</i>	<i>aygis</i>	<i>barjuns</i>	<i>ericuns</i>	<i>giwls</i>	<i>s</i>
	Отлож.	<i>yanjanc</i>	<i>i netic</i>	<i>yaygeac</i>	<i>i barjanc</i>	<i>yericanç</i>	<i>i giwl ic</i>	<i>ç</i>
	Твор.	<i>anjambkh</i>	<i>netiwkh</i>	<i>aygeawkh</i>	<i>barjambkh</i>	<i>erica mbkh</i>	<i>giwl iwkh</i>	<i>kh</i> (прибавляется к формам твор. пад. ед. числа)

Примечание: <sup>1</sup> «лицо»; <sup>2</sup> «стрела»; <sup>3</sup> «сад»; <sup>4</sup> «высокий»; <sup>5</sup> «перед»; <sup>6</sup> «село».

г. Отклонения, редко встречающиеся в классическом древнеармянском языке (первой половины V века), представляют собой результат влияния диалектов на письменный язык авторов (в основном, крестьянского происхождения: они говорили на диалекте, а писали на древнеармянском языке).

д. Разложение классического деклинационного типа имен древнеармянского языка начинается в период, непосредственно предшествующий созданию армянской письменности.

Следующим этапом исследования будет попытка проследить лингвистический процесс разложения классического деклинационного типа древнеармянского языка, приведшего к образованию современного армянского языка с новым лингвистическим типом.

---

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

В. И. АБАЕВ, Н. А. БАСКАКОВ, Б. Х. БАЛКАРОВ,  
Л. И. СКВОРЦОВ

### ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ КАВКАЗА

Языковое положение на Кавказе всегда отличалось особой сложностью. Здесь на сравнительно небольшой территории существует несколько десятков языков и наречий; при этом до Октябрьской революции политический, социальный и культурный уровень развития народов, говорящих на этих языках, был весьма неодинаков.

Такая сложность языкового положения исключает шаблон в подходе к социолингвистическим проблемам развития литературных языков народов Кавказа. Старописьменные литературные языки (такие, как грузинский, армянский и азербайджанский) призваны наиболее эффективно обслуживать общественную практику в условиях непрерывного политического, социального, научно-технического и культурного прогресса советского общества. Младописьменные же языки все еще нуждаются в разумном вмешательстве в самый процесс формирования и консолидации этих литературных языков, в уточнении их социальных функций, в их нормировании и совершенствовании на всех уровнях: графическом, орфографическом, орфоэпическом, морфологическом, словообразовательном, лексико-терминологическом, синтаксическом и стилистическом.

Русско-национальное двуязычие народов СССР и, в частности, народов Кавказа, в значительной степени влияет на процессы нормирования литературных языков. Роль русского литературного языка особенно важна для младописьменных языков Кавказа в процессе расширения сферы их функционирования, в первую очередь — в области науки, техники и политики.

Развитие общественных функций различных языков народов Кавказа — неравномерно развертывающийся процесс. Пути и темпы этого процесса обусловлены взаимодействием внутри- и внеязыковых факторов, характерных для того или иного периода жизни языка. В качестве примера можно сослаться на некоторые особенности современного функционирования набардинского литературного языка. Дело в том, что в развитии набардинского литературного языка обнаруживаются тенденции, характерные и для других младописьменных языков нашей страны. Выявление этих тенденций, воссоздание сложной картины становления и развития

молодых литературных языков — важная задача советского языкознания.

Кабардинский литературный язык сложился за годы Советской власти, хотя истоки его восходят к литературной деятельности Ш. Ногмова, К. Атажукина. Становление кабардинского литературного языка связано с сложением национальной письменности, создать которую оказалось возможным лишь благодаря победе Великой Октябрьской революции, принесшей кабардинскому народу не только экономическое и политическое, но и духовное раскрепощение. Выдающуюся роль в формировании кабардинского литературного языка сыграл А. Шогенцуков, который по праву считается родоначальником кабардинской советской литературы. В произведениях А. Кешокова, А. Шогенцукова, Х. Теунова, А. Шортанова и других писателей кабардинский литературный язык, впитавший все языковое богатство устного народного творчества и на базе его развивший новые выразительные средства, получил дальнейшее развитие. Романы и повести ряда кабардинских писателей и поэтов стали достоянием всесоюзного читателя и переводятся на иностранные языки. Значительны и количественные показатели этой литературы. С 1928 по 1970 гг. на кабардинском языке издано две тысячи книг и брошюр общим тиражом более семи миллионов экземпляров<sup>1</sup>; в подавляющем большинстве это произведения кабардинских поэтов и писателей.

В горниле быстро развивающейся литературы формируется художественный стиль кабардинского литературного языка.

Достигнуты значительные успехи и в развитии стиля языка обучения, который начал складываться в связи с введением родного языка в учебный план кабардинских школ и последующей коренизацией обучения сначала в начальных классах, а потом в старших. В составе Кабардино-Балкарского педагогического института, а позже в Кабардино-Балкарском университете было открыто отделение по подготовке специалистов высшей квалификации по родному языку и литературе. Для осуществления обучения на родном языке в школах и вузе составлено 20 учебников и 10 учебных пособий по кабардинскому языку и литературе. Издавались переводные учебники по всем предметам учебных планов начальных и неполных средних школ.

В своем развитии отстают пока стиль перевода общественно-политической литературы, стиль газеты и радио-телепередач. В переводах сохранялись, например, синтаксические конструкции оригинала, что нередко приводило к нарушению внутренней организации текста перевода. Наличие в большом количестве рыхлых, внутренне слабо организованных синтаксических построений, введение в язык перевода без особой надобности огромного количества непереведенных русских слов делало текст малодоступным для читателей. В последние годы наблюдается постепенное совершенствование языка перевода, газет и радио: он становится более выразительным, освобождается от излишних заимствованных слов, его синтаксический строй приводится в соответствие с общенародным.

Научный стиль кабардинского литературного языка представлен лишь в небольшом количестве школьных учебников, отчасти — в языке перевода, газет и радио. Специфику этого стиля составляет научная терминология, которая образована реже — на базе исконной лексики, чаще — на базе русских заимствований.

Важнейшим фактором языкового развития народов Кавказа в современных условиях является двуязычие. Национальные языки народов Кавказа развиваются в тесном контакте и взаимодействии с русским языком.

<sup>1</sup> «Печать СССР в годы пятилеток», М., 1971, стр. 61.

Кабардинский литературный язык, как и другие языки народов СССР, испытывает благотворное влияние русского языка, которое возрастает по мере развития двуязычия. Русский язык является одним из важнейших источников обогащения словаря кабардинского литературного языка, особенно это относится к терминологии. Прочно вошли в литературный язык такие термины, как *совет*, *колхоз*, *бригада*, *спутник* и др.; через посредство русского языка проникают интернациональные термины. Новые синонимические ряды возникают за счет вовлечения в них как кабардинских, так и заимствованных слов (*еджапIэ* — *шкIуол*, *шхалIэ* — *сталовэ*). Расширяется семантика многих кабардинских слов: *гъудже* «зеркало» и «рентген» *тхьлэ* «книга» и «документ», *пъчыгъуэ* «отрезок» и «слог».

Влияние русского языка распространяется и на грамматический строй, проявляясь в образовании новых морфологических и синтаксических моделей, приемлемых для кабардинского языка, но отличающихся от исконных, и в частности, в образовании сложных слов и конструировании сложноподчиненных предложений. Оно проявляется также в расширении значений некоторых грамматических форм, например, послеложного падежа, в увеличении словообразовательных возможностей ряда аффиксов (*кIуз-тхакIуз* «писатель», *улуакIуз* «строитель»), в активизации некоторых внутренних тенденций самого кабардинского языка.

Оценивая роль двуязычия и характер взаимодействия между русским и другими национальными языками, можно сказать вслед за Л. В. Щербой: «... многие представители братских народов и народностей, входящих в наш великий Союз, ... говорят и по-русски и тем неминуемо принимают то или другое участие в создании норм русского литературного языка и произношения»<sup>2</sup>. Русский язык — язык межнационального общения народов СССР — не только благотворно влияет на развитие других языков, но и сам в известной мере испытывает на себе их воздействие; особенно это касается лексических заимствований.

Вопросы повышения культуры русской речи у нерусского населения включают в себя прежде всего проблемы национального «акцента», интонации и др., воспитание отрицательного отношения к этнографизмам и другим словам и выражениям, засоряющим русскую речь в условиях иноязычного окружения (в устном общении, в печати, в переводческой деятельности и т. п.). Единая структура литературных норм для всех говорящих по-русски — основа теоретической и практической деятельности в области повышения культуры русской речи у нерусских. В связи с этим необходимо критически оценить встречающиеся иногда суждения, безоговорочно принимающие и оправдывающие «местные», или национальные (региональные), варианты русского литературного языка. Вместе с тем разграничение функционально и нормативно значимых (прежде всего, грамматических) и незначимых (субстрат национального языка в произношении) элементов в передаче русской литературной речи нерусскими позволяет совершенствовать культуру русской речи у нерусских, хотя для них задача говорить по-русски так, как говорят сами русские, по-прежнему остается идеальным требованием.

Благодаря общности основных тенденций развития литературных языков Советского Союза, в том числе и языков народов Кавказа, создается возможность установления общих принципов, на основе которых можно наметить дальнейшее совершенствование процессов нормирования языков. Задачи состоят:

- 1) в нормировании литературных (в особенности младописьменных)

<sup>2</sup> Л. В. Щерба, О нормах образцового русского произношения, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 111.

языков в плане соотношения литературного языка (или ведущего диалекта, который лежит в его основе) и остальных диалектов в его обогащении и развитии. Эти вопросы еще не полностью разработаны для ряда языков Кавказа (ногайский, карачаево-балкарский и др. языки);

2) в нормировании фонологической структуры литературного языка; здесь следует определить возможности введения новых фонем в связи с заимствованием интернациональной терминологии. Эта задача тесно связана с установлением орфографических норм языка, совершенствование которых, как и совершенствование алфавита, для младописьменных языков еще требует многих усилий;

3) в нормировании грамматического строя путем составления научных нормативных грамматик, отражающих особенности функционирования тех или иных грамматических форм и синтаксических конструкций, характерных для ведущего основного диалекта, а также продуктивных и перспективных форм и моделей других диалектов;

4) в нормировании лексики путем создания двуязычных толковых и терминологических словарей. Здесь важно установить принципы разработки терминологии, что подразумевает определение основных источников ее обогащения, и этого нельзя сделать, не выявив тенденций развития лексики родного языка и в связи с этим — необходимую степень заимствования интернациональной и русской лексики и терминологии, обуславливающую создание общего фонда лексики и терминологии, в котором отражаются общие социалистические условия развития всех народов СССР;

5) в исследовании общих принципов, отражающих развитие структурных и функциональных стилистических модификаций литературных языков, для чего необходимо дифференцированное изучение форм литературных языков, их основных поэтических и прозаических жанров и стилистических модификаций в их структурных и функциональных разновидностях, а также способов отбора и использования выразительных средств языка и стилистических приемов. Осуществление этой задачи требует изучения дифференциальных признаков каждого стиля на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом, а затем — конкретного синтезирования этих признаков для каждого стиля, для каждой стилистической разновидности.

Процессы совершенствования и нормализации фонетической структуры языков, которые отражаются соответственно в работе над совершенствованием алфавита для каждого языка, норм орфографии и орфоэпии, характеризуются следующими чертами:

а) установлением соответствия между стандартным фонетическим составом данного конкретного литературного языка и нормами ведущего диалекта или нормами общенародного языка, образовавшегося в результате консолидации диалектов. Так, фонологическая структура современного азербайджанского литературного языка отражает нормы общенародного языка, образовавшегося в результате консолидации диалектов на основе шемахинско-бакинского ведущего диалекта;

б) усвоением некоторых дополнительных фонем в связи с систематическим заимствованием слов из других языков. Заимствование новых фонем идет, главным образом, из русского языка. Например, кумыкский язык заимствовал губно-зубной согласный *в* и аффрикату *ц* (последний звук не был чужд кумыкскому языку, в котором как исключение встречались слова, имеющие в своем составе *ц*, например: *ханц* «уксус», *гъанц* «ламак» «скулить», — по-видимому, такие слова заимствованы из соседних дагестанских языков); азербайджанский язык заимствовал фонему /к/, например, в словах *коммунизм*, *кодекс*, *акт*, *трактор* и т. д.;

в) усвоением для заимствованной лексики разноместного нефиксированного ударения. В большинстве языков ударение в заимствованных словах, взятых изолированно, падает на тот же слог, что и в языке, из которого заимствуется слово; при присоединении к заимствованному слову аффиксов словообразования или словоизменения место главного ударения в некоторых языках меняется; например, в азербайджанском оно передвигается на последний слог; что же касается ударения на основе слова, то оно приобретает характер второстепенного ударения, ср., например, *вірус*, но *віруста́* «в вирусе»; *га́мма*, но *га́ммага́* «гамме». В заимствованных словах с усеченным окончанием ударение обычно падает на последний слог, напр., *анке́т*, *газе́т*, *контб́р*, *маши́н*, *систе́м* и проч. На последний же слог падает ударение в старых заимствованиях (например, азерб. *булка́*, *бутулка́*, *бухта́*, *марка́*, *лампа́*);

д) изменением состава и типов слогов и обогащением языков новыми типами слогов, а также возможностью сочетания в одном слоге двух или нескольких согласных (так, в азербайджанском языке стали возможны различные сочетания согласных в составе слога, например: *про-ле-тар*, *трамвай*, *трест*, *штамп*, что не было свойственно этому языку).

С процессами установления и нормирования фонетического состава литературного языка тесно связаны практические вопросы разработки алфавита и установления норм правописания (орфографии) и произношения (орфоэпии). Неудовлетворительность графики, ее несоответствие фонетической системе данного языка служит серьезной помехой на пути создания и нормирования литературного языка, близкого народным массам. Например, старый арабский алфавит, который использовался в большинстве тюркских языков, и в том числе в тюркских языках Кавказа, не располагал достаточным количеством знаков для гласных и очень отличался по составу согласных. Значительную роль в становлении молодых литературных языков Советского Союза сыграл новый латинизированный алфавит. В конце 30-х годов большинство младописьменных языков народов Советского Союза приняли новый алфавит на русской основе, что не только способствует еще большему сближению и взаимодействию культур народов Советского Союза, но и в значительной мере облегчает усвоение русского языка.

Современные алфавиты на русской основе имеют между собой много различий и расхождений из-за отсутствия унификации букв для обозначения одних и тех же специфических звуков. Ср., например, разноразличия в обозначении таких звуков в тюркских языках Кавказа, как: ө (ө, ö, оь, ё); ә (а, ä, аь, ә); ү (ү, ü, уь, ю); ж (ж, дж, ж, ч, ч); ц (ц, нг, нь); ғ (ғ, гь, г) и некоторых других. В письменности языков Кавказа наблюдается разноразличия в обозначении смычно-гортанных (глоттализированных) согласных, вульгарных и др.

Особо важное значение для совершенствования литературного языка имеет изучение его грамматического строя. Нормализация грамматики литературного языка охватывает все вопросы морфологии и синтаксиса. Унификация и стабилизация грамматических форм и норм словообразования необходимы прежде всего для школьного преподавания каждого языка.

Однако процессы нормализации грамматического строя еще далеко не закончены не только для младописьменных языков, но и для некоторых наиболее развитых языков, например, азербайджанского. Для многих языков Кавказа пока не созданы нормативные и описательные грамматики на русском языке, отсутствуют также и научные сопоставительные грамматики некоторых национальных языков и русского языка. Разработка этих основных пособий по грамматике является актуальной задачей для многих языков Кавказа.

Наиболее сильные изменения в развитии литературных языков произошли в лексике, особенно в терминологической ее части. В деле создания и нормирования терминологии здесь наблюдаются иногда две крайности: а) односторонняя ориентация исключительно на ресурсы родного языка, стремление избежать интернациональных и русских заимствований; б) столь же одностороннее наводнение лексики заимствованиями, игнорирование возможностей родного языка. Первая крайность — в потенции — приводит к самоизоляции, закрывает пути к взаимодействию и взаимообогащению языков, замедляет процессы расширения общего лексического фонда. Вторая крайность отдаляет литературный язык от его национальной основы, создает разрыв между ними. Найти здесь золотую середину — задача непростая и весьма деликатная, но, по-видимому, вполне разрешимая.

Основными источниками обогащения лексического состава языков тем не менее остаются, во-первых, внутренние ресурсы каждого конкретного языка и, во-вторых, широкое заимствование слов и терминов из других языков, главным образом из русского языка. С этой точки зрения процессы совершенствования и нормализации лексики и терминологии современных литературных языков Кавказа можно было бы разграничить:

1. Процессы, характеризующиеся использованием внутренних ресурсов. Это:

а) усвоение литературным языком диалектной лексики, а также профессиональной лексики, распространенной в отдельных районах, характеризующихся развитием различных областей экономики. Например, в азербайджанском литературном языке используются диалектизмы *күм-дарлыг* / *күмчүлүк* «уход за шелковичными червями», *шадара* «решето», *кәсмик* «творог», *дырмыг* «грабли», *кәрәнти* «коса», *хамма* «сметана», *гобу* «балка» (овраг), котловина», *гаптаг* «мешалка», *гамма* «кинжал»; в кумыкском: *мурта* «потолок», *догъа* «коридор», *жибижгей* «перец», *къумгъа* «кувшин», *гъорав* «веранда». Следует отметить, однако, что в ряде литературных младописьменных языков Кавказа диалектная лексика все еще используется слабо в целях рационального обогащения словаря;

б) расширение значений старых слов и использование их в качестве терминов в научной и технико-технической и общественно-политической терминологии; ср. азербайджанск.: *намус* «честь, гражданская доблесть»; *мубариз* «борьба» (в общественно-политическом значении), *долдурмаг* наряду со значением «наполнять» приобрело новое значение «выполнять», например: *планы долдурмаг* «выполнять планы»;

в) появление синонимических рядов с дифференцированным значением каждого синонима;

г) использование фонетических вариантов слов в различном значении; ср. азерб. *киоск* «беседка» и *кәшк* «павильон»; *дәвр* «период» и *дәврз* «цепь» (физич.); *новуз* «бассейн, водоем» и *новаз* «бассейн (залезя)».

д) создание сложных слов и терминов различного типа и широкое использование словосложения как средства развития лексики; ср. азерб. *пәлтарасан* «вешалка», *тагылдогән* «молотилка», *сәсвермә* «голосование», *машингайрма* «машиностроительный», *өзүнүтәнгид* «самокритика», *өзүнәхидмәт* «самообслуживание», *дунјакерушү* «миросозерцание»; кумыкск.: *галкъара* «международный», *еттийыллыкъ* «семилетка»;

е) расширение значений продуктивных словообразовательных аффиксов и активизация в словообразовании малопродуктивных аффиксов; ср. азерб. *-чы/-чи*: *гайнагчы* «сварщик», *иншаатчы* «строитель», *тагылчы* «хлебороб», *газмачы* «бурильщик»; *-лыг/-лиг*: *сонлуг* «окончание», *чыгышылыг* «исходный», *табеллиг* «сочинение»; *-чылыг*: *бекарчылыг* «бездельность», *тогумчулуг* «семеноводство». Эти процессы, однако, характерны далеко не для всех литературных языков Кавказа: часто все еще имеет место сла-

бое использование имеющихся в данном языке словообразовательных средств, что способствует обеднению и однообразности словообразовательного инвентаря литературного языка.

ж) возникновение фразеологизмов нового типа; ср. азерб. *тагыл тэдаруку* «заготзерно», *футбол жарыш* «футбольный матч», *ушаг багмасы* «детский сад»;

з) широкое использование лексико-фразеологических калек, являющихся одним из продуктивных способов словарного обогащения литературных языков, ср., кумыкск.: *ишюн* «трудодень», *ишг'ьякь* «зарплата».

2. Процессы, характеризующиеся использованием ресурсов других языков, главным образом — русского. Это: а) прямое заимствование русских слов или слов из других языков через русский язык; б) усвоение заимствованных из русского языка или через русский язык словообразовательных аффиксов.

Основные недостатки в развитии и нормализации лексики литературных языков Кавказа состоят прежде всего в неполном использовании словообразовательных средств родного языка для производства новых слов и терминов; в недостаточной дифференциации значений термилируемых понятий, когда одно и то же слово используется для обозначения нескольких понятий, и напротив, несколько слов используется для одного и того же понятия; в слабой разработке основ терминологии; в отсутствии для большинства языков полных толковых словарей, имеющих нормализующее значение; в отсутствии для многих языков полных национально-русских словарей; в слабости научно-исследовательской работы по некоторым языкам Кавказа в области лексикологии и лексикографии. Между тем, лексикологические и лексикографические исследования особенно необходимы именно в связи с нормализацией лексики, непрерывное обогащение которой новыми словами и терминами, являясь одним из основных признаков роста и совершенствования языка, требует неотложной научной фиксации.

Современные литературные языки Кавказа характеризуются наличием стилистических разновидностей, из которых наиболее оформившимися являются: а) язык поэзии, которому свойственны лексические и грамматические архаизмы, отвечающие традициям старых норм классических средневековых языков (например, староазербайджанского и др.); б) язык художественной прозы и драматургии, характеризующийся наличием диалектных, просторечных, разговорных элементов в лексике и грамматике; в) язык научно-публицистический со значительными вкраплениями заимствованной лексики; г) эпистолярный стиль, характеризующийся значительными элементами разговорной речи. Дифференциация стилистических разновидностей для большинства литературных языков в настоящее время находится в стадии развития. Изучение процессов развития различных жанров и стилистических разновидностей литературных языков и в связи с этим — изучение стилей языка писателей, а в известной мере и вопросы перевода являются ближайшей задачей исследователей языков Кавказа. Здесь, кроме того, встают чрезвычайно важные проблемы соотношения старых литературных языков и современного литературного языка, которые, в свою очередь, вызывают необходимость разработки основных вопросов истории конкретного литературного языка и истории родственных литературных языков.

Дальнейшее развитие литературных языков Кавказа зависит от того, как будет происходить расширение их функций и соответственно — усложнение стилистических разновидностей, а также от внутренних процессов, развертывающихся в каждом из этих языков, от совершенствования их грамматического строя, лексического состава, от стабилизации орфогра-

фических и орфоэпических норм. В дальнейшей нормализации литературных языков значительную роль будет играть развитие как национальной культуры и литературы, так и народного творчества. Основа литературного языка будет совершенствоваться за счет постоянного обмена с народным разговорным языком, за счет включения в язык наиболее прогрессивных элементов различных диалектов, которые под влиянием литературного языка будут постепенно сближаться.

Вместе с тем будут совершенствоваться фонетические нормы письменной и орфоэпические нормы устной форм литературных языков; большая роль в этом процессе принадлежит прессе, школе, радио, театру. Нормализация грамматики будет заключаться в дальнейшем обогащении и дифференциации употребления грамматических форм в различных жанрах и стилях, в унификации синонимичных и дублетных форм, в освоении языком новых синтаксических конструкций. Проблемы грамматической нормализации тесно связаны с разработкой методов составления описательных и сравнительных грамматик. Нормализация лексики тесно связана с использованием внутренних ресурсов словообразования и рациональным включением богатой диалектной лексики. Наиболее интенсивное развитие в лексике получит ее терминологический раздел, непрерывно обогащающийся в связи с постоянным прогрессом экономики и культуры народов СССР.

Перспективы дальнейшей нормализации и совершенствования литературных языков народов СССР связаны с тщательным изучением закономерностей их развития; здесь важно вовремя определить наиболее прогрессивные тенденции в этом развитии, вовремя их поддержать и тем самым сознательно воздействовать на языковое развитие. Нельзя забывать, что нормирование литературного языка — это не однократный административный акт, а постоянная работа языковедов, преподавателей, писателей, литературоведов, всех культурных работников по консолидации и совершенствованию литературного языка.

Культурно-экономический расцвет всех наций в многонациональном Советском государстве — вот те социальные условия, которые являются оптимальными для неограниченного развития языков народов СССР и которые позволили не только совершенствовать старописьменные языки народов Кавказа за счет сближения с современными живыми нормами речи, но и создать новые литературные младописьменные языки, имеющие уже в настоящее время широкие общественные функции.

---

Е. ГРИНАВЕЦКЕНЕ, К. МОРКУНАС

## ЛИТОВСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Исследования литовского языка имеют длительную историю. Однако изучением литовского языка долгое время занимались преимущественно отдельные языковеды как в Литве (А. Юшка, Ф. Куршат, К. Яунюс, К. Буга, Й. Яблонскис, Ю. Бальчиконис и др.), так и за ее пределами. Только после восстановления Советской власти в Литве в 1940 г. (провозглашена в 1918 г.) были созданы условия для систематического и организованного накопления языкового материала и исследования родного языка. В 1941 г. одним из первых в системе Академии наук Литовской ССР был основан Институт литовского языка (с 1952 г. — Институт литовского языка и литературы). В послевоенные годы немало языковедов работает на кафедрах литовского, русского и иностранных языков вузов республики: в Вильнюсском гос. университете им. В. Капсукаса (ВГУ), Вильнюсском гос. пединституте (ВГПИ), Шяуляйском пединституте им. К. Прейкшаса. За годы Советской власти, благодаря объединенным усилиям лингвистов республики, в сравнительно короткие сроки были достигнуты значительные успехи во всех областях литовского языкознания.

Одним из самых важных направлений в работе литовских языковедов являются лексикографические исследования, среди которых ведущее место занимает подготовка академического «Словаря литовского языка». Накопление материала, подготовка, редактирование и издание этого словаря имеют более чем полувековую историю. Начало собиранию материалов положил литовский языковед К. Буга (1879—1924). Однако работа по редактированию и изданию словаря широко развернулась, в основном, в послевоенные годы. Собранный в Институте литовского языка и литературы трехмиллионная картотека ежегодно пополняется примерно 50 000 новых записей (из живой разговорной речи, фольклора, древних памятников письменности, периодики, художественной, научной, педагогической, технической литературы и других источников). На основе этой картотеки издается 15 — 16-томный толковый «Словарь литовского языка», 8 томов которого (буквы А — О) общим объемом 655 печ. листов уже вышли в свет<sup>1</sup> (первый и второй тома переизданы вторично). Работу над словарем, которую после смерти К. Буги продолжили Ю. Бальчиконис (1885—1969) и другие лексикографы, сейчас ведет коллектив ученых Института под руководством Й. Круонаса.

Академический словарь — это богатейший источник данных, необходимых не только для литовской лексикологии, семасиологии, фразеологии, но и для истории языка, диалектологии, акцентологии, практики современного литовского литературного языка, создания и усовершенствования терминологии и для других областей языкознания. В нем выявляется география многих лексических явлений, многозначность слов, отражающая изменения в системах лексики и семантики, происходящие в последние десятилетия. Здесь, по сути дела, впервые полностью представлен словарный состав литовского языка, в значительной мере отражаются история литовского народа, развитие его материальной и духовной культуры, общественных отношений, жизнь народа, его обычаи, связи с другими народами, его достижения в годы Советской власти. Поэтому словарь очень полезен не только языковедам-литуанистам, но и исследователям истории и

<sup>1</sup> «Lietuvių kalbos žodynas», I—VIII, Vilnius, 1941—1970.

языка других народов. За подготовку III—VI томов «Словаря» группе лексикографов Института присуждена Республиканская премия.

Большое практическое значение имеет подготовленный Институтым однотомный нормативный «Словарь современного литовского языка»<sup>2</sup>, включающий около 45 000 наиболее употребительных в современном литовском языке слов. Для многих слов в словаре указаны нормы управления и согласования в предложении, употребления падежей и предлогов. В 1972 г. выходит из печати второе, значительно дополненное (около 60 000 слов) издание этого словаря.

Быстрое развитие науки, техники, культуры, экономики, всех областей народного хозяйства требует постоянного внимания к терминологии. В годы Советской власти в республике издано на литовском языке 32 специализированных терминологических словаря и более 30 бюллетеней. Несколько таких словарей готовятся к печати или переизданию. Ведутся исследования по истории создания и развития литовской терминологии. Для координации и улучшения работ в области терминологии в 1971 г. при Президиуме АН Литовской ССР создан Терминологический совет, в состав которого входят, помимо языковедов, специалисты других отраслей знания.

Впервые издан «Словарь синонимов литовского языка»<sup>3</sup>. Хотя этот словарь не претендует на полноту, в нем отражено богатство лексической синонимии литовского языка, нюансы значений синонимов, подобраны группы слов, которыми можно пользоваться для обозначения одних и тех же предметов, явлений и понятий. Синонимические группы иллюстрируются примерами из литературного языка и разговорной речи.

Лексикографическое исследование языка древних литовских памятников письменности и художественной литературы только начинается. Книга Й. Кабялки (ВГУ) «Лексика сочинений Кристионаса Донелайтиса»<sup>4</sup> включает словарь произведений основоположника литовской художественной литературы К. Донелайтиса (1714—1780). В словаре отражена лексика ныне исчезнувшего восточнопрусского говора окрестностей Сталупенай и Гялдапе, на котором писал Донелайтис и который сыграл немаловажную роль в формировании литовского литературного языка. В работе Й. Круопаса «Лексика катехизиса Меркялиса Пятквичюса 1598 г.»<sup>5</sup> содержится словарь этого первого письменного памятника литовской реформации на 2300 слов, в основном принадлежащих к традиционному пласту литовской лексики; в их число входят также некоторые полонизмы, диалектизмы, неологизмы, архаизмы.

Пока еще мало научных трудов, посвященных областной лексике. Первой работой в этой области является Словарь северо-восточного жемайтского говора, подготовленный по дифференциальному принципу В. Виткаускасом<sup>6</sup>.

В годы Советской власти началось также изучение истории литовской лексикографии и ее развития. В «Кратком историческом обзоре литовской лексикографии»<sup>7</sup> известного слависта и балтиста Б. А. Ларина дается оценка всем наиболее важным словарям литовского языка, изданным до середины XX в. Для истории литовской лексикографии важны также работа Б. Толутене «А. Юшка — лексикограф», монография К. Пакалки «Dis-

<sup>2</sup> «Dabartinės lietuvių kalbos žodynas», Vilnius, 1954.

<sup>3</sup> A. Lyberis, Lietuvių kalbos sinonimų žodynas, Kaunas, 1961.

<sup>4</sup> J. Kabalka, Kristijono Donelaičio raštų leksika, Vilnius, 1964.

<sup>5</sup> J. Krupa, 1598 m. Merkelio Petkevičiaus katekizmo leksika, «Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos», Vilnius, 1970.

<sup>6</sup> V. Vitkauskas, Siaurės rytų žemaičių dūnininkų žodynas (в печати).

<sup>7</sup> «Лексикографический сборник», II, М., 1957.

tionarium trium linguarum К. Ширвидаса»<sup>8</sup> и др. Исследуются и теоретические вопросы лексикографии, в особенности связанные с подготовкой академического «Словаря литовского языка», такие как принципы редактирования глаголов, переносные значения слов, фразеологизмы<sup>9</sup> и т. п.

В последнее время в республике повысился интерес к изучению фразеологизмов и идиоматических выражений: Б. Калинаускасом (ВГПИ) написана монография о фразеологизмах классика литовской литературы Жемайте (1845—1921)<sup>10</sup>, исследуются также сравнительные обороты речи, фразеология литовских диалектов. Сдан в печать первый фразеологический словарь литовского языка, составленный И. Паулаускасом; в нем отражена специфика литовской фразеологии, показаны разные стилистические оттенки употребления фразеологизмов, приведены многочисленные иллюстрации из письменных памятников и разговорной речи. Впервые рассмотрены проблемы омонимии в литовском языке, употребления слов в переносном значении в произведениях отдельных писателей<sup>11</sup> и др. Исчерпывающее исследование, посвященное обогащению лексики литовского языка в годы Советской власти, подготовили А. Либерис и К. Ульвидас<sup>12</sup>.

В послевоенные годы в республике издано около 20 двуязычных словарей. Среди них выделяется составленный В. Баронасом и В. Галинсом (на основе материалов лексикографа И. Баронаса) двухтомный «Русско-литовский словарь»<sup>13</sup>, включающий около 75 000 слов. Наряду с основным словарным фондом современного русского литературного языка в словаре представлены часто употребляемые диалектизмы, некоторые устаревшие слова, научные и технические термины, иностранные слова, наиболее характерные фразеологические обороты и другие застывшие выражения. Во всех русских и литовских словах поставлены ударения, значения русских слов иллюстрируются примерами. Не меньшее значение имеет «Литовско-русский словарь»<sup>14</sup> (около 50 000 слов). Для массового пользования предназначен «Словарь иностранных слов»<sup>15</sup> (около 24 000 слов).

В области грамматики самой крупной и значительной работой литовских языковедов является академическая нормативная «Грамматика литовского языка», которая выпускается Институтом и первые два тома которой вышли в свет<sup>16</sup>. В первом томе исследуется фонетическая система литовского языка, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, во втором — глагол, наречие, частица, предлог, союз, междометие и звукоподражательные слова. Редактируется третий том, в котором освещаются вопросы синтаксиса. В отличие от изданных

<sup>8</sup> В. T o l u t i e n é, Antanas Juška leksikografas, «Literatūra ir kalba», V, Vilnius, 1961; К. П а к а л к а, Первый литовский словарь. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1964.

<sup>9</sup> См., например, авторефераты канд. диссерт.: А. К у ч и н с к а й т е, Принципы редактирования глагола в «Словаре литовского языка» АН Лит. ССР, Вильнюс, 1959; С. К е з и т е, Выделение и расположение значений слова в «Словаре литовского языка» АН Лит. ССР, Вильнюс, 1962; З. Й о н к а й т е, Фразеология в «Словаре литовского языка» АН Лит. ССР, Вильнюс, 1963.

<sup>10</sup> См.: Б. К а л и н а у с к а с, Фразеология языка произведений Жемайте. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1962.

<sup>11</sup> См., например, авторефераты канд. диссерт.: В. У р б у т и с, Способы образования лексического омонимов в литовском языке, Вильнюс, 1956; Ю. П и к ч и л и н г и с, Употребление слов в переносном значении в творчестве П. Цвирки, Вильнюс, 1956.

<sup>12</sup> А. L y b e r i s, K. U l v y d a s, Lietuvių literatūrinės kalbos leksikos praturtėjimas tarybinės santvarkos metais, «Literatūra ir kalba», III, Vilnius, 1958.

<sup>13</sup> «Rusų-lietuvių kalbų žodynas», I—II, Vilnius, 1967.

<sup>14</sup> А. L y b e r i s, Lietuvių-rusų kalbų žodynas, Vilnius, 1971.

<sup>15</sup> «Tarpautinių žodžių žodynas», Vilnius, 1951 (2-е изд.— 1969).

<sup>16</sup> «Lietuvių kalbos gramatika», I—II, Vilnius, 1965—1971.

ранее грамматик, преследовавших чисто практические цели, данная работа носит научный характер; в ней впервые глубоко и систематически проанализирован грамматический строй литовского языка, широко раскрыты семантические функции и значение грамматических категорий. Широкое использование языкового материала из произведений художественной и научной литературы, публицистики, народной разговорной речи, древних памятников письменности, применение синхронного и диахронического методов исследования отдельных грамматических явлений позволяет авторам «Грамматике» мотивированно устанавливать нормы современного литовского литературного языка.

К числу наиболее важных работ в области грамматики относится книга Й. Балькявичюса (ВГУ) «Синтаксис современного литовского языка»<sup>17</sup>, в которой дается самый полный анализ синтаксических конструкций литовского языка, исследуются грамматические связи слов в предложении, устанавливаются законы сочетания слов и построения предложений и др.; кроме того, здесь дополнены и уточнены правила пунктуации в литовском языке. Отдельные вопросы литовской грамматики анализируются в монографических исследованиях других лингвистов<sup>18</sup>, а также в тематических сборниках<sup>19</sup>.

Начато изучение литовской стилистики. Привлекает внимание книга Ю. Пикчилингиса (ВГУ) «Стилистика литовского языка»<sup>20</sup>, которая, помимо теоретического значения, имеет и большую практическую ценность. Следует упомянуть работу К. Алексинаса «Языковые и стилистические особенности литовских народных песен»<sup>21</sup>.

Фонетика литовского языка исследуется с помощью экспериментов в лабораториях экспериментальной фонетики при ВГУ и ВГПИ (В. Вайтквичюте, Э. Микалаускайте, А. Пакерис, А. Пупкис и др.). Выпускается серийное издание «Материалы коллоквиума по экспериментальной фонетике и психологии языка»<sup>22</sup>. Ведутся исследования в области литовской акцентологии. Для практических нужд изданы учебники А. Лайгонайте (ВГУ) по акцентуации литовского литературного языка<sup>23</sup>.

Значительно продвинулось вперед изучение истории литовского языка. Начальные периоды формирования литовского литературного языка, его связь с говорами того времени и отношение к современному литературному языку и многие другие вопросы истории языка всесторонне освещаются в монографии Й. Палёниса (ВГУ) «Литовский литературный язык в XVI—XVII вв.»<sup>24</sup>. На основе языковых данных литовской древней пись-

<sup>17</sup> J. B a l k e v i č i u s, *Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė*, Vilnius, 1963.

<sup>18</sup> См., например: V. A m b r a z a s, *Absoliutinis naudininkas XVI—XVII a. lietuvių kalbos raminkluose*, «Lietuvių kalbotyros klausimai», V, Vilnius, 1962; П. Б е р н а д и ш е н е, *Значение и употребление возвратных глаголов в современном литовском литературном языке*. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1962; A. V a l e s k i e n ė, *Dabartinės lietuvių kalbos įvardžiutinių būdvardžių vartojimas*, «Literatūra ir kalba», II, Vilnius, 1957; J. P a u l a u s k a s, *Veiksmazodžių priešdėlių funkcijos dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje*, там же, III; A. P a u l a u s k i e n ė, *Dabartinės lietuvių kalbos veiksmazodis*, Vilnius, 1971; Н. С л и ж е н е, *Сложные глагольные формы в литовском литературном языке*. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1965.

<sup>19</sup> «Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai», Vilnius, 1957; «Dabartinė lietuvių kalba», Vilnius, 1961; «Lietuvių kalbos morfologinė sandara ir jos raida», Vilnius, 1964; «Lietuvių kalbos gramatinė sandara», Vilnius, 1967; «Lietuvių kalba tarybiniais metais», Vilnius, 1967.

<sup>20</sup> J. P i k č i l i n g i s, *Lietuvių kalbos stilistika*, I, Vilnius, 1971.

<sup>21</sup> K. A l e k s y n a s, *Lietuvių liaudies dainų kalbinė stilistinė ypatybė*, «Literatūra ir kalba», XI, Vilnius, 1971.

<sup>22</sup> «Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kollokviumo medžiaga», 1—5, Vilnius, 1964—1972.

<sup>23</sup> A. L a i g o n a i t ė, *Literatūrinės lietuvių kalbos kirčiavimas*, Vilnius, 1959; е е ж е, *Lietuvių kalbos kirčiavimas*, Kaunas, 1970.

<sup>24</sup> J. P a l i o n i s, *Lietuvių literatūrinė kalba XVI—XVII a.*, Vilnius, 1967.

менности и современных говоров в работе З. Зинквичюса (ВГУ) впервые исчерпывающе анализируется образование, история и тенденции дальнейшего развития местоименных прилагательных<sup>25</sup>. Ценным вкладом в историю литовского языка является книга Й. Казлаускаса (ВГУ) «Историческая грамматика литовского языка»<sup>26</sup>, в которой методом внутренней реконструкции на основе языковых данных литовского и других балтийских языков рассматриваются формирование акцентуационной системы литовского языка, развитие форм имен существительных и глаголов. Й. Казлаускас сделал немало новых выводов, важных не только для баллистики, но и для индоевропеистики и общего языковедения; эта его работа отмечена Республиканской премией.

Ценный вклад в изучение истории литовского языка внес своей книгой о соотношениях балтских и других индоевропейских языков В. Мажюлис (ВГУ)<sup>27</sup>. На основе анализа истории деклинационных форм исследуются балтийские языки и их генетические соотношения с другими индоевропейскими языками — славянскими, германскими, индоиранскими; решается проблема общности и различия балтийских языков. В книге рассматривается также хронология парадигматических и непарадигматических локальных падежей и их взаимоотношения; обосновывается предположение о том, что непарадигматические локальные падежи древнее парадигматических. Своей проблематикой и аргументированностью работа В. Мажюлиса вызвала живой интерес индоевропейцев.

Балто-славянские языковые связи изучают и другие лингвисты республики. История исследования древнейших соотношений этих языковых групп и обзор фонетических особенностей балтийских и славянских языков излагаются С. Каралюнасом<sup>28</sup>. Работы А. Сабалюскаса посвящены этимологии названий домашних животных и культурных растений в балтийских языках в сопоставлении их с соответствующими названиями в славянских языках<sup>29</sup>. В. Урбутис (ВГУ) исследует литуанизмы в белорусском языке<sup>30</sup>; белорусские говоры Гродненщины изучаются литовскими языковедами совместно с белорусскими диалектологами; рассматриваются проблемы двуязычия и многоязычия<sup>31</sup>. Исследование балто-славянских

<sup>25</sup> Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos įvardžiūotinių būdvardžių istorijos bruožai, Vilnius, 1957; см. также: З. П. Зинквичюс, Некоторые вопросы образования местоименных прилагательных в литовском языке, ВСЯ, 3, М., 1958.

<sup>26</sup> J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika, Vilnius, 1968.

<sup>27</sup> V. Mažiulis, Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbu santykiai (Deklinacija), Vilnius, 1970.

<sup>28</sup> S. Karaliūnas, Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai, «Baltų ir slavų kalbų ryšiai», Vilnius, 1968.

<sup>29</sup> А. И. Сабалюскас, Происхождение названий сельскохозяйственных растений в балтийских языках. Автореф. канд. диссерт., Вильнюс, 1958; A. Sabaliūskas, Baltų kalbų naminių gyvulių pavadinimai, «Baltų ir slavų kalbų ryšiai»; е го же, Iš baltų kalbų gyvulininkystės terminologijos istorijos, «Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos», Vilnius, 1970.

<sup>30</sup> V. Urbutis, Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai, «Baltistica», V, 1—2, 1969.

<sup>31</sup> См., например: А. У. Арашонкава, Е. И. Грынавецкене, I. П. Кавальчук, Ю. Ф. Мацкевич, Я. М. Раманович, Л. Ф. Шаталова, 3 лексікі беларускіх гаворак заходняй зоны, «Вестці Акадэміі навук БССР», Серыя грамадскіх навук, 1969, 4; А. У. Арашонкава, Е. И. Грынавецкене, I. П. Кавальчук, Ю. Ф. Мацкевич, Я. М. Раманович, А. I. Чабярчук, Л. Ф. Шаталова, Да лексіка-семантычнай дыферэнцыяцы ў беларускіх народных гаворках, там же, 1971, 1; А. У. Арашонкава, Е. И. Грынавецкене, Ю. Ф. Мацкевич, Я. М. Раманович, Т. Ф. Сцяшковіч, А. I. Чабярчук, Л. Ф. Шаталова, Да характарыстыкі лексікі паўднёва-заходніх беларускіх гаворак, там же, 1972, 1; ср. также: Т. М. Судник, К характеристике фонологических систем диалектов литовско-славянского пограничья. Автореф. канд. диссерт., М., 1971.

языковых связей активизировалось и получило более определенную направленность после того, как при Международном комитете славистов была создана Комиссия для изучения балто-славянских связей (председатель комиссии — акад. АН Литовской ССР К. Корсакас). В последнее время проблема балто-славянских языковых связей все шире и чаще поднимается на всесоюзных и международных совещаниях, конференциях и съездах филологов. Особую актуальность она приобрела на трех последних (IV-VI) Международных конгрессах славистов, в программах которых исследования балто-славянских языковых связей занимали важное место. В популяризации этой проблемы большую роль сыграли две всесоюзные конференции балтистов, организованные в Вильнюсе (1964, 1970). Быстрому расширению и углублению работ в этой области во многом способствовало то обстоятельство, что за годы советской власти в республике вырос большой отряд высококвалифицированных специалистов и стал доступным аутентичный материал по сравниваемым языкам.

Заметных успехов достигли в послевоенное время литовские диалектологи. Подготовлен ряд монографий о фонетических и грамматических системах отдельных говоров<sup>32</sup>.

С 1950 г. Институтом литовского языка и литературы начато систематическое собрание лингвистического материала для «Атласа литовского языка». К настоящему времени Институт при участии специалистов высших школ республики и других филологов обследовал всю территорию Литовской ССР (свыше 700 населенных пунктов) и некоторые изолированные литовские говоры БССР и Польской Народной Республики. На основе собранного диалектного материала (около 700 000 карточек) начата подготовка атласа, который намечается издать в четырех частях (всего 350 лингвистических карт с комментариями). Завершается подготовка к печати первой части атласа, посвященной лексике (около 100 карт); остальные части будут отведены для фонетики, морфологии и синтаксиса. В «Атласе литовского языка» найдут отражение основные черты систем современных говоров литовского языка, поэтому он явится ценным изданием не только для дальнейшего развития литовской диалектологии и истории языка, но и для изучения современного литературного языка, а также для сравнительного балтийского языкознания и исследования языковых связей. На основе собранных для атласа материалов диалектологи Института подготовили хрестоматию «Говоры литовского языка»<sup>33</sup>, в которой представлены диалектные тексты, записанные в фонетической транскрипции, из более чем 550 населенных пунктов. Это первая в истории литовского языкознания полная публикация диалектных текстов.

Ведутся также диалектологические исследования обобщающего характера. Самым большим и значительным трудом в этой области является «Литовская диалектология» З. Зинквичюса<sup>34</sup>. В ней исследуются фонетическая и морфологическая системы литовских говоров и их разви-

<sup>32</sup> См., например, авторефераты канд. диссерт.: Ю. Ю. С е н к у с, Говор северо-западных кашпов, Вильнюс, 1955; Е. И. Г р и н а в е ц к е н е, Говор бассейна реки Митува, Вильнюс, 1956; В. Г р и н а в е ц к и с, Говоры северо-западных дуниников, Вильнюс, 1956; М. К. К и н д у р и с, Литовский говор в белорусском окружении, Л., 1956; Я. К а р д е л и т е, Линиямский говор, Вильнюс, 1961; А. В и д у г и р и с, Зетельский говор литовского языка, Вильнюс, 1962; А. Й о н а й т и т е, Шанинский говор литовского языка, Вильнюс, 1962; К. М о р к у н а с, Южный говор восточных аукштайтов, Вильнюс, 1962; И. Ш у к и с, Синтаксические особенности литовских говоров понтиников и западных пунтиников, Вильнюс, 1966; А. Г и р д я н и с, Фонологическая система Мажейского говора, Вильнюс, 1967; И. А л е к с а н д р а в и ч ю с, Кретингский говор, Вильнюс, 1968.

<sup>33</sup> «Lietuvių kalbos tarmės (Chrestomatija)», Vilnius, 1970.

<sup>34</sup> Z. Z i n k e v i č i u s, Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija, Vilnius, 1966.

тие: все выводы основываются на анализе нового и обильного фактического диалектного материала, а также языка древних памятников письменности (труд отмечен Республиканской премией). К обобщающим трудам ареальной диалектологии принадлежит «История фонетики жемайтских говоров литовского языка» В. Гринавецкиса (ВГПИ) (в печати), где описано образование и развитие фонетических и акцентуационных систем.

Немало диалектологических и других исследований по литовскому языкознанию опубликовано в серийных изданиях Института: «Вопросы литовского языкознания» (вышло 13 томов), «Литература и язык» (вышло 11 томов), «Культура речи» (вышли 22 тетради), в «Трудах Академии наук Литовской ССР» (серия А), а также в сборниках высших школ «Языкознание» (вышло 23 тома), в журнале «Балтистика» (вышло 8 т. по 2 тетр.).

В последние десятилетия более интенсивными стали исследования и публикации литовской топонимии. Вышел из печати словник «Названия рек и озер Литовской ССР»<sup>35</sup> — это почти полное собрание литовских гидронимов (около 10 000 названий). Начаты этимологические исследования названий озер Литовской ССР (Б. Савукина). Придерживаясь принципов структурно-грамматической классификации, А. Ванас исследует образование всех литовских гидронимов и приводит статистические данные, свидетельствующие о том, что в Литве доминируют суффиксальные гидронимы<sup>36</sup>. Начата подготовка «Словаря литовских фамилий», в который войдут все современные литовские фамилии (около 50 000), причем будет отражена география, частотность и словообразование фамилий. Сюда же примыкает книга М. В. Бирилы и А. П. Ванаса о литовских элементах в белорусской ономастике<sup>37</sup>, а также другие исследования<sup>38</sup>.

Много внимания уделяется изданию ценнейших древних письменных памятников литовского языка, а также лингвистического наследия. Институт фототипическим способом переиздал первую литовскую грамматику Д. Клейнаса, написанную на латинском языке (M. Danielis Kleinii, Grammatica Litvanica, 1653), и ее краткое изложение на немецком языке (Compendium Litvanico - Germanicum, 1654) вместе с переводом их текста на литовский язык<sup>39</sup>. Для балтистов и индоевропеистов особенно важна публикация «Памятников прусского языка», изданных фототипическим способом<sup>40</sup> (подготовил В. Мажюлис). Большое значение для истории литовской филологии и дальнейшего ее развития имеют «Избранные сочинения К. Буги»<sup>41</sup> (составил З. Зинквичюс); в трех больших томах этого издания помещены все важнейшие ранее опубликованные и рукописные труды этого языковеда. Изданы «Избранные сочинения» основоположника литовского литературного языка Й. Яблонскиса<sup>42</sup> (сост. Й. Палёнис).

Своими достижениями литовские языковеды вносят определенный вклад в обогащение и развитие советского языкознания. В канун 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик хочется особо подчеркнуть, что все эти успехи стали возможными благодаря тесному сотрудничеству, постоянному обмену опытом с лингвистами других братских республик.

<sup>35</sup> «Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas», Vilnius, 1963.

<sup>36</sup> A. V a n a s, Lietuvos TSR hidronimų daryba, Vilnius, 1970.

<sup>37</sup> М. В. Б и р и л а, А. П. В а н а г а с, Литоўскія элементы ў беларускай анамстыцы, Мінск, 1968.

<sup>38</sup> См., например, авторефераты канд. диссерт.: И. Д у м ч ю с, Античные имена собственные в литовском языке, Вильнюс, 1958; Ю. Ю р к е н а с, Древние сложные имена в письменных памятниках Великого Княжества Литовского, Вильнюс, 1966.

<sup>39</sup> «Pirmoji lietuvių kalbos gramatika», Vilnius, 1957.

<sup>40</sup> «Prūsų kalbos paminklai», Vilnius, 1966.

<sup>41</sup> К. В ū g a, Rinktiniai raštai, I—III, Vilnius, 1958—1962.

<sup>42</sup> J. J a b l o n s k i s, Rinktiniai raštai, I—II, Vilnius, 1957—1959.

В. Э. СТАЛТМАНЕ, Л. К. ГРАУДИНА

## ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА

За последние десятилетия наука о культуре литературного языка обрела очертания самостоятельного направления в советском языкознании. Проблемы нормализации литературного языка привлекали пристальное внимание советских языковедов уже в 20-е годы, когда речевая практика широких демократических слоев населения пришла в столкновение с исторически сложившимися литературными и культурными традициями национального языка.

Секцией культуры речи Союза журналистов ЛатвССР и Группой культуры речи Института языка и литературы АН ЛатвССР с 1965 г. издаются выпуски «Вопросы культуры латышского языка» («Latviešu valodas kultūras jautājumi», Rīgā, 1965—1971. Редакция: Х. Бендикс, Л. Цеплитис, И. Фрейденфельдс, Х. Грасе, А. Гутманис, Ю. Карклиньш, Т. Порите, В. Страадиня).

В этих выпусках затронуты основные положения теоретического характера, которые составляют наиболее существенные звенья науки о культуре речи.

1. Учение «о правильном» пользовании языком предполагает выработку критериев оценок речевой деятельности с целью активного воздействия на нее и руководства «речевым поведением» в обществе. Пределы такого воздействия недостаточно изучены<sup>1</sup>. Нормативное вмешательство, очевидно, наиболее эффективно в области кодификации правописания, грамматики, терминологии, топографической и топонимической номенклатуры. Наименее доступны управлению многочисленные способы комбинации языковых элементов. Синтаксические построения речи, ее стилистическая организация, словоупотребление в широком смысле слова — все эти явления, в которых проявляются «нестесненные тенденции свободной жизни» языка (в терминологии Есперсена), и составляют до известной степени его некодифицируемые сферы. В рецензируемых выпусках наибольшее внимание уделено как раз кодифицируемым сферам<sup>2</sup>.

2. Основное назначение деятельности лингвистов и языковедческих учреждений заключается в том, чтобы поддерживать стабилизацию литературного языка. Практические потребности общества диктуют необходимость сохранения устойчивости литературных норм. Литературный язык должен быть огражден от неумеренных иноязычных, диалектных или просторечных влияний<sup>3</sup>.

Латышский литературный язык развивается в условиях двуязычия. Поэтому перед латышскими языковедами очень остро стоит проблема охраны национальных норм родного языка.

Каковы пределы допустимых заимствований, где проходят границы между вредными и обогащающими влияниями, не вступает ли в противоречие консерватизм языкового идеала с представлениями о прогрессе литературного языка — этой актуальной для Латвии теме посвящено большинство всех статей сборника.

<sup>1</sup> Ср.: Ф. П. Ф и л и н, Несколько слов о языковой норме и культуре речи, сб. «Вопросы культуры речи», 7, 1966, стр. 16.

<sup>2</sup> Ср.: V. T a u l i, Introduction to a theory of language planning, Uppsala, 1968.

<sup>3</sup> О консерватизме языкового идеала см.: С. И. О ж е г о в, Очередные вопросы культуры речи, «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955; К. С. Горбачевич, Нормы литературного языка и толковые словари, «Нормы современного русского литературного словоупотребления», М.—Л., 1966; см. также: К. С. Горбачевич, Изменение норм русского литературного языка, Л., 1971; В. Г. К о с т о м а р о в, О ретроспективности учения о культуре речи, ИАН ОЛН, 1966, 2.

3. Учение о культуре речи должно опираться на общую теорию языковой эволюции<sup>4</sup>. Признак консерватизма литературного языка, хотя и важный, но не единственный. В связи с представлениями о подвижной, эластичной стабильности литературного языка в работах по культуре речи подчеркивается, во-первых, необходимость функционального подхода в определении критериев литературности норм, во-вторых, необходимость осознания внутренней динамики литературных норм<sup>5</sup>.

а) Критерий коммуникативно-стилистической целесообразности предполагает описание взаимодействия языковых стилей, разнообразных речевых ситуаций и языковых заданий. Этим вопросам в сборнике по культуре латышского языка уделено внимание с точки зрения отдельных наиболее актуальных, общественно значимых тем. Статьи, посвященные стилистическим смещениям в литературном языке, объединены в разделе «Язык и стиль». Основные из них освещают проблему взаимодействия литературного языка и диалектов; влияние разговорного языка на письменные книжные стили; язык и стиль публицистики. В этом же разделе находятся статьи более узкого практического направления (об уместных и неуместных варваризмах и жаргонизмах, о языке районной прессы, о декламации, о возникновении «модных» слов).

б) Теория динамической нормы непосредственно связана с проблемой вариантности. Существование параллельных средств в литературном языке рассматривается как нормальное состояние языковой системы, как условие ее развития, не противоречащее сущности самой системы. Признание эволюции как одного из условий существования живого литературного языка неизбежно приводит к допущению исторически обусловленных вариантов в некоторых пределах. Где проходит демаркационная линия, разделяющая ошибку и допустимый вариант, — этой важной теоретической теме посвящен ряд статей рецензируемых выпусков. Вот некоторые из поднятых вопросов: лексико-стилистические типы ошибок; отступления от норм литературного языка в области грамматики, орфоэпии, словоупотребления в газетах и в стихотворной речи. Этой же теме посвящены работы по синонимии в публицистике, в поэзии, в научном стиле.

Латышское языкознание имеет большой опыт и прочные традиции в борьбе за чистоту родного языка. Начиная с появления первой научной грамматики латышского языка в 1907 г.<sup>6</sup>, вопросам нормирования языка во всех его областях уделялось постоянное внимание. В этой деятельности огромную роль сыграл выдающийся латышский языковед Я. Эндзелин. Будучи лучшим знатоком истории своего и родственных языков, Я. Эндзелин любое явление языка рассматривал на фоне системных связей в языке. Слово или форма языка имели право на существование, по его мнению, только в том случае, если они находили место в системе латышского языка, были оправданы сравнительным анализом, подтверждались данными среднелатышского диалекта или были засвидетельствованы в фольклоре. В отдельных случаях Я. Эндзелин придавал немалое значение фактору традиционности и привычности норм литературного языка. В течение полувека под его руководством последовательно и неуклонно проводилась активная языковая политика развития и усовершенствования

<sup>4</sup> Е. Д. Поливанов, Историческое языкознание и языковая политика, сб. «За марксистское языкознание», М., 1931.

<sup>5</sup> На материале русского литературного языка наиболее ярко функциональный подход выражен в ст.: В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, Некоторые теоретические вопросы культуры речи, ВЯ, 1966, 5, в которой в качестве обязательного выдвигается принцип коммуникативно-стилистической целесообразности. Теория динамической нормы уделено внимание в работе Л. И. Скворцова «Норма. Литературный язык. Культура речи» (сб. «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970).

<sup>6</sup> J. E n d z e l i n s, K. M ī l e n b a c h s, Latviešu gramatika, Rīgā, 1907.

национального латышского языка; язык очищался, в основном, от немецкого налета. На базе словообразовательных моделей родного языка создавались новые экономные средства для обозначения понятий, вводимых в речевой обиход самой жизнью<sup>7</sup>.

В 50—60-е годы была опубликована Академическая грамматика латышского языка в двух томах<sup>8</sup>. Эта грамматика заложила фундамент для научной нормализации в области орфоэпических и грамматических норм латышского языка. Ведется работа над восьмитомным толковым словарем латышского литературного языка (первый том словаря подготовлен и находится в печати).

В Институте языка и литературы ведется работа над историей латышского литературного языка.

Внимание латышских исследователей привлекает актуальная тема изучения разных форм ораторской и сценической речи<sup>9</sup>. В 1968—1969 гг. вышел в свет частотный словарь латышского языка<sup>10</sup>, подготовленный в Секторе математической лингвистики Института языка и литературы АН ЛатвССР.

Новый этап в изучении культуры речи латышского языка начинается во второй половине 50-х годов, когда в Институте языка и литературы АН ЛатвССР создается группа по культуре речи под руководством Т. Порите.

Работа этой группы вначале велась, в основном, в области кодификации норм правописания и транскрипции имен в двух основных направлениях: 1) в направлении совершенствования орфографии<sup>11</sup>, 2) в направлении упорядочения передачи на латышский язык имен собственных. В результате этой деятельности в 1957 г. вышло постановление об усовершенствовании латышской орфографии. Кроме собственно орфографических вопросов, комиссия, работавшая над постановлением, подняла ряд вопросов чисто орфоэпического характера. Так было обращено внимание на вариативность произношения [uo]/[o]/[õ] в иноязычных суффиксах, орфографически передаваемых через *-ors* (в словах *direktors, orators* и т. п.), отмечалось колебание произношения *alā* в суффиксах: *-grafs/-grāfs, -grafija/-grāfija* и др., были взяты на учет случаи ярко выраженной тенденции к выравниванию глагольных парадигм. Второе направление дало целую серию инструкций-справочников, регламентирующих принципы передачи иноязычных собственных имен (немецких, эстонских, литовских, английских, польских, французских, итальянских, русских и др.) на латышский язык. В рецензируемых сборниках эта работа нашла отражение в ряде статей, посвя-

<sup>7</sup> Это направление деятельности Я. Эндзеллина было выражено в работе руководимого им Отделения языкознания Рижского латышского общества (1920—1940), в его университетских курсах, а также в работе Терминологической комиссии советского времени. Из его публикаций в этой связи можно упомянуть следующие: J. Endzelīns, *Dažādas valodas kļūdas*, Rīgā, 1928—1932; J. Endzelīns, P. Šmits, *Izrunas un rakstības vadonis*, Rīga, 1928—1932, а также целый ряд орфоэпических пособий, вышедших под его редакцией.

<sup>8</sup> «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika», I — Fonetika, Morfologija, Rīgā, 1959; II — Sintakse, 1962 (редколлегия: А. Бергмане, Р. Грабис, М. Лепика, Э. Сокол — отв. редактор).

<sup>9</sup> В этом плане представляют интерес следующие труды: Л. Цеплитис, Н. Катлаке, *Основы выразительной речи*, «Izteiksmīgas runas pamati», Rīgā, 1968; Л. К. Цеплитис, Н. Я. Катлаке, *Теория публичной речи*, Рига, 1971.

<sup>10</sup> Т. Јакубайте, D. Krištopovska, V. Ņozola, R. Prūse, N. Sika, *Latviešu valodas biežuma vārdnīca. I sēj. Tehnika un rūpniecība*, I—II d., Rīgā, 1966—1968, II sēj. *Laikraksti un žurnāli*, 1—2 d., Rīgā, 1969.

<sup>11</sup> Вопросы орфографии в лингвистике всегда уделялось большое внимание; в разработке этих проблем латышскими лингвистами накоплен богатый и интересный опыт. Однако орфография к развитию языка имеет, как известно, только косвенное отношение, что дает нам право орфографические проблемы в этом кратком обзоре опустить.

щевных вопросам передачи на латышский язык древнегреческих, испанских, персидских и арабских имен.

В конце 50 и начале 60-х годов первоначальная тематика, разрабатываемая в группе культуры речи, значительно расширилась за счет освещения вопросов, касающихся понятия «правильности» речи и оценки литературности существующих норм. В таком расширенном виде содержание работы группы культуры речи отражено в рецензируемых сборниках. По тематике опубликованных статей материал сборников условно можно делить на две части: популяризацию лингвистических знаний (около 12 статей) и собственно нормализацию речи и письма (свыше 200 статей). Это деление условно потому, что статьи первого раздела, как правило, обращены в сторону проблематики культуры речи, а статьи второго раздела, в свою очередь, не ограничиваются указаниями, как надо или не надо говорить, а одновременно разъясняют историю и лингвистическую суть тех или иных феноменов языка. Приведем несколько примеров популярных лингвистических заметок. В статье Т. Порите «Памяти Я. Эндзелина» (1968) показаны взгляды выдающегося языковеда на проблемы культуры речи и его вклад в эту область латуанистики. В статье Х. Бендикс «На пути к современному письму» (1969) кратко изложена история и принципы латышской орфографии, а также преемственность последних в упорядочении актуальных проблем современного письма; в работе А. Ахеро «О заимствованиях латышского языка» (1967) дан лингвистический анализ путей и способов лексических заимствований из одного языка в другой, оценка интернационального и национального факторов в этом процессе, их место и специфический вес в словарном фонде латышского языка. Небесполезными для широкого читателя представляются также элементарные сведения о готовящемся к изданию первом толковом словаре латышского языка, обзор заимствований из литовского языка в латышском, а также заметки о законах развития лексики и фразеологии.

Основная масса статей в рецензируемых сборниках посвящена самым разнообразным вопросам речевой практики современного латышского литературного языка. Небольшие заметки освещают конкретные случаи нарушения нормы по всем ярусам языка: орфоэпии, грамматике, синтаксису, словообразованию, лексике, стилистике, орфографии, практической транскрипции и др. Широко представлен также анализ особенностей различных коммуникативных сфер языка: художественной литературы и поэзии, публицистики, печати, деловой речи, терминологии и т. п. Латышские лингвисты не упустили из виду и сфер общения в слабо контролируемых массовых коммуникациях: языковое оформление различных афиш, театральных и концертных программ, вывесок, прејскурантов, ценников, названий учреждений и т. п.

Ряд статей посвящен актуальной проблеме взаимодействия языков. Проблеме двуязычия посвящены специальные статьи, в которых разбираются отдельные факты влияния русского языка на латышский. В оценке изменений в языке, вызванных иноязычным влиянием, латышские лингвисты пользуются критерием коммуникативного совершенства. Все, что способствует усовершенствованию точности, краткости и выразительности высказывания, одобряется, независимо от характера экстралингвистических факторов, вызвавших к жизни эти изменения. Показательны в этом отношении статьи А. Ахеро (1965, стр. 31—38) и частично И. Эдельмане (1971, стр. 73—85), в которых, наконец, «реабilitируются» (спустя 100 лет после появления их в латышском языке) сложные прилагательные типа *debeszils* «голубой, как небо», возникшие под влиянием немецкого языка (ср. нем. *himmelblau*). Появившуюся под влиянием русского синтаксиса конструкцию с предлогом *pie* со значением условности в медицин-

ских текстах (*pie gripas* «при гриппе») защищает М. Эндзелина (1966, стр. 134—136), убедительно показывая преимущество этой конструкции как более краткой, емкой и гибкой по сравнению с другими перифрастическими выражениями этого понятия.

С указанных выше позиций нецелесообразным представляется введение в обиход новых лексических единиц, дериватов, словоформ или оборотов, лишь дублирующих ранее имевшиеся в языке средства и не несущих в себе новой дополнительной информации, а также не совершенствующих коммуникацию с точки зрения формы; латышские лингвисты считают, что эти конструкции загромождают парадигматический ряд высказывания. Статей, ведущих борьбу с засорением латышского языка в этом направлении, в сборниках много. Например, обращено внимание (1969, стр. 36) на буквальный перевод названий грузовых машин типа *mācībi* «учебная», *dienesta* «служебная» и мн. др. Латышский генитив, хотя обычно и соответствует русскому прилагательному, в абсолютном употреблении не может выполнять той номинативной функции, которую требует данная коммуникативная ситуация. Лингвисты не без оснований возражают против ненужных «неологизмов», таких, как названия деревьев: *pihta*, *samšīts*, рыб: *skumbrija* и т. п., при наличии в языке установившихся обозначений данных реалий: *baltegle*, *buksus*, *makrele* и т. п. (1966, стр. 89).

Защищая стабильность традиционных грамматических норм, авторы не могут примириться с чуждыми системе латышского языка формами возвратных глаголов, употребляемых под влиянием русского языка в значении пассива (1966, стр. 128—134). Эти формы уже не одно десятилетие бытуют в просторечии и неотступно пробивают себе путь в литературный язык. Думается, что в этом и подобных случаях авторам статей следовало бы более аргументированно, более убедительно показать преимущества традиционно-литературных выражений (ср. *Tālumā redzams mežš* «Вдали виднеется лес») по сравнению с кальками из русского языка *Tālumā redzas mežš*. Апеллирование к неприкосновенности системы латышского языка здесь может оказаться недостаточно убедительным основанием.

Любопытным моментом, характерным для развития лексики латышского языка в советское время, является неравномерная активизация отдельных лексем языка под воздействием русского языка. Полисемия отдельных русских слов служит как бы катализатором для развития многозначности их латышских эквивалентов. Такой процесс произошел, например, в развитии семантической структуры глаголов *atzīmēt* «отметить», *noformēt* «оформить», *izpildīt* «выполнить» и др. (1966, стр. 5—18). Бурное развитие полисемии в подобных латышских словах происходит за счет свертывания их синонимов. Этой тематике в сборниках уделено немало внимания.

Если на развитие лексики советского периода большое влияние оказывает внешне малозаметное, но глубокое подводное течение — билингвизм, то процессы, происходящие на уровне грамматики, можно было бы себе представить как подчиняющиеся исключительно своим автономным внутренним законам. Тем не менее и в грамматике некоторые изменения были стимулированы факторами социального характера.

Косвенно связаны с изменением в социальной структуре общества сдвиги в глагольной системе латышского литературного языка. Выравнивание малопродуктивных классов глаголов по продуктивным — этот процесс в диалектной и разговорной речи протекал уже давно. В последнее время лингвистами было замечено, что в речи большинства говорящих на латышском языке многие глаголы второго спряжения начинают спрягаться по образцу III спряжения. С точки зрения повышения информативности языка это рационально, так как способствует разграничению форм прошедшего и настоящего времени. Поэтому лингвисты к этому наруше-

нию в исконной глагольной системе относятся весьма снисходительно. Как уже отмечалось, в решениях Орфографической комиссии 1958 г. это колебание было зарегистрировано с допущением параллельных форм. Но вот не прошло еще и десяти лет, как член этой же комиссии Х. Бендикс (1966) пишет, что из двух вариантов в практике языка начинают преобладать новые более краткие формы глаголов. И, наоборот, слияние флексий 2-го лица мн. числа настоящего и будущего времени с флексиями повелительного наклонения, не менее часто встречаемые в ненормированной речи, автор порицает, так как это «новшество» не способствует ясности и точности выражения мысли.

В этой связи необходимо отметить следующее: когда авторы заметок говорят о большей или о меньшей степени распространенности одних или других форм в народной речи, то они опираются на данные диалектов и часто оценивают эти формы в городской разговорной речи «на глазок». Не отрицая важности лингвистической интуиции, все же в будущем желательны количественные критерии в языке подкреплять более точными статистическими данными.

На уровне современной лингвистики решены в сборниках вопросы нормы и стиля. «Умение ориентироваться в ресурсах языка — это один из показателей культуры речи говорящих», — пишет М. Стенгревиц (1971, стр. 36). Даже варваризмы и жаргонные слова могут быть употреблены в литературной речи, только к месту — показывает далее автор статьи. Статьи по стилистике, проникнутые широтой и гибкостью взглядов и чувством историзма, можно отнести к лучшим в сборниках.

В целом рецензируемые сборники, несомненно, способствуют повышению культуры речи латышского языка. Принципиально верными представляются теоретические позиции авторов — новое более широкое понимание нормы литературного языка, чем это было в досоветское время, и критерии оценки языковых инноваций. Положительной оценки также заслуживает популярное изложение материала, вдумчивая аргументация своих доводов, а при разборе ошибок обязательный показ их правильной замены. Последнее очень важно, так как серия рассчитана на широкого читателя. За исключением единичных статей большинство их поднимает вопросы действительно актуальные для современного языка и решает их на уровне современной лингвистики.

В течение шестилетнего существования рецензируемой серии по культуре речи накопился значительный эмпирический материал. Можно пожелать редколлегии и авторам сборника, чтобы этот материал был обобщен с точки зрения тех новых теоретических позиций, к которым пришли латышские лингвисты, значительно изменив взгляды на литературный язык и его норму по сравнению с досоветским периодом. Для большинства читателей — нелатышей, находящихся за пределами Латвии и интересующихся теоретической проблематикой сборника, его содержание остается недоступным. Во многих республиканских изданиях авторы выходят из этого затруднения, печатая резюме ведущих статей на русском и английском языках. Это значительно облегчило бы обмен информацией и обеспечило бы возможность более широкого знакомства с результатами исследований, проводимых учеными Латвии.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

*A. Juckevičius. Daugiakalbystės psichologija. (Apybraiža).—Vilnius, 1970, стр. 279.*

В многонациональном советском государстве при наличии большого количества наций, народностей, этнических групп весьма важное значение приобретают вопросы двуязычия и многоязычия. Для малых народностей владение несколькими языками совершенно необходимо, так как способность общаться на нескольких языках — одно из важнейших условий дружеского сотрудничества наций, средство социальной адаптации отдельных членов общества. Поэтому понятен тот интерес, который в последние десятилетия проявляют лингвисты, социологи, философы и психологи к проблемам двуязычия и многоязычия. Поскольку явления эти сложны, многоаспектны, в их изучении требуется применение методов ряда наук.

Одному из аспектов многоязычия посвящен очерк А. Яцкевичюса «Психология многоязычия». Автор 14 лет проводил наблюдения над становлением многоязычия, организовал ряд экспериментов. Книга рассчитана на учителей родного, русского и иностранных языков, на методистов, воспитателей детских садов, родителей многоязычных семей, на широкий круг читателей. Однако проблемы, которые ставит автор, несомненно, заинтересуют и психологов, переводчиков, социологов и других читателей, имеющих дело с теорией и практикой многоязычия.

В книге 6 глав, в которых рассматривается широкий круг вопросов: история развития учения о психологии многоязычия, особенности формирования многоязычия в дошкольном возрасте, изучение языков в школе, вопрос о самостоятельном изучении языков, динамика специфических явлений многоязычия, вопросы диагностики многоязычия. Книга снабжена обширной библиографией работ на русском, литовском и иностранных языках и краткими резюме на русском и английском языках.

Термином «многоязычие» (*daugiakalbystė*) в очерке обозначается не только способность индивида общаться на двух или более языках, но и распростра-

ность разных языков в коллективах людей (стр. 5). Автор исходит из положения о том, что многоязычие — это прежде всего явление индивидуальной психики и в качестве такового является объектом психологии. Подчеркивая социальную обусловленность явления, А. Яцкевичюс правильно указывает, что «многоязычие начинает формироваться лишь тогда, когда для общения недостаточно одного языка, когда среда создает многоязычную ситуацию, противоречащую возможностям одноязычного индивида» (стр. 249).

Глубокое понимание причин возникновения двуязычия и многоязычия, социальной обусловленности их распространения и развития сказывается в выборе способа исследования психологических закономерностей формирования многоязычия. Исследования двуязычия и многоязычия на материале долголетнего наблюдения над закономерностями формирования многоязычия у отдельных индивидов проводились И. Ронжа, В. Леопольдом, Н. В. Имедадзе. А. Яцкевичюс изучает становление многоязычия на материале синхронного изучения многоязычных индивидов разного возраста: дошкольников, учащихся средней школы, студентов и др. Основным методом исследования является эксперимент, хотя в отдельных случаях автором применяются другие методы — наблюдение за речевой деятельностью, интервьюирование, анкетирование, изучение биографии индивида, самоанализ.

Исследование проводилось, в основном, в Литовской ССР, в некоторых случаях приводятся материалы, собранные в Эстонской ССР. В этих республиках в силу ряда причин синхронного и диахронного характера очень активны процессы распространения двуязычия и многоязычия. Так, в Литовской ССР корни многоязычия относятся ко временам Великого Литовского княжества; уже с XIII в., когда в деловой письменности Литвы употреблялись в большей или меньшей степени латинский, немецкий, позже польский и русский (древнерусский) языки. Больше всего был распростра-

нен русский (древнерусский) язык, который длительное время выполнял функции делового языка, в судопроизводстве он употреблялся даже до 1697 г. (1). На латвиском языке писались некоторые дипломатические бумаги, это был язык религиозного культа. Немецкий язык использовался в незначительной степени для составления официальных писем, адресованных крестоносцам и меченосцам. Польский язык мало употреблялся в деловой письменности, он в основном функционировал в качестве разговорного языка феодальной верхушки Литвы. Для распространения многоязычия большое значение имели тесные исторические связи литовского народа со славянскими народами, в частности с русскими и польскими народами.

Распространению двуязычия и многоязычия способствуют современные этнолингвистические условия республики. В Литовской ССР проживает многонациональное, многоязычное сообщество, нуждающееся в общем языке для производственной, культурной и других сфер жизни. По данным переписи населения 1970 г. в республике литовцы (коренная национальность) составляют 80,1 % жителей, русские — 8,6%, поляки — 7,7%, белорусы — 1,5%, есть и другие народности. Развитие двуязычия и многоязычия особенно активизируется тем, что жители некоренных национальностей по республике расселены неравномерно, в связи с чем в городах и некоторых районах республики наблюдается острая социальная необходимость в развитии социально-активных форм двуязычия и многоязычия. Вышеизложенное позволяет с полной уверенностью утверждать, что исследователем место для сбора материала выбрано очень удачно. Автора можно было бы упрекнуть лишь в том, что объектом своего исследования он сделал не социально активные в Литовской ССР типы многоязычия (литовско-русско-польское, польско-литовско-русское, литовско-польско-белорусское и др.), а многоязычие с языками, не идентичными по сферам их активного использования (литовско-русско-иностранные многоязычие). Иностранные языки являются предметом изучения в школе, однако почти совсем не используются в других сферах жизни обследуемых индивидов — в сфере повседневного общения, в сфере массовой коммуникации и др. Именно ограниченность функционирования иностранного языка в жизни индивидов, а также недостаточно высокий уровень его усвоения в школе в ряде случаев, на наш взгляд, мешают автору выйти за пределы двуязычия и отразить психологические закономерности, свойственные формированию собственно многоязычия. Видимо, более плодотворным могло оказаться исследование литовско-русско-польского

или литовско-русско-белорусского многоязычия. Польский язык в некоторых районах Литвы, например Вильнюсском, Эйшишкском, употребляется в ряде сфер — в сфере бытового общения, в сфере радио, печати, в сфере начального и среднего образования. Активное использование индивидами всех трех языков, их функциональное равновесие, на наш взгляд, дало бы убедительный материал для наблюдений над взаимодействием не только первого и второго языков, но и второго — третьего, первого и третьего.

Центральная проблема очерка — генезис многоязычия. Параметрами формирования многоязычия автор считает факторы, определяющие: 1) процесс формирования многоязычия, 2) темпы его формирования, 3) сложную структуру явления и взаимодействие его компонентов; 4) влияние нового, формирующегося явления на другие явления психики индивида (стр. 11). В очерке последовательно рассматриваются этапы становления многоязычия в дошкольном возрасте, в школьный период, анализируется процесс самостоятельного научения языков взрослыми. Автор справедливо отмечает, что, осваивая родной язык, индивид приобретает не только навыки и умения, необходимые для овладения родным языком (умение дифференцировать и воспринимать специфические для родного языка звуки, умение применять специфические правила соединения слов родного языка в коммуникативные единицы), но и навыки, умения, необходимые для речевой коммуникации на любом языке (развитие аппаратов слуха и артикуляции, умение объединять объект с комплексами звуков, умение планировать акт говорения и др.).

Выделяя двуязычие в качестве одного из этапов становления многоязычия, автор разграничивает раннее организованное и раннее неорганизованное (стихийное) двуязычие. Наблюдения А. Яцкевичюса свидетельствуют, что раннее массовое и неорганизованное двуязычие и многоязычие может повлечь за собой явления смешения языков, усиление интерференции на разных уровнях системы языка, опасность образования социального жаргона. Понимая специфику этнолингвистических и социально-экономических условий функционирования языков в Литовской ССР, наличие в ряде районов социальной неизбежности раннего двуязычия и многоязычия, автор считает целесообразным применение в таких случаях метода разграничения языков в детской психике («одна среда — один язык», стр. 80). Автор уверен, что внесение элемента сознательности в билингвизм многоязычие на ранних этапах, моментов организованности речевой практики, ее регламентированности могут предот-

вратить нежелательные явления, вызываемые стихийным ранним многоязычием. В более поздние периоды формирования многоязычия профилактическим средством против смещения языков, интерференции, по мнению А. Яцкевичюса, может служить обучение технике правильного перевода.

А. Яцкевичюс приводит много интересных наблюдений, касающихся психологических закономерностей освоения школьниками лексики, функциональной грамматики второго и третьего языков. Автор доказывает, что результаты обучения языкам в школе гораздо ниже оптимальных. Главная причина в том, что не всегда изучение языков строится на основе теории обучения, признающей определяющими обучение факторами благоприятную мотивацию изучаемого, повторение изучаемых явлений и положительное подкрепление отдельных повторений.

Много внимания автор уделяет динамике специфических явлений многоязычия. Здесь рассматриваются процессы перевода с одного языка на другой, их темпы и языковое качество, умение выполнять сенсомоторные команды, способность восприятия и запоминания информации на первом, втором и третьем языках, умение передавать информацию средствами разных языков, а также закономерности формирования вербальной памяти в процессе становления многоязычия. Внимание автора привлекают процессы взаимодействия первого, второго и третьего языков в психике индивида. Интерференция здесь выступает как результат этого процесса. Общие правила психологии, позволяющие избежать интерференции, — это унификация методов обучения, хорошее закрепление знаний и навыков, стандартизация ситуаций и реакций или же образование наибольших различий между ними. Осво-

вываясь на этих общих правилах, а также на собственных наблюдениях, экспериментах, А. Яцкевичюс подчеркивает необходимость унифицирования знаний предмета учителями-словесниками, важность унификации методов обучения иностранным языкам, а также значение детального научного исследования сходств и различий родного и неродного языков.

Важное принципиальное значение в связи с неразработанностью методов научного измерения знаний языка имеет глава «Проблемы диагностики многоязычия». Для научного измерения уровня знаний языков автор считает необходимым применение психолингвистических тестов. Наблюдения, анкетирование, самоанализ, методы школьного контроля, по мнению А. Яцкевичюса, недостаточно точны и экономичны. Приводятся иллюстрации практического составления и применения психолингвистических тестов (тест коммуникации, тест интравербальных ассоциаций на втором языке и др.). Тесты составлены с учетом сложений и расхождений русского и литовского языков.

Автор стремится к точности, документированности. В книге много интересно фактического материала, приводится анализ большого количества экспериментальных данных, в ряде случаев изложение поясняется схемами, таблицами.

В книге А. Яцкевичюса «Психология многоязычия» обстоятельно и глубоко рассматриваются вопросы двуязычия и многоязычия. Этот труд вводит в научный обиход материалы по литовско-русскому двуязычию и разным типам многоязычия и дает хорошее начало большой работе по изучению билингвизма и многоязычия в Литве. Представляется весьма желательным издание данного труда А. Яцкевичюса на русском языке.

*В. Ю. Мизальченко*

«Slovník spisovného jazyka českého», I, A—M.—Praha, 1958—1960, 1311 стр.; II, N—Q.—Praha, 1960—1964, 1196 стр.; III, R—U.—Praha, 1964—1966, 1088 стр.; IV, V—Ž, Doplnky a opravy.—Praha, 1966—1971, 1040 стр.

Выход в свет толкового словаря — это обычно подведение итога целой эпохе развития лексического фонда нации. Эпоха, которую отражает «Словарь литературного чешского языка» (далее — СЛЧЯ), имеет для чешской нации особое значение: это период установления государственной самостоятельности Чехословакии (с 1918 г.) и период социализма (с 1945 г.). Естественно, что бурный поток лексики, отражающей социальный и

технический прогресс этих лет, потребовал лексикографического оформления. Это было уже невозможно сделать в рамках восьмитомного «Настольного словаря чешского языка»<sup>1</sup>: «современное состояние» чешского литературного языка понималось в последнем очень широко, охватывая период примерно с 1880 г.

<sup>1</sup> «Příruční slovník jazyka českého», Praha, 1935—1957.

Составители СЛЧЯ во многом опирались на лексикографический опыт, приобретенный при работе над восьмитомным академическим словарем. Без принципов, которые разрабатывались в ходе его создания, без квалифицированных лексикографов, выросших в процессе его составления, выход в свет СЛЧЯ был бы невозможен. Однако если основной целью «Настольного словаря» была «совершенная полнота» (plná úplnost) чешской лексики как XIX, так и XX вв., то основная задача СЛЧЯ — «дать точную картину всего современного словарного запаса литературного чешского языка» (I, стр. I).

Современный характер нового чешского толкового словаря особенно ярко проявляется в оперативной регистрации новой лексики. Примером подобной регистрации может служить отражение в словаре такой актуальной лексической группы, как лексика, связанная с освоением космоса. Слова *sputník* «спутник», *luník* «лунник», *kosmická raketa* «космическая ракета», *kosmická první rychlost* «первая космическая скорость», *kosmonaut* «космонавт» и под. буквально выхвачены из горнила публицистики. То, что не успело войти в основной корпус словаря, вошло в «Дополнения» (IV, seš. 40), как, например, сочетание *kosmická loď* «космический корабль».

Авторы смело черпают материал не только из художественной литературы, но и из многочисленных источников специального характера. Рецензенты упрекали составителей за очень широкое понимание термина «литературный язык», выразившееся прежде всего в массовом включении технической терминологии<sup>2</sup>, или за то, что «лишь очень внимательный читатель выберет из „Словаря литературного языка“ факты современного литературного употребления»<sup>3</sup>.

Этот, с точки зрения строгих кодификаторов литературной нормы, недостаток становится неопределимым достоинством для тех читателей, которые будут искать в словаре сведения о самых различных сферах употребления чешского языка. Широкий охват лексики современного языка не означает отказа от описания литературной нормы. Составители лишь объективно констатируют таким образом факт, что современный литературный язык соприкасается с языком разговорным, с профессиональной сферой и социальными диалектами. Для чешского литературного языка эти процессы, пожалуй, особенно характерны.

<sup>2</sup> M. Ve u, [рец. на кн.:], *Slovník spisovného jazyka českého*, I, A—M, BSLP, 56, 1961, стр. 212.

<sup>3</sup> I. Poldauf, *K dokončení Slovníku spisovného jazyka českého* (1958—1971), SaS, 3, 1971, стр. 260.

Диалектический подход авторов словаря к литературной норме сформулирован Б. Гавранком, руководителем словарного коллектива и главным редактором всех выпусков: «Словарь дает сведения о словарном запасе, который принадлежит норме литературного чешского языка и помогает ее развивать и стабилизировать в новых сферах труда и мышления. Он, однако, переходит за границы этой нормы тем, что фиксирует и объясняет также и слова, мало употребляемые в литературном языке, слова и сочетания устаревшие, местные или профессиональные (обиходно-разговорные, диалектные, сленговые и арголические), — но лишь постольку, поскольку читатели сталкиваются с ними в значительных произведениях нашей литературы и поэтому могут по праву ждать, что найдут в словаре сведения о них» (I, стр. V). Этот принцип отбора лексики последовательно проводится в словаре.

Полный и всесторонний охват современной чешской лексики сочетается в СЛЧЯ с высоконучными приемами ее лексикографической обработки. В словаре нашли отражение как практические успехи чешской лексикографии, имеющие вековые традиции (словари А. Велеславина, словарь Й. Добровского, словарь Й. Юнгмана, словарь Ф. Травничка, «Большой русско-чешский словарь» под ред. Л. Коцецкого, Б. Гавранка и К. Горалка и др.), так и новейшие теоретические достижения в области лексикологии.

Органическая связь теории с практикой — характерная черта СЛЧЯ. Весьма показательна, что история создания восьмитомного «Настольного словаря чешского языка» — это и история основания и развития Института чешского языка АН ЧССР, 25-летний юбилей которого отмечался в 1971 г. Этот институт, ставший крупным славистическим центром с мировым именем, вырос из Канцелярии «Словаря чешского языка», основанной в 1911 г.<sup>4</sup>

Авторский коллектив СЛЧЯ, работающий под руководством Б. Гавранка, — это опытные лексикографы-практики и в то же время лингвисты, известные своими работами в области лексикологии, словообразования, синтаксиса: Й. Филипец, Ф. Гавлова, Л. Янский, К. Козлова, Л. Кроупова, Я. Махач, Г. Марешова, Б. Папирникова, З. Сохова, Е. Водражкова и Й. Зима, участвующие в работе над всеми выпусками; В. Червена, М. Хуравы, В. Майстрик, Е. Покорна и Б. Поштолкова, внесшие свой вклад лишь в часть словаря.

<sup>4</sup> См. брошюру «25 let Ústavu pro jazyk český», Praha, 1971 и статьи Я. Махача, Ф. Данеша, М. Докулила журнале «Naše řeč», 4, 1971.

В редакции словаря участвовали такие крупные лингвисты, как Я. Белич, М. Гейдл и А. Едячка. Первые два тома редактировали Ф. Травничек и В. Кршистик.

Основная цель СЛЧЯ — дать полное и детальное описание чешского словарного запаса. Как единодушно отмечают многочисленные рецензенты (И. Полдауф, Ш. Пециар, Ф. Пуржин, М. Елинек, В. Вланар, В. Кршистик, Л. Киш, М. Вей, С. Е. Манн<sup>5</sup>), эту цель СЛЧЯ успешно выполнил.

Не менее удачно справился словарный коллектив СЛЧЯ и с чисто кодификационной задачей: дать широкому читателю орфографические, грамматические, фразеологические, стилистические и синонимические рекомендации. Ко времени разработки принципов словаря еще не было надежных пособий по некоторым из указанных разделов чешского языкознания. Характерно, что именно работа над СЛЧЯ стимулировала создание как таких практических пособий, так и научных монографий<sup>6</sup>.

Практическая направленность СЛЧЯ, его предназначенность самому широкому кругу читателей — одно из наиболее важных отличий его от академического «Настольного словаря». В то же время принципы построения словарных статей СЛЧЯ отличаются теоретической цельностью и последовательностью. В создании толковых словарей известно много примеров, когда методы и принципы лексикографической обработки менялись с каждым томом. СЛЧЯ в этом отношении — исключение, если не считать некоторой непоследовательности в привлечении синонимических рядов (в первых томах они гораздо беднее, чем в последних). Структурное единство словаря обусловлено как четкими задачами, поставленными составителями, так и тем фактом, что принципы словаря подверглись очень широкому предварительному обсуждению на материале пробных статей, вышедших в 1953 г., в котором участвовало более 100 специалистов.

В СЛЧЯ последовательно проводится ограничения в плане четырех основных противоположений, предложенных Л. В. Щербой и разработанных советскими лексикографами: словарь энциклопедический и словарь филологический; словарь современного состояния языка и словарь исторический; словарь литературного языка и словарь разговорного

(обиходного) языка; словарь общего литературного языка и словарь писателя<sup>7</sup>.

Особенно четко отграничиваются в словаре нормативно-стилистические задачи современного языка от задачи исторического описания лексики. Это разграничение, как известно, до сих пор не соблюдается даже в самых совершенных толковых словарях<sup>8</sup>. Единственными отклонениями от четкой дифференциации синхронии от диахронии в СЛЧЯ являются, пожалуй, включение кратких сведений о происхождении заимствованных слов и описание лексики авторов-классиков прошлого века (К. Г. Маха, Й. К. Тыл, К. Гавличек, В. Немцова и др.). Первое «отклонение», однако, оправдывается нормативно-орфографической задачей, поставленной авторами словаря<sup>9</sup>, второе — постоянным обращением современного чешского читателя к классической национальной литературе.

Соблюдение перечисленных лексикографических оппозиций проявляется также и в способе толкования слов. Составители СЛЧЯ понимают толкование значений слова как объективное отражение «основных признаков слова». Толкование значений, следовательно, — это «ни вещественное описание (как в энциклопедии), ни логическая дефиниция» (I, стр. XII). Этот принцип в словаре проводится даже в тех случаях, когда подобное разграничение весьма затруднительно. Примером может служить толкование слова *děkan* в СЛЧЯ и в чешском «Кратком энциклопедическом словаре»:

«*Děkan* 1. церковн. (sík.). Почетный титул управляющих приходами; устар. также непосредственный начальник духовных служителей, управляющих несколькими церквами определенного прихода; первоначально начальник десяти монахов; 2. учебн. (škol.). Преподаватель вуза, руководящий в течение определенного времени факультетом» (I, стр. 289).

<sup>7</sup> Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3; ср.: Л. С. К о в т у н, Специфика характеристики значения слова в словарях разного типа. «Тезисы докладов на совещании, посвященном итогам работы над „Словарем современного русского литературного языка“ (1948—1965 гг.) и перспективам работы над словарями современного русского литературного языка», Л., 1966.

<sup>8</sup> См.: Ю. С. С о р о к и н, Элементы историзма в «Словаре современного русского литературного языка» и задачи создания исторических словарей русского языка нового времени, там же, стр. 5.

<sup>9</sup> Следует заметить, что спецификой чешской орфографии является сохранение написания заимствованных слов в форме, принятой в языке-источнике.

<sup>5</sup> Библиографию см.: V. K ř i s t e k, Slovník spisovného jazyka českého, «Naše řeč», 4, 1971, стр. 236.

<sup>6</sup> Ср., например: «Pravidla českého pravopisu», Praha, 1957 (vyd. druhé—1966); J. F i l i p e s, Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, Praha, 1961.

«*Děkan* (лат.) 1. Католический церковнослужитель, см. также *duchovenstvo*. 2. Академический служащий, который руководит факультетом вуза и несет ответственность за ее деятельность перед ректором; в вузах ЧССР его назначает министр образования и культуры сроком на два года»<sup>10</sup>.

При сопоставлении этих толкований особенно четко заметно различие лексикографической обработки второго значения слова *děkan*, соответствующего русскому *декан*. Филологический принцип толкования этого значения в СЛЧЯ выдержан безупречно.

Приведенный пример также показывает, что в необходимых случаях, когда выделение «основных признаков слова» невозможно без точной предметно-вещественной характеристики, составители словаря приближаются к энциклопедическому толкованию. Без такой характеристики первое значение слова *děkan* утратило бы свою терминологичность и привело бы к неверному его пониманию.

Такое приближение к энциклопедическому толкованию вообще свойственно для описания лексики различных терминологических сфер, обильно включенной в СЛЧЯ. Однако, и это необходимо подчеркнуть, это приближение почти никогда не приводит к смещению филологического и энциклопедического принципов толкования значений.

Лексикологи нередко отмечают определенную непоследовательность толкования таких групп слов, «самая семантическая структура которых следует достаточно регулярной форме», например, разноряд при лексикографической характеристике названий деревьев<sup>11</sup>. Случай подобной непоследовательности можно выявить и в рецензируемом словаре. Ср. ряд толкований из области названий деревьев:

«*Buk* (бук) крепкое дерево с гладкой серебристо-серой корой, могучей кроной и яйцеобразными листьями» (I, стр. 183);  
«*Oleš* (ольха) лиственное дерево или кустарник с мужским соцветием в виде сережек и женским — в виде древообразных шишечек» (II, стр. 384);

«*Topol* (тополь) стройное лиственное дерево (III, стр. 841);

«*Verba* (верба) дерево или куст с гибкими ветвями и с продолговатыми заостренными листьями» (IV, стр. 151).

Далеко не всегда подобную пестроту при толковании лексики, входящей в одно семантическое поле, можно оправдать. Однако нередки случаи, когда такого

разнообразия требует семантическая структура слова. Таковы, например, толкования слова *líra* (лира) и *dub* (дуб), для которых удачно подчеркиваются специфические характеристики:

«*Líra* дерево с могучей кроной и сердцевидными листьями, обильно покрывающееся мелкими пахучими цветами, часто символ славянства или чешской нации» (I, стр. 1117);

«*Dub* дерево с перисто-лопастными листьями и с плодами-желудями, дающее твердую древесину» (I, стр. 418).

Последнее толкование, включающее такую важную характеристику дуба, как твердость его древесины, служит своеобразным трамплином для дальнейшего исчерпывающего описания (в виде толкований или демонстрации минимального контекста) системы коннотаций, относящихся к этому слову (ср. *silný*, *tvrdý*, *krpeš*, *zdravý* как *dub*). Для слова же *líra* коннотативная характеристика совершенно оправданно включена в толкование.

Большинство толкований СЛЧЯ, при всей их лапидарности, можно назвать исчерпывающими. Этому способствует и широкое привлечение синонимов к толкованию слова, особенно характерное для последних частей словаря. Синонимы используются для более детального семантического членения слов, для выделения оттенков слов в сочетаниях, для объяснения переносного употребления слов и значений фразеологизмов.

Иногда авторы словаря пользуются синонимом вместо толкования. Это бывает в случаях, когда комбинация стилистической пометы и синонима дает представление о семантическом употреблении слова, например: «*krápěj*, ž. kniž. *kapka*» (I, стр. 1008). Вряд ли подобная комбинация может быть признана удовлетворительной характеристикой слова для толкового словаря. Даже в приведенном предельно простом примере можно было бы отметить различное отношение лексем *kapka* и *krápěj* к признаку «величина»: если для первой признак «ничтожно малая величина» стал устойчивой коннотативной характеристикой, то для второй отнюдь не обязателен. Кроме того, можно поставить под сомнение и отнесенность слова *krápěj* к книжному пласту лексики: ср. его употребление в народной поговорке *neumí krápěj od krupobití rozeznat* «он глупец» [буквально: «он не умеет крупинку отличить от града»]<sup>12</sup>.

Подмена толкования синонимом или синонимическим рядом представляет и другую опасность, на которую справедливо указал в своей рецензии И. Полдауф: приведение синонимов вызывает стремление членить значение, покрывае-

<sup>10</sup> «Příruční slovník naučný», díl I, Praha, 1962, стр. 519.

<sup>11</sup> Д. Н. Ш м е л е в, Вопросы семантической структуры слова и строение словарной статьи, «Тезисы докладов на совещании...», стр. 15.

<sup>12</sup> J. Z a o r á l e k, Lidová řeč, Praha, 1963, стр. 190.

мое словом, в соответствии с существующими синонимами<sup>13</sup>.

Для уточнения значения слов составители СЛЧЯ используют и антонимы, давая их после толкования и синонимов в скобках. Включение антонимов в толкование особенно характерно для лексикографической обработки прилагательных. Ср. *dobru* «хороший», *bílý* «белый», *žerný* «черный» и подобные слова с регулярной отсылкой к соответствующему антониму.

Отграничение омонимии от полисемии — один из самых дискуссионных вопросов лексикологии и лексикографии. Составители СЛЧЯ в целом принципиально решают этот вопрос, выделяя омонимы там, где имеются образования разных эпох (например, *zábava* «забава, развлечение» и *zábava* «конфискация», образованные от глаголов *zavít* «забавлять» и *zabavit* «конфисковать» — IV, стр. 449)<sup>14</sup> либо широкая активность аффиксов и корневых элементов (например, *zástava* «зрелость, остановившая что-н., мешающее чему-н. в движении», «вещь, данная кому-н. в залог», «флаг, хоругвь» — IV, стр. 616). Далеко не всегда, однако, этот принцип проводится последовательно. С теоретической точки зрения, например, семантические характеристики лексемы *slunečnice* «подсолнечник» и «североамериканская рыба из рода окуневых», отраженные в словаре как различные значения одного слова (III, стр. 396), не менее оторваны друг от друга, чем омонимы *zábava* или *zástava*.

Компактная подача материала — одно из больших достоинств СЛЧЯ. Составителям удалось отразить самое ценное и самое типичное из девятимиллионной картотеки литературного чешского языка, хранящейся в Институте чешского языка АН ЧССР: если в восьмитомном «Настольном словаре чешского языка» — 250 тыс. словарных статей, то в четырехтомной СЛЧЯ — 193<sup>15</sup>.

Какими же путями достигается эта компактность? Прежде всего, сокращением цитатного материала. Составители отдают предпочтение минимальным контекстам, типовым — свободным и связанным — сочетаниям слов, полно отражающим валентность слов и довольно убедительно подтверждающим предлагаемое толкование.

Довольно большую экономию места дает и соединение в одной словарной статье нескольких вариантов или связанных ме-

жду собой формально и семантически лексем, включение различных сложных слов в словарную статью с общим первым формантом (например, *astro-*, *áereo-*, *hydro-* и под.). Такое конденсированное описание производных слов весьма рационально. Необходима, однако, особая осторожность при отнесении одного слова к другому на чисто парадигматической основе: при таком формальном подходе могут быть утеряны важные семантические характеристики производного слова, составляющие его индивидуальность. Именно такого «индивидуального» подхода, как кажется, не хватает при толковании многих относительных прилагательных и наречий, вошедших в СЛЧЯ как производные. Не была бы лишней и более детализированная стилистическая характеристика производных.

Компактная подача литературных контекстов в виде типичных сочетаний способствовала разработке фразеологии в СЛЧЯ. Переход от свободных сочетаний к фразеологически связанным естествен, постепенен, органичен. Особенно последовательно показана сочетаемость глаголов.

По богатству фразеологии СЛЧЯ значительно превосходит другие чешские словари. Обилие устойчивых сочетаний, приведенных под многими словарными статьями (например, *ruka* — III, стр. 195—197), могут позавидовать многие специальные фразеологические словари. СЛЧЯ в какой-то мере восполняет отсутствие фразеологического словаря чешского языка<sup>16</sup>.

Поиски устойчивых сочетаний лишь иногда облегчены отсылками. Чаще всего, однако, одно и то же толкование фразеологизма повторяется в разных словарных статьях (на его компоненты): *le stojí to ani za zlámanou grešlí* «абсолютно ничего» (буквально: «не стоит и ломаного гроша» — I, стр. 551; IV, стр. 767), *nasadit muži rohu (parohu)* «изменить мужу, сделаться ему неверной» (буквально: «наставить мужу рога» — II, стр. 91, 522; III, стр. 68). Такие приемы подачи фразеологии в СЛЧЯ неэкономны.

Кроме того, отказ от подачи фразеологизма лишь при ведущем слове<sup>17</sup> приводит к значительному разному в формальном и семантическом описании одних и тех же фразеологизмов. Например, под словарной статьей *Pardubice* даны две формы оборота с этим компонентом со сле-

<sup>13</sup> J. Poldauf, указ. соч., стр. 262.

<sup>14</sup> Ср. замечание Л. А. Булаховского об образовании этих чешских омонимов: Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953, стр. 57.

<sup>15</sup> Для сравнения уместно напомнить, что 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» включает 120 280 слов, а словарь В. И. Даля — 200 000.

<sup>16</sup> Вскоре этот пробел будет восполнен. В печати находятся «Русско-чешский фразеологический словарь» и «Чешско-русский фразеологический словарь», составленные А. Вурмом.

<sup>17</sup> Ср. понятие ведущего слова или константы у А. В. Кунина: «Англо-русский фразеологический словарь», М., 1956, стр. 8 и его лексикографическое использование в этом словаре.

дующими толкованиями: *rovědět někomu, zaš je v Pardubicích perník* «выбранить» (буквально: «рассказать кому-н., почему в Пардубицах пряник»); *rozpat, zaš je v Pardubicích perník* «быть наказанным, расплатиться» (буквально: «узнать, почему в Пардубицах пряник» — II, стр. 518). Под статьей *perník* тот же фразеологизм указывается уже с возможной заменой компонента *rovědět* на *ukázat*, формула *rozpat, zaš je v Pardubicích perník* совсем не приводится, а семантика приведенного фразеологизма не толкуется, а эквивалентно объясняется другим чешским фразеологизмом *dát někomu co proto* «дать вобучку кому-н.» (буквально: «дать кому-н. что за что» — II, стр. 560). Этот разнобой продолжается и дальше: под статьей *rovědět* упомянутый фразеологизм отсылочно указывается (II, стр. 826), а под статьей *ukázat* — уже нет (III, стр. 963).

Причиной подобных недочетов в подаче устойчивых сочетаний является, по-видимому, недостаточная теоретическая и практическая разработанность фразеологии в чешской лингвистике вообще и в лексикографии в частности. Нашему читателю, привыкшему к детальной (хотя далеко не всегда безупречной) классификации фразеологизмов, выделяемых разнообразными пометами, обозначение всех устойчивых сочетаний в СЛЧЯ пометой ♦ покажется слишком упрощенным и не даст представления о различной степени слитности компонентов. А такое разграничение было бы особенно уместно в словаре, так обильно фиксирующем свободную сочетаемость толкуемых слов.

Такая сдержанность при характеристике фразеологии особенно бросается в глаза на фоне четко разработанной, детализированной и тонкой системы помет, употребляемых авторами СЛЧЯ. Эта система обеспечивает подачу краткой и вместе с тем объективной и точной информации о стилистических и частотных качествах слова. Небольшое число условных обозначений (их всего шесть) с лихвой возмещается обилием помет и сокращений, которых в СЛЧЯ около двухсот. С помощью этих помет опытные лексикографы чрезвычайно тщательно решают в своем словаре проблему литературной и нелитературной лексики — проблему, столь важную для чешского национального языка.

Пользование словарем облегчает и высокое качество печатного оформления: пять типов шрифта хорошо оттеняют различные виды лексикографической обработки слова.

Требовательный лексикограф, вчитываясь в СЛЧЯ, сможет отыскать в этом большом труде немало спорного. Не пропустит он и таких недочетов и промахов,

как упрощенное семантическое описание некоторых частей речи (в особенности служебных слов), недостаточную семантическую дифференциацию некоторых грамматических категорий (например, видовые пары глаголов, категория числа существительных), не всегда одинаковое использование синонимов при толковании разных частей речи, некоторую непоследовательность в отражении словообразовательных структурных возможностей слова и под. Внимательный читатель найдет и отдельные неточности толкований, и некоторые противоречия в отражении графики и орфографии заимствованных слов, и опечатки. Однако на фоне огромного добросовестного лексикографического труда все эти недоработки кажутся мелочами.

Опыт, накопленный авторами СЛЧЯ в ходе его составления, уже стал основой многих научных работ. Этот опыт наверняка станет предметом самого тщательного изучения и обсуждения как в Чехословакии, так и за ее пределами<sup>18</sup>.

Как известно, 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка», удостоенный Государственной премии, стал источником и мощным импульсом для создания целой серии словарей современного русского языка различного типа. По такому же пути идут и чехословацкие лексикографы, усиленно работающие над созданием на базе СЛЧЯ словаря чешского литературного лексического стандарта, включающего предположительно 80 тыс. словарных статей<sup>19</sup>. Намечаются и другие лексикографические предприятия.

«Словарь литературного чешского языка» займет почетное место в мировой лексикографии. Практическая и научная ценность фундаментального труда чехословацких коллег огромна. Словарь сразу же после выхода в свет стал справочником, без которого не может обойтись ни один славист.

В. М. Мокиенко

<sup>18</sup> Одним из теоретических обобщений опыта СЛЧЯ в ЧССР является, например, содержательная статья В. Мейстршика, развивающая принципы подачи производных слов в словарях: V. Mejstřík, K možnostem využití nauky o tvoření slov při zpracovávání jednojazyčného výkladového slovníku, SaS, 4, 1971. В Советском Союзе лексикографический опыт СЛЧЯ стал темой канд. дисс. А. И. Неруш.

<sup>19</sup> Ср.: J. Machač, Zd. S o c h o v á, K problematice lexikálního standardu a jeho adekvatního popisu, SaS, 2, 1968.

**И. Йордан.** Романское языкознание. Историческое развитие, течения, методы. Переведли с рум. С. Г. Бережан и И. Ф. Мокряк. Под ред. и с примеч. Н. Г. Коротяну. Предисл. Р. А. Будагова. — М., изд-во «Прогресс», 1971. 619 стр.

Автор рецензируемой книги И. Йордан является ученым с мировым именем. Будучи учеником А. Филиппиде, основателя ясской лингвистической школы, И. Йордан получил возможность продолжить свое образование в Болне, Берлине и Париже у таких видных лингвистов, как В. Мейер-Любке, Ж. Жильерон, А. Мейе, М. Вагнер, Л. Шпитцер и др. Вот уже шесть десятилетий маститый ученый продолжает весьма плодотворно трудиться на поприще романского и главным образом румынского языкознания<sup>1</sup>, печатая свои многочисленные исследования на разных европейских языках и в разных странах<sup>2</sup>. Его перу принадлежат интересные работы в области топонимии, грамматики, стилистики, лексики, общей романистики, испанского языка и литературы, филологии и др. Советскому читателю И. Йордан знаком по переводу в 1950 г. на русский язык его грамматики румынского языка.

Среди монографических трудов И. Йордана особое место занимает книга «Романское языкознание». Впервые эта работа вышла в 1932 г. в Яссах под названием «Введение в изучение романских языков. Развитие и современное состояние романского языкознания»<sup>3</sup>. Через некоторое время книга была переведена на английский язык Дж. Орром, который дополнил ее библиографическими данными<sup>4</sup>. В 1962 г. И. Йордан переиздал свое «Введение...» в совершенно переработанном виде под названием «Романское языкознание. Историческое развитие, течения, методы»<sup>5</sup>.

Почти одновременно это сочинение было переведено с авторской рукописи на немецкий язык<sup>6</sup> акад. В. Банером, который дополнил книгу двумя новыми главами «Из предьстории романского языкознания» и «Структурные методы применительно к романским языкам», а также обновил библиографию. Спустя еще пять лет сочинение И. Йордана с рядом дополнений издается в Мадриде на испанском языке<sup>7</sup>.

Русский перевод рецензируемой книги осуществлен с румынского издания 1962 г.

Как справедливо отмечает в предисловии Р. А. Будагов, труд И. Йордана «Романское языкознание» коренным образом отличается от имеющихся общих руководств, обзоров и учебных пособий по романскому языкознанию<sup>8</sup>. Дело в том, что автор поставил перед собой задачу критически изложить не историю романских языков, а историю романистики, науки о романских языках. Таким образом, исследование И. Йордана выступает как «единственная в своем роде монография, дающая широкую картину развития школ и направлений в романском (а иногда и в общем) языкознании XIX и первой половины текущего столетия» (стр. 5).

Предлагаемая вниманию читателей книга состоит из предисловия к румынскому изданию, предисловия к русскому изданию, четырех глав, заключения, библиографических указаний, условных сокращений и трех видов указателей: а) предметного, б) именного и в) указателя слов.

Первая глава книги посвящается романскому языкознанию до 1900 г. (стр. 13—127). И. Йордан по праву считает, что до начала XIX в. не приходится говорить о научном романском языкознании, хотя вклад предыдущих эпох в подготовке почвы для подлинно научного подхода к проблемам романистики не может быть сброшен со счетов.

<sup>6</sup> I. Iordan, Einführung in die Geschichte und Methoden der romanischen Sprachwissenschaft (ins Deutsche übertragen, ergänzt und teilweise Neubearbeitet von W. Bahner), Berlin, 1962.

<sup>7</sup> I. Iordan, Lingüística románica. Evolución — Corrientes — Métodos (Re-elaboración parcial y notas de Manuel Alvar), Madrid, 1967.

<sup>8</sup> См., например: Э. Бурсье. Основы романского языкознания, М., 1952; W. Elcock, The Romance languages, London, 1960; C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, 4 ed., Bologna, 1964.

<sup>1</sup> В октябре 1971 г. акад. И. Йордану исполнилось 83 года. Первая его научная работа была напечатана в 1911 г.

<sup>2</sup> Общее количество его работ достигает примерно 450 (см. библиографию в юбилейном сборнике в честь 70-летия И. Йордана «Omăgiu lui Iorgu Iordan», București, 1958, стр. XV—XXX. Продолжение перечня трудов И. Йордана дано в его «Избранных работах»: I. Iordan, Scrieri alese, București, 1968, стр. VII—XIV).

<sup>3</sup> I. Iordan, Introducere în studiul limbilor române. Evoluția și starea actuală a lingvisticii române, Iași, 1932.

<sup>4</sup> I. Iordan, An introduction to Romance linguistics. Its schools and scholars. Revised, translated and in parts recast by J. Orr, London, 1937. Ср.: I. Iordan, Introduction to Romance linguistics, revised by R. Posner, 1970.

<sup>5</sup> I. Iordan, Lingvistica romanică. Evoluție. Curente. Metode, București, 1962.

Данте Алигьери, а за ним целая плеяда представителей эпохи Возрождения и последующих столетий: Робер Этьенн, Анри Этьенн, Юстус Иозеф Скалигер (во Франции), Элио Антонио де Небриха, Себастьян Коваррубас-и-Ороско (в Испании), Лодовико Муратори (в Италии) и др. оставили серьезные работы по романским языкам. Однако истоки романского языкознания следует искать в романтическом движении XIX в., а создателем романстики в строго научном понимании этого слова нужно считать Фридриха Дица (1794—1876). Усвоив сравнительный метод Ф. Боппа и исторический метод Я. Гримма, Дец создает известную «Грамматику романских языков»<sup>9</sup> в трех томах и как естественное дополнение к ней — «Этимологический словарь романских языков»<sup>10</sup>. Из ближайших продолжателей идей Фр. Дица автор «Романского языкознания» называет итальянца Г. Асколи, которого можно считать основателем романской диалектологии, и француза Г. Париса, непосредственного ученика Дица и создателя целой лингвистической школы во Франции.

Большое место в I главе уделяется критическому разбору основных идей школы младограмматиков с ее выдающимися представителями Г. Остгофом, К. Бругманом, Г. Паулем и др. Из числа крупнейших романистов — убежденных сторонников младограмматической концепции — выделяется В. Мейер-Любке (1861—1936), оставивший неизгладимый след в романском языкознании своей фундаментальной «Грамматикой романских языков»<sup>11</sup> и монументальным «Этимологическим словарем романских языков»<sup>12</sup>, который «до сих пор является настольной книгой каждого специалиста»<sup>13</sup>. Однако младограмматике с момента опубликования своего манифеста (1878) встретили сильную оппозицию со стороны известных лингвистов того времени Г. Курциуса, Г. Асколи, Г. Шухардта и др. Младограмматиков справедливо упрекали в преувеличении роли фонетических законов, действующих, по их мис-

сию, без исключения, принципа аналогии и психологического фактора в языковых изменениях и др.

В конце I главы Й. Йордан останавливается, в частности, на анализе метода «слов и вещей» (*Wörter und Sachen*). По его мнению, история языка «создается параллельно с историей культуры» и эти стороны «приносят друг другу и в то же время получают друг от друга большую пользу» (стр. 103).

Поборниками метода «слов и вещей» были Р. Мерингер, отдавший ему более тридцати лет своей жизни, Г. Шухардт, М. Вагнер и др.

Вторая глава «Романского языкознания» озаглавлена «Идеалистическая, или эстетическая, школа К. Фосслера» (стр. 128—217). В историю языкознания мюнхенский романист К. Фосслер вошел как самый ярый противник младограмматиков. Основные положения идеалистической доктрины этого ученого хорошо известны: язык — это выражение человеческой души; грамматика составляет часть истории стиля, а порядок слов имеет свое происхождение в «духе языка»; существует только индивидуальная речь; от стилистики к синтаксису, ибо лишь стилистика является наукой о языке в строгом смысле слова; абсолютный прогресс языка может изучаться только с эстетической точки зрения и т. д. Бесспорно, в доктрине Фосслера имеется и много положительного, однако идеалистическая философская концепция мюнхенского ученого «помешала ему найти правильное решение основных проблем языкознания» (стр. 161).

Самой объемистой оказалась третья глава, посвященная лингвистической географии (стр. 217—410), в которой дается подробное описание истории возникновения этой отрасли лингвистики на основе изучения романских языков (Ж. Жильерон, Ш. Брюно, Я. Юд, К. Яберг и др.) и создания лингвистических атласов<sup>14</sup>. На современном этапе развития языкознания популярной стала идея создания лингвистических атласов, которые по своему охвату материала вышли бы за пределы территории одной страны (ср. Общеславянский ат-

<sup>9</sup> Fr. Diez, *Grammatik der romanischen Sprachen*, Bonn, 1836—1843.

<sup>10</sup> Fr. Diez, *Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen*, Bonn, 1854.

<sup>11</sup> W. Meyer-Lübke, *Grammatik der romanischen Sprachen, I—Lautlehre*, Leipzig, 1890; II — *Formenlehre*, 1893; III — *Syntax*, 1899; IV — *Register*, 1902 (имеется и французский перевод).

<sup>12</sup> W. Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1911—1920 (3-е изд. — 1930 и 1935 гг.).

<sup>13</sup> Р. А. Будагов, [реци. на кн.:] I. Jordan, *Linguistica romanica*. Evoluție, Curente. Metode, ФН, 1965, 3, стр. 162.

<sup>14</sup> Любопытно отметить, что Ж. Жильерон на основе своего лингвистического атласа отрицал вообще наличие диалектов, а М. А. Бородина, на базе того же атласа, пришла к прямо противоположному выводу: она доказала существование диалектов во Франции. «Жильерон, — пишет советский исследователь, — „из-за деревьев не увидел леса“, т. е. из-за отдельных диалектальных черт не увидел диалекта в целом» [М. А. Бородина, *Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов французского языка)*, М. — Л., 1966, стр. 35].

лас, Средиземноморский атлас, атлас Европы и др.)<sup>15</sup>, реальной стала идея написания фольклорной географии<sup>16</sup>, структурной диалектологии и др.

В самом конце III главы «Романского языкознания» находим краткие сведения о неolingвистике, принципы и методы которой представлены в некоторых работах Дж. Бертона и М. Бартоли. В основе доктрины неolingвистов лежат идеи Гумбольдта — Кроче — Фосслера. По мнению Й. Йордана, настоящим неolingвистом является только М. Бартоли, который развивает теорию этнического субстрата, теорию Г. Шухардта о смешении языков<sup>17</sup> и т. д.

Четвертая глава озаглавлена «Французская лингвистическая школа» (стр. 410—572). Создателем этой школы является Ф. де Соссюр, доктрина которого получила мировую известность после опубликования post mortem его знаменитого «Курса общей лингвистики» (1916). Й. Йордан высказывает целый ряд критических замечаний в адрес сосюрской теории. По его мнению, тезис Ф. де Соссюра о строгом разграничении «языка» (langue) и «речи» (parole) «не соответствует действительности» (стр. 429), ибо эти два аспекта речевой деятельности «составляют неразрывное диалектическое единство: ни один из них нельзя себе представить вне или независимо от другого, они оба взаимно обусловлены, поскольку „язык“ — это общее, а „речь“ — частное» (стр. 430). Нет достаточных оснований принять идеи Соссюра о разделении лингвистики на внутреннюю и внешнюю и об абсолютном противопоставлении синхронии и диахронии. «Цель лингвистики, — пишет Й. Йордан, — состоит в том, чтобы изучать язык в его связи с другими социальными явлениями, точнее говоря, в связи с обществом, создавшим его и непрерывно его развивающим» (стр. 431). Еще более спорным и в принципе неверным является тезис, высказанный в конце «Курса...» о том, что

<sup>15</sup> О современном состоянии «лингвистической географии» и диалектологии романских языков см. доклады М. Алвара и М. А. Бородиной на XII Международном конгрессе по лингвистике и романской филологии. («Actele celui de al XII-lea Congres International de Linguistică și Filologie Romanică», I, București, 1970, стр. 77—97, 209—215).

<sup>16</sup> Первая удачная попытка в этой области уже была сделана Р. Менендесом Пидальем.

<sup>17</sup> Вопрос о «смешанных языках» (gemischte Sprachen) вызвал горячие споры на X Международном конгрессе лингвистов в Бухаресте 28 августа — 2 сентября 1967 г. в связи с докладом акад. Эм. Петровича.

«единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»<sup>18</sup>. Й. Йордан замечает, что некоторые представители структурных школ Европы и Америки, усвоив эту абстрактную лингвистическую концепцию, довели ее «до такой степени, что она выходит за любые воображаемые пределы нормального человеческого понимания» (стр. 432). Критически оценивает румынский ученый сосюрское понимание природы языкового знака (и языкознания как отрасли семиотики), систему «чистых отношений» и, добавив от себя, тезис о том, что в языке «все связано» (tout se tient).

С особым уважением и теплотой автор «Романского языкознания» анализирует содержание основных трудов последователей и учеников Соссюра. Среди них почетное место по праву занимает А. Мейе, чьи работы по общему языкознанию, по классическим языкам, по славянским, германским, и шире — по всем индоевропейским языкам, вместе взятым, — широко известны. Для Мейе язык — социальное явление и должен рассматриваться как система. Любое изменение в социальной структуре необходимо вызывает языковые изменения, а при соседстве двух языков имеют место различного рода заимствования (главным образом в лексике), причем язык, пользующийся престижем, играет роль кредитора, а второй — роль должника и т. д.

Если Ф. де Соссюр, А. Мейе, Ж. Вандриес вошли в историю языкознания как индоевропейцы, то другие представители французской социологической школы: Ш. Балли, А. Сешез, Ф. Брюно, М. Граммон, Л. Селеан, А. Дожа и др. считаются, главным образом, романистами, исследовавшими различные аспекты французского языка.

Так, Ш. Балли занимался по преимуществу стилистикой. В отличие от Л. Шпитцера, который смешивал стилистику с изучением стиля, Ш. Балли полагает, что стилистика является строго лингвистической дисциплиной, а изучение стиля относится к эстетике или литературоведению. У Шпитцера метод исследования индивидуально-психологический, а у Балли — социально-психологический. Для него источник экспрессивности слов и выражений лежит в определенных душевных состояниях, общих для людей всех времен и всех стран. Й. Йордан подчеркивает, что новая ориентация в стилистике наметалась советскими лингвистами во главе с акад. В. В. Виноградовым.

Другой ученик Соссюра, А. Сешез специализировался в основном на синтак-

<sup>18</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 207.

сисе. Он рассматривал вопросы грамматики вообще и синтаксиса в частности в тесной связи с мыслительным процессом, логикой и психологией.

Своеобразным учеником основателя французской социологической школы оказался Ф. Брюно. В своих исследованиях по истории французского языка, грамматике, стилистике, в области соотношения мышления и речи, Ф. Брюно, в частности, показал те затруднения, которые появляются у грамматистов и языковедов при попытке определения частей речи, при подаче материала в грамматиках и т. д. Ф. Брюно предлагает свой метод: нужно отправляться от содержания и приходить к форме его выражения, т. е. от мысли к языку, от мысли к формам, а факты классифицировать не в порядке знаков, а в порядке идей.

Среди других последователей Соссюра отмечаются М. Граммон, занимающийся, главным образом, вопросами общей фонетики, Л. Сенеан, написавший ряд исследований по арго<sup>19</sup>, А. Дога и др.

В «Заключении» своего фундаментального труда И. Йордан жалеет о том, что «романистика сегодня не сохраняет привилегированного положения „руководительницы“ своих сестер». Для устранения кризисного положения автор предлагает опираться на «марксистское учение, согласно которому язык, как выражение мышления и как продукт коллективной человеческой жизни, должен исследоваться с учетом этих двух аспектов проблемы» (стр. 572).

Оценивая по достоинству замечательное сочинение И. Йордана, вместе с тем позволим себе высказать и некоторые пожелания.

Нам представляется, что название книги несколько не соответствует ее содержанию. Дело в том, что романское языкознание рассматривается автором (особенно в I и II гл.) в русле общего языкознания, ибо, как справедливо отмечает И. Йордан, «до самого конца прошлого столетия романистика развивалась порой в очень сильной зависимости от индоевропеистики» (стр. 124, см. и стр. 410). Но в силу естественных причин в книге невозможно было дать ни пространственного изложения проблем общей лингвистики во всей их сложности и противоречивости, ни всестороннего анализа романского языкознания. Поэтому думается, что книгу удачнее было бы назвать «Из истории общего и романского языкознания».

В этой же связи есть основание предположить, что работа могла выиграть от введения отдельной главы с анализом состояния романского языкознания в пе-

которых нероманских странах. Хотя школ, наподобие французской, тут не встретим (за исключением Германии), все же заслуги романистов этих стран немалые. Например, в России, а после Октября в СССР, создались своя школа романистики с такими ее видными представителями, как акад. А. Н. Веселовский (в Петербурге), проф. В. В. Богородицкий, проф. Н. В. Крушевский (в Харькове), проф. С. В. Савченко (в Киеве)<sup>20</sup>, акад. Л. В. Щерба (истати, он учился в Париже у А. Мейе и Ж. Вандриеса), акад. В. Ф. Шиммарев (во Франции его учителями были Г. Парис, А. Тома, испанист Морель-Фасьо, провансалист К. Шабано; во Флоренции — Пио Райна и Э. Пароди), М. В. Сергиевский, М. С. Гурьчева и др.<sup>21</sup>. Так же как и в других странах, в России и в СССР романистика развивалась в тесной связи с индоевропеистикой и общим языкознанием, опираясь на труды отечественных ученых И. А. Бодуэна де Куртене, А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, В. А. Богородицкого, А. А. Шахматова и др. Если ко всему сказанному добавить еще и тот факт, что в СССР имеется и союзовая республика с романским языком — Молдавская ССР, где также раз-

<sup>20</sup> Библиографию работ, написанных в XIX в., см.: Д. Е. М и х а л ь ч и, Из истории отечественной романистики, в кн.: «Вопросы романского языкознания (Материалы Первого Всесоюзного совещания по романскому языкознанию)», Кишинев, 1963, стр. 197—202; его же, *Le français en Russie, «Actele celui de al XII-lea Congres Internațional de lingvistică și filologie romanică»*, II, București, 1974, стр. 1029—1034; А. Т. Б о р щ, Из истории отечественной молдавистики, в кн.: «Исследования в области латинского и романского языкознания», Кишинев, 1961, стр. 393—400.

<sup>21</sup> Мы не упоминаем целую плеяду ныне здравствующих советских романистов, которые продолжают идеи своих учителей, плодотворно трудясь в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Кишиневе, Харькове, Львове и в других университетских центрах. Прекрасное резюме работ советских романистов, а также подробная научная библиография, охватывающая период с 1945 г. по 1958 г., дается в кн.: М. А. Б о р о д и н а, В. Г. Г а к, Изучение западнороманских языков в СССР (1945—1958), Минск, 1968. См. также доклады романистов нашей страны на XII Международном конгрессе по лингвистике и романской филологии в Бухаресте 15—20 апреля 1968 г. («Actele celui de al XII-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică», I — București, 1970, II — București, 1971).

<sup>19</sup> Подробную библиографию по арго см. у И. Йордана, стр. 530—559.

рабатываются вопросы романистики<sup>22</sup>, — то станут вполне очевидны возможности развития романского языкознания в нашей стране.

Как уже отмечалось с самого начала, в «Романском языкознании» излагаются не только идеи различных лингвистических школ и направлений, но и отношение к ним автора книги. Однако порой это отношение не совсем ясно. Приведем пример. Ж. Жильерон полагал, что одной из причин «заболевания» и гибели слов является их семантическая избыточность или полисемия (см. стр. 251). Между тем известно, что такая точка зрения на полисемию крайне спорна и это следовало бы как-то оговорить. М. Брэаль, например, считал полисемию «признаком приобретенной цивилизации»<sup>23</sup>, а Р. А. Будагов пишет буквально следующее: «Если бы лексика современных языков утратила полисемию, она потеряла бы лучшие свои свойства: передавать понятия, представления и чувства людей во всем их сложном и подвижном многообразии»<sup>24</sup>.

Можно было бы остановиться подробнее на разборе непримлемого мнения А. Мейе о том, что упрощения флексий в самых различных индоевропейских языках, а также частичное исчезновение простого перфекта следует объяснить развитием человеческой цивилизации, приводящей к абстрактному образу мышления, которое-де исключает конкретные грамматические категории (стр. 454). Согласно этой концепции, языки с меньшим количеством флексивных форм следует считать более развитыми. Бесспорно, что общее содержание мышления оказывает воздействие на историческое развитие структуры языка, но, конечно, не этим объясняется сокращение числа флексивных форм, или тем более «привосхождение» одного языка над другим.

То же самое следовало бы напомнить и о К. Фосслере, который предпринял нереальную попытку объяснить выходом в свет книги Декарта «Трактат о душе» употребление во французском языке конъюнктива после *verba sentiendi*, начиная с середины XVII в.

<sup>22</sup> См. хотя бы: сб. «Исследования в области латинского и романского языкознания», Кишинев, 1961; сб. «Вопросы романского языкознания», Кишинев, 1963; «Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения», I — Кишинев, 1961, II — Кишинев, 1967; «Очерк современного молдавского литературного языка», Кишинев, 1967.

<sup>23</sup> М. Вгéal, *Essai de sémantique*, 6 éd., Paris, 1913, стр. 143 (цит. по кн.: Р. А. Будагов, *Язык, история и современность*, М., 1971, стр. 102).

<sup>24</sup> Р. А. Будагов, *Язык, история и современность*, стр. 103.

Порой обращает на себя внимание тот факт, что некоторые школы, направления и труды отдельных ученых получают несколько беглую, а подчас и одностороннюю оценку. И. Йордан не без упрека напоминает о том, что Г. Рольфе и А. Ломбард обязаны «хоть изредка говорить свое слово в науке и прокладывать новые пути» (стр. 571). А между тем, справедливости ради, необходимо сказать, что работы первого широко известны романистам, а второй является создателем целой лингвистической школы в Швеции и автором блестящих и, притом, многочисленных работ по романскому языкознанию<sup>25</sup>. «Слово» названных лингвистов имеет большой резонанс в романском языкознании.

Желательно было более рельефно подвергнуть разбору нелингвистику (стр. 400—409)<sup>26</sup>.

В «Романском языкознании» полностью отвергается школа Л. Вейсгербера (стр. 514—517), хотя резоннее было бы найти в ней то «рациональное зерно», которое способствует продвижению вперед науки о языке. Так поступают, по крайней мере, некоторые советские лингвисты<sup>27</sup>.

Весьма скромно в анализируемом труде представлено романское языкознание XX в., что дало полное основание одному из рецензентов румынского издания спросить с недоумением: «Что же сделала романистика нашего столетия в области изучения основных уровней романских языков — их фонетики, лексики и грамматики?»<sup>28</sup> Этот вопрос всецело относится и к русскому изданию книги.

По мнению И. Йордана, современное

<sup>25</sup> См.: «Bibliographie des travaux d'Alf Lombard», в *Mélanges de philologie offerts à Alf Lombard* («Études romanes de Lund», XVIII), Lund, 1969, стр. 1—16.

<sup>26</sup> Об этом, кстати, писали и другие рецензенты (см.: М. Manoliu, «Studii și cercetări lingvistice», XV, 1964, 6, стр. 769).

<sup>27</sup> Ю. С. Степанов пишет: «Несмотря на многие спорные положения и на непримлемые для лингвиста-материалиста некоторые методические установок, эти направления (имеются в виду работы И. Трира и Л. Вейсгербера, — А. Ч.) представляют собой серьезные попытки увязать в рамках одной теории проблемы языкознания, психологии, социологии и истории культуры» (см.: Ю. С. Степанов, *Французская стилистика*, М., 1966, стр. 19). См. также: Ю. С. Степанов, *Семиотика*, М., 1971, стр. 19; Р. А. Будагов, *История слов в истории общества*, М., 1971, стр. 44—45.

<sup>28</sup> Р. А. Будагов, *ФН*, 1965, 3, стр. 161. То же в рецензии М. Манолиу (см.: М. Manoliu, «Revue roumaine de linguistique», IX, 1964, 6, стр. 566).

романское языкознание<sup>29</sup> отстает, так как романисты мало приобщаются к структурализму, не внедряют новшества, внесенные в науку о языке «представителями других лингвистических дисциплин» (стр. 567), а продолжают работать, как и прежде, «в духе, довольно близком младограмматикам» (стр. 571). Однако, спустя три года после выхода в свет «Романского языкознания» (на румынском языке — 1962 г.), ученый несколько изменил свое мнение<sup>30</sup>.

\*

Высказанные нами замечания имеют характер пожеланий. Они не направлены на главные идеи рецензируемого труда, а поэтому ни в коей мере не снижают его

<sup>29</sup> Данную точку зрения не разделяли некоторые рецензенты румынского издания «Романского языкознания» (см.: M. M a n o l i u, «Studii și cercetări lingvistice», 1964, 6, стр. 770; P. A. Б у д а г о в, ФН, 1965, 3, стр. 160—161).

<sup>30</sup> См.: I. I o r d a n, Probleme generale ale lingvisticii romanice (Raport prezentat la cel de al XI<sup>lea</sup> Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică, Madrid), «Studii și cercetări lingvistice», 1966, 1, стр. 9—10.

высокого теоретического уровня и бесспорную познавательную ценность.

Книга «Романское языкознание» читается с особым интересом и с какой-то необычной для научных работ легкостью. Она написана чрезвычайно ярко, местами образно, что вообще характеризует научный стиль всех трудов маститого румынского ученого. И следует с удовлетворением признать, что переводчикам С. Г. Бережану и И. Ф. Мокряку, а также редактору Н. Г. Корлятину удалось в целом передать на русском языке все стилистическое богатство оригинала. Лишь в очень немногих случаях можно заметить некоторые шероховатости перевода (см. стр. 161, 162, 212, 229, 367, 428, 480, 487 и др.). Примечания, вводимые в текст Н. Г. Корлятину, делают книгу еще более актуальной, так как они ориентируют нашего читателя в библиографии затронутых проблем, разработанных русскими и советскими лингвистами.

Знакомство с монографией «Романское языкознание» И. Йордана будет весьма полезно для романистов (и вообще для языковедов) разных уровней и направлений. Книга насыщена богатейшим информативным материалом и побуждает читателя к размышлениям над многими проблемами современного языкознания.

А. И. Чобану

«Namenforschung heute. Ihre Aufgaben und Ergebnisse in der Deutschen Demokratischen Republik». Von einem Autorenkollektiv. Redaktion: R. E. Fischer und H. Walther.—Berlin, Akademie Verlag, 1971. 132 стр. + 2 карты.

Рецензируемый коллективный труд представляет собой популярный очерк ономастики ГДР и содержит ряд статей, цель которых — дать возможность широкому кругу читателей разобратся в сущности собственных имен и возбудить к ним интерес, показать значение собственных имен для истории, географии, археологии и др.

Во вводной I части «Имена в языке и в обществе» (стр. 7—37) рассматриваются специфика имени как языкового знака и его основная функция — название отдельных объектов с целью их идентификации в процессе коммуникации, а также соотношение имени собственного с именем нарицательным. После описания происхождения личных имен и названий мест (путем изменения функций имен нарицательных, на основе заимствования из уже имеющегося репертуара имен или посредством переноса и смещения значений внутри определенного набора имен) затрагивается роль собственных имен в художественной литературе (особенно личных имен, показывающих характер героя). В главе «Типы имен» дается подразделение имен собственных в соот-

ветствии с называемым ими объектом (географические имена и личные имена), причем названия первой группы подразделяются на имена стран, местностей, округов, водных резервуаров и улиц, а также на топонимы, т. е. названия поселений (эта детальная классификация иллюстрируется подходящими примерами). Вторая группа, личные имена, распадается на фамилии, имена и прозвища. Весьма интересны в этой связи объяснения наименования в буржуазном и в социалистическом обществе. Кроме того, имена рассматриваются со словообразовательной точки зрения. Что касается происхождения имен, то различают автохтонные (немецкие) имена и заимствованные (славянские, романские и т. д.).

В случае, когда мы имеем дело с именами, происходящими из древнеслужичьего или древнеполабского языков, следовало бы говорить о реликтовых названиях и употреблять термин «заимствованное имя» только тогда, если имя происходит из собственно немецкой славянской языковой территории, т. е. из чешского, русского, польского и т. д. (Prag, Moskau, Warschau). Особого внимания

заслуживает глава «Имя и идеология», весьма актуальная с политической точки зрения, ибо и при наименовании вступают в силу социально обусловленные прогрессивные и реакционные моменты.

Во II части книги «Задачи и цели исследования имен» (стр. 38—70) дается краткое описание истории ономастики. Затем следует глава «Современная ономастика как общественная наука», в которой делается удачная попытка показать теоретические основы этой дисциплины с точки зрения диалектического и исторического материализма. В этой связи особое значение имеют такие новые направления исследования, как прагматическая ономастика, социономастика и социопсихологическая ономастика.

В следующей главе исследуются отношения ономастики к смежным наукам, особенно к археологии, истории поселений, культурной истории, географии и этнографии. Составители далее выясняют значение ономастики для народного образования и место этой дисциплины в школьном обучении. Рассматривается также роль ономастики при подготовке учителей, а также ее значение для воссоздания научного представления об историческом процессе.

В начале III части «Методы и результаты ономастики» (стр. 71—106) выясняются общие источники этой дисциплины. В главе «Значение имен» обсуждаются проблемы семантики имени, его возникновения, функционирования и языковой «прозрачности». Составители не ограничиваются только сопоставлением имен со словами определенного языка и выведением той или иной их этимологии, но прежде всего интересуются проблемами истории имен и их соотношением с определенной социально обусловленной системой общественной коммуникации. Довольно подробно в этой связи рассматриваются принципы анализа славянских имен.

К главе об исторической стратификации имен, в частности, топонимов различного типа, примыкает раздел «Описание имен», в котором немецкие личные имена, а также названия поселков, водных резервуаров и полей рассматриваются с точки зрения словообразования, значения и употребления. При анализе фамилий было бы желательнее более внимательно учитывать славянские элементы, которые, например, в области между средней Эльбой и Нижней Лужицей в XVI и XVII вв. составляли до 25% всех имен. И в наши дни количество славянских антропонимов намного больше, чем обычно постулируется, не говоря уже о многих чешских и польских фамилиях, которые появились на немецкой почве в последние десятилетия.

В IV части книги (стр. 107—116) описываются учреждения, занимающиеся изучением ономастики в ГДР, их деятельность до сего времени и будущие задачи. Кроме Берлина и Лейпцига, ономастические исследования проводятся в Педагогическом институте Цвикау и в Йенском университете (тюрингский ономастический архив). Две карты дают хорошее представление о том, какие районы ГДР исследованы с точки зрения ономастики.

V часть рецензируемой работы (стр. 117—122) содержит избранную библиографию вышедших в ГДР ономастических книг, а также опубликованные и неопубликованные местные работы (всего 68 названий). К книге приложен предметный указатель.

Рецензируемая работа, содержащая удачное описание теоретических основ ономастики, ее научного и практического значения, заслуживает пристального внимания широкого круга читателей.

В. Венцель

Перевел с немецкого М. М. Маковский

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

С давних пор слависты высоко ценили материал чакавских говоров и неизменно обращались к нему. Пристальное внимание к чакавскому наречью было свойственно и многим лучшим представителям русской лингвистической мысли (А. А. Шахматову, И. А. Бодуэну де Куртене, Л. П. Якубинскому и др.). Будь то вопрос исторической фонетики, или акцентологии, или морфологии и синтаксиса — чакавские свидетельства всегда драгоценны для специалиста по сравнительной грамматике славянских

языков, для исследователя праславянского языка. Архаика чакавского наречья, многочисленные соответствия с русским языком, связь со словенским, с одной стороны, и отчасти с болгарским, с другой, довольно четко выявляющаяся в чакавской лексике, ставят чакавские данные в центр внимания исследователя при установлении праславянского словарного состава и его диалектной дифференциации, при определении лингвистическим путем направлений и характера миграции славянского этноса на Бал-

каны. Достаточно вспомнить такие примеры, как чакав. пресск. *lānita* «щeka», макед. веврокопск. *lanīta* «то же», родоп. *lanīta* «то же», русск. церк.-слав. ланита «то же», чакав. *zablī* «забыть», словен. *zabiti* «то же», русск. *zabýt* (ср. об этом слове в этимологическом словаре М. Фасмера, т. II, М., 1967), чакав. *rijavica* «вихрь, смерч на море» и русск. церк.-слав. *šavica* — «смерть», облак дъждевѣнь, «же воду оть морѣ възимаєть, яко въ губу и пакы проливаєть на землѣ» (по Новгородскому словарю XV в.; известно также в азбуковниках XVII в. и т. п.), чтобы оценить значение чакавской лексики для сравнительной славянской лексикологии. К сожалению, однако, до сих пор нет сводного чакавского областного словаря, нет атласа чакавского наречия, давно не выходивши в свет подробные монографии по отдельным чакавским говорам (последней публикацией такого рода было описание говора острова Суска, выполненное М. Храсте, Й. Хаммом и П. Губериной в 1956 г.). Поэтому появление специального журнала, посвященного чакавскому наречию и языку художественной литературы, пользующейся этим наречием и пользовавшейся им в прошлом, не может быть встречено в среде славянских филологов иначе как с радостью и искренним одобрением.

В конце прошлого 1971 г. в Сплите (Югославия) вышел первый номер журнала «Сакавска гѣс» («Чакавское слово»). Номер открывается некрологом акад. Мате Храсте, известного исследователя чакавских говоров и чакавской литературной традиции, затем следует ряд статей и исследований монографического характера. Среди них нужно отметить небольшое, но очень экономно и компактно написанное исследование Божидара Финки «Чакавское наречие», в котором дается на уровне современных лингвистических

представлений обобщающее описание основных черт и особенностей всех чакавских говоров в целом — островных, приморских и континентальных (фонетика, акцентная система, морфология, синтаксис, некоторые лексические особенности). Статья Петра Шимуновича «Хорватская географическая номенклатура в зоне далматинского карста до конца XIII в.» является удачным опытом первого исторического словаря славянских (в данном случае хорватско-сербских чакавских) географических апеллятивов. Любопытны такие термины, как *pasjeka*, *poga*, *badanj*, *mei*, и топонимы, образованные от географических терминов — *Badanj*, *Rudine* и др.

Несомненный интерес представляет и исследование Степана Бенсона «Наблюдения над чакавщиной Марка Уводича сплитянина». Марко Уводич (1877—1947) почти всю жизнь прожил в Сплите, любил свой город и был его бытописателем. Его новеллы и рассказы, проникнутые живым юмором и солнечным светом Адриатики, очень выигрывали от того, что были написаны на сплитской чакавщине — одной из разнообразных форм областного чакавского литературного языка. С. Бенсон дает анализ фонетических, морфологических, синтаксических и лексических особенностей языка своего земляка Уводича. Первый номер журнала «Сакавска гѣс» оканчивается комментированной публикацией двух чакавских памятников XVII и XVIII вв. — «Два устава трогирских (т. е. из города Трогира. — Н. И.) братств на хорватском языке». Эти памятники дают ценный материал для изучения общественной и социальной лексики прошлого Далмации.

Периодичность журнала — два номера в год. Главный редактор — Радован Видович.

Н. И. Толстой

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В 1970 г. Международный комитет славистов учредил Международную комиссию по славянским литературным языкам (МКСЛЯ), в задачу которой входит координация изучения славянских литературных языков в отдельных славянских странах и дальнейшая разработка теории их описания. В состав МКСЛЯ входят проф. А. Едличка (Прага) — председатель, проф. Э. Паулини (Братислава), акад. Б. Гавранек (Прага), проф. Вл. Барнет (Прага) — секретарь, чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин (Москва), акад. АН УССР И. К. Белодед (Киев), проф. А. И. Журавский (Минск), проф. Ст. Урбанчик (Краков), доц. Д. Буттлер (Варшава), проф. Л. Андрейчин (София), акад. Б. Конески (Скопье), акад. Л. Йонке (Загреб), проф. Й. Топоришич (Люблина), проф. А. Младенович (Нови Сад), др. Г. Фаска (Будышин), проф. Р. Аути (Оксфорд) и проф. Г. Хютль-Ворт (Вена). С 15 по 17 сентября 1971 г. на философском факультете университета им. Я. А. Коменского в Братиславе состоялось первое заседание МКСЛЯ.

А. Едличка в докладе «Современное состояние и задачи изучения литературных языков» затронул наиболее существенные проблемы современной теории литературных языков. Он показал, что предмет ее расширяется; в настоящее время в качестве самостоятельных дисциплин выделяются история литературных языков, сопоставительное и типологическое исследование литературных языков. В докладе освещались вопросы границ литературного языка, включающего и письменную и устно-разговорную форму, общая проблематика нормы и ее вариативности, а также общие вопросы языковой культуры. Согласно традициям пражской школы, к этому кругу проблем относятся также систематика и классификация функциональных стилей и изучение их роли в становлении и изменении нормы. Особенно актуальными в настоящее время следует считать вопро-

сы отношений литературного языка и нелитературных форм и прежде всего характера и состава переходного образования между литературным языком и диалектами. Большое внимание в докладе было уделено понятию языковой ситуации. А. Едличка остановился на некоторых явлениях, подлежащих изучению при сопоставительном исследовании славянских литературных языков, в особенности на современных процессах (универбизация, мультивербизация, компактное и некомпактное строение предложения и т. п.).

Председатель словацкой комиссии Э. Паулини в докладе «Проблемы сравнительного изучения развития славянских литературных языков» обратил преимущественное внимание на задачи, связанные с изучением общих моментов их развития на современном этапе, их членения и литературных средств выражения. Каждая общественная формация вырабатывает специфические формы, обеспечивающие общение членов коллектива и специфические условия для активного и пассивного участия членов данного общества в этом общении. Весьма сложная ситуация наблюдается при сопоставительном изучении языков в период феодализма. Однако и здесь имеются вполне определенные общие черты, такие, как, например, принятие христианства, влияние старославянского языка, определенно вырисовывающаяся схематизация развития феодализма и т. п. Историческая реализация задач коммуникации в отдельных общественных формациях может служить надежным критерием исследования развития литературных языков с функциональной точки зрения.

При обсуждении тематического цикла, связанного с рассмотрением теоретических вопросов изучения литературного языка, было прослушано четыре доклада. В докладе Вл. Барнета «Социалистический статус повседневно-устной речи» были показаны возможности определения понятия «повседневно-устная речь» путем использования теории социальной коммуникации. Наряду с по-

виятиями групповой и массовой коммуникации было предложено ввести понятие межгрупповой коммуникации, которая формируется на определенной стадии развития современного общества в результате территориальной и социальной мобильности членов общества. Докладчик указал и на психологические факторы формирования языковых разновидностей, выполняющих функцию повседневной устной речи. На примере чешских, русских и хорватских языковых отношений было показано, что функции повседневной устной речи могут выполнять языковые разновидности разного структурного характера.

М. Е л и н е к в докладе «О норме и пуристических тенденциях в кодификации» попытался с функциональной точки зрения выявить критерии периодизации пуристических устремлений в чешской языковой практике. Он напомнил показательный пример Пражского лингвистического кружка, который в ответ на пуристическую критику выработал теорию языковой культуры в кодификации.

И. М и с т р и к в докладе «Факторы стилистической дифференциации в славянских языках» осветил прежде всего флюктуацию заимствованных элементов при стилистической дифференциации славянских языков, факты выработки новых стилистических приемов выражения и удельный вес средств массовой коммуникации в стилистической дифференциации.

Г. Г о р а к в докладе о «Проблемах народности литературного языка» попытался разграничить понятия «народный язык» и «разговорный стиль», с одной стороны, и «диалект» — с другой. На словацких примерах Г. Горак показал пути вхождения этих элементов в отдельные функциональные стили.

В дискуссии по этому кругу вопросов Вл. Барнет обратил внимание на необходимость изучать повседневную устную речь не только в функциональном, но и в структурном плане. В связи с понятием «вариант литературного языка» было высказано мнение о необходимости разграничивать варианты средства в пределах нормы и варианты разновидности в пределах национального языка (А. Едличка, Д. Брозович). Живую дискуссию вызвал доклад М. Е л и н к а о пуризме. Были попытки более широкого определения пуризма, исключающего отрицательно-оценочный смысл (Д. Брозович). В пользу исключения отрицательного смысла высказался и К. Горалек; он указал на то, что в основаниях пуризма имеется и представление об идеальном языке, о системном гомоморфизме. А. Едличка предложил определить пуризм на базе социального рассмотрения языка. Б. Гавранек обратил внимание на необходимость иметь в виду разный характер пуризма в разных языках и в разные эпохи.

Предметом дискуссии была и общая проблематика нормы — ее понимание в Пражском лингвистическом кружке и у Э. Косерку и критерии литературности (Я. Горецкий, Д. Брозович, Я. Хлоупек, А. Едличка).

При обсуждении вопроса о социальных факторах Вл. Барнет обратил внимание на важность понятия языковой ситуации, предложенного А. Едличкой. Б. Гавранек подчеркнул, что методами и приемами социологии в лингвистических исследованиях следует пользоваться с большой осторожностью, поскольку проблематика социологии весьма раздроблена и еще не стабилизирована.

С обсуждением другого тематического цикла, связанного с проблематикой современных славянских литературных языков и их культуры, был связан доклад Д. Б р о з о в и ч а «Специфические черты языковой нормы в славянских языках». В этом докладе говорилось о конститутивных чертах нормы и об общих условиях их формирования. Норма свойственна конкретным языковым формациям. Неопределенные формации нормы не имеют. Нормативность является отличительным признаком стандартных образований. Характер нормы зависит от 1) преднормативного состояния формации, 2) характера диалектной основы литературного языка, 3) того, кто осуществляет нормализаторскую деятельность и является носителем нормированной речи, 4) степени включения вариантов в норму.

«Проблематике современного словацкого языка» посвятил свой доклад Й. Р у ж и ч к а. Он перечислил широкий диапазон вопросов, решение которых все еще остается для словацких языковедов насущной необходимостью. Б. У р б а н ч и ч, выступая по докладу Д. Брозовича, остановился на вопросах нормализации современного словацкого литературного языка на примере употребления плюсквамперфекта. Шт. П е д я р в докладе «Аспекты кодификации словацкого языка» говорил как в общем плане, так и с привлечением фактов языковой ситуации в Словакии, о некоторых вопросах кодификации как основного фактора языковой культуры.

В докладе Л. А н д р е й ч и н а «Диалектная база современного литературного болгарского языка» была освещена роль местных культурных центров, в особенности Тырновского, в процессе складывания унифицирующих тенденций, способствовавших формированию наддиалектного характера болгарского литературного языка.

Я. Х л о у п е к в докладе «Устная и письменная формы как основные стилиобразующие факторы» остановился на динамике этих форм в последнее время, особенно на том, как проявляется письменная форма в современной художественной литературе.

венной литературе. Письменная форма раньше была основным фактором; в настоящее же время в связи с широким распространением средств массовой коммуникации (использующих прежде всего устную форму) соотношение факторов письменной и устной форм изменяется.

Выступления в дискуссии касались вопросов нормы, а именно различия между нормой формальной (кодифицированной) и неформальной (узуальной) (Вл. Барнет), удовлетворительности орфографии (А. Едличка), разных аспектов нормы с точки зрения ее центра и периферии и с точки зрения периода узаконения нормы (М. Елинек). Б. Гавранек указал на необходимость различать норму в литературном языке с центральным типом развития и в литературном языке полицентрического типа.

Тематический цикл, посвященный сравнительному изучению литературных языков, открылся докладом Р. Аути «Проблемы и перспективы изучения славянских литературных языков средней Европы». В нем были оценены имеющиеся исследования и намечена перспектива дальнейших работ. Докладчик подчеркнул, что необходимо упорядочить терминологию для разных периодов развития (ср. непригодность термина «стандартный язык» для старших эпох), создать описание отдельных языков и показать роль в языковом развитии наиболее крупных художников слова. Следует заняться также сопоставительным или типологическим изучением литературных языков определенного ареала, например приднуднпайского. Из общих вопросов необходимо уделять внимание выбору диалектной основы, роли отдельных деятелей и главного центра, вопросу пуризма и т. д.

О возможностях сравнительного изучения словарного состава с исторической и методологической точек зрения говорил В. Бланар. Он подчеркнул важность исследования типов лексикализованных семантических изменений в связи с потребностями выражения у отдельных языковых коллективов.

Б. Гавранек в докладе «О сопоставительном изучении истории славянских литературных языков» показал, что пражская школа в 30-х годах не рассматривала теорию литературных языков как нечто готовое. Позднейшее развитие показало необходимость полнее изучать репрезентативную функцию и эмоциональность языка. В докладе были намечены области, в которых сопоставительное изучение литературных языков может оказывать наиболее эффективное. Так, например, в области изучения лексического состава можно исследовать словообразование, в особенности степень использования отдельных словообразовательных типов. При изучении звуковой стороны привлекает внимание соотношение фонологии и графематики, в морфологии пред-

метом исследования может быть мера архаичности морфологии или однозначность морфологической формы в синтаксической системе. В области синтаксиса сопоставительное изучение может касаться принципов организации предложения, проблемы функционирования порядка слов, роли отдельных моделей предложения в процессе коммуникации и под. Дальнейшей разработки требует соотношение письменного и устного речевого плана в рамках литературных языков и отношение литературного языка к сфере повседневной устной речи.

Б. Гавранек изложил также свои соображения по поставленным докладам. По его мнению, углублению теории литературных языков должна способствовать разработка вопросов эмоционального плана языка, где следует учитывать наличие двух участников коммуникации — говорящего и слушающего.

В докладе В. Будовичевой «Контрактивное литературных языков» общее положение о прямом и непрямом контакте и его специфических проявлениях при межъязыковой коммуникации раскрывалось на примере чешско-словацкой языковой ситуации.

Э. Йона в докладе «К становлению нормы литературного языка» выдвинуло требование различения понятий складывания литературного языка и выработки нормы и на примере словацкого языка показал сложность образования нормы литературного языка.

В прениях участники приводили конкретные факты из истории формирования словацкого литературного языка (Я. Доруля, А. Габовшпак, К. Габовшпак). Й. Котулич говорил о возможности применения термина «культурный язык» для разных исторических периодов. Р. Аути обратил внимание на необходимость комплексного понимания диалектной основы литературного языка. Некоторые участники выступали по вопросам контактов словацкого и чешского языка (М. Шалингова, Шт. Пециар, В. Будовичева). В. Кржистек напомнил о важности изучения контактов неродственных языков (например, влияние немецкой колонизации на отдельных территориях). По мнению Шт. Пециара, при изучении различных ситуаций контактов следует различать контакты устные и письменные, индивидуальные и общественные. Различать контакты по их социальной роли предложил Б. Гавранек.

Проблематика стилей также вызвала споры. Мнение о том, что стиль публицистики не может быть ведущим наравне с научным (Й. Ружичка), Вл. Барнет дополнил мыслью о важности установления иерархии стилей. Существуют стили, средства которых проникают в другие стили (стали экспансивные); с другой стороны, существуют стили, которые, будучи открытой системой, допускают

проникновение в свой состав изородных элементов (перцептивные стили), что делает их способными представлять литературный язык в целом.

В дискуссии также было обращено внимание на проблему вариантности как признака, присущего норме (Б. Гавранек), и на необходимость изучать норму в ее развитии (Э. Йона).

Подводя итоги заседания, А. Едличка указал, что углубление теории литературного языка требует объединенных усилий для выработки единой системы понятий и терминов, пригодной для использованая в исследованиях как функционального, так и структурного подходов, а также большего внимания к социолингвистической проблематике и к общим вопросам теории коммуникации. Такое направление работы создает надежную методологическую основу для исследований в трех аспектах, которые в настоящее время отчетливо выделяются в общих рамках изучения литературных языков — общей теории литературных языков, их синхронного сопоставительного и типологического изучения и истории литературных языков.

На заседании было принято предложение считать главным научно-исследовательским заданием МКСЛЯ тему «Синхронное описание современных славянских литературных языков». Следующее заседание намечено на 1972 г. (Скопье), третье — на 1973 г. (Прага).

*Вл. Барнет, Б. Руликова*  
(Прага)

\*

С 18 по 26 августа 1971 г. в Будапеште состоялся VII Международный акустический конгресс, организованный Международной акустической комиссией и Отделением естественных наук АН ВНР. В организации конгресса принял участие также целый ряд других организаций: Госкомитет ВНР по техническому развитию, Комитет радио и телевидения ВНР, радиотехнические учреждения ВНР и т. д.

В своем официальном посвящении конгрессу президент конгресса проф. Т. Гаркоди указал на то, что подготовительный комитет конгресса принял 1800 заявок для участия в работе конгресса, из числа которых было утверждено 800. В работе конгресса приняли участие представители 35 стран, общая численность которых составила 1400 человек. Судя по этим данным, VII Международный акустический конгресс является наиболее представительным по сравнению с предыдущими международными мероприятиями в области акустики.

Работа конгресса проходила в форме прослушивания и обсуждения пленар-

ных докладов, сообщений за круглым столом и секционных докладов.

В пленарном докладе Л. А. Чистович (СССР) «Процесс восприятия речевых стимулов с позиций психоакустики и нейрофизиологии» были вынесены на обсуждение данные, касающиеся модели слухового анализа речи. Данные, представленные в этом докладе, свидетельствуют о том, что характеристики частотных фильтров анализатора, полученные в результате психоакустических и нейрофизиологических измерений, являются более подходящими для моделирования частотного анализа речи, чем характеристики модели уха, основанные на измерениях Бекеши.

Пленарный доклад П. Дамаске (ФРГ) «Психологическая оценка акустических явлений» посвящен проблеме психоакустической природы направленного слухового анализа речи. В докладе дается описание некоторых последних экспериментов в области психоакустики, иллюстрирующих положение о том, что слух человека реагирует на положение фаз компонентов Фурье. В пленарном докладе Д. Фланагана (США) «Основные вопросы исследований в области речевой коммуникации» обсуждаются успехи и очередные задачи в таких областях исследований речевой коммуникации, как кодирование и передача речевого сигнала по каналам связи, синтез речи с помощью ЦВМ, производство и восприятие речи.

Следует отметить, что одной из самых представительных секций конгресса была секция речи. Из 92 утвержденных подготовительным комитетом конгресса докладов реально было представлено 70. Все доклады по тематике могут быть разбиты на следующие группы: 1) доклады, посвященные вопросу автоматического распознавания речи; 2) доклады, освещающие различные способы анализа и синтеза речи; 3) доклады, содержащие данные по восприятию речи; 4) доклады, в которых обсуждаются результаты опытов по идентификации личности говорящего на основании речевого сигнала; 5) доклады, посвященные вопросу разборчивости и распознавания речи человеком в специальных условиях; 6) доклады, содержащие сведения по волоконной технике<sup>1</sup>.

Наиболее широко были представлены доклады, посвященные вопросам артикуляционного и акустического анализа речи, а также различным способам синтеза речевого сигнала. Так, например, »

<sup>1</sup> Естественно, что речь может идти в данном случае только об условном разбиении всех докладов на группы, так как в каждом из докладов переплетаются наитеснейшим образом самые различные методики, подходы к проблеме, технические стороны решения задачи и т. д.

докладе С. Киритани, О. Фудзимура и Х. Ишида (Япония) «Применение ЦВМ в целях осуществления контроля радиографических измерений при наблюдении за движениями органов артикуляции» обсуждаются некоторые эксперименты, дающие возможность проконтролировать радиографические измерения движений органов речи в процессе артикуляции с помощью ЦВМ.

Результаты электромиографического исследования ударения в японском языке изложены в докладе Э. Шимада, Х. Хирога, М. Савашима и О. Фудзимура (Япония) «Электромиография, и ударение в японском языке». В данном случае исследовались определенные группы мышц гортани относительно различных моделей ударения в японских словах. В эксперименте широко применялись ЦВМ. Большой интерес вызвал доклад М. Шигенада, Х. Аризуми (Япония) «Оптимальный временной контроль артикуляционных движений», в котором изложены результаты исследования движений речевого тракта, языка и нижней челюсти при оптимальном временном контроле. Значения форматных частот синмались с синтезированной голосового тракта.

Наряду с целым рядом сообщений по артикуляционному анализу речи были прослушаны доклады, в которых излагались результаты акустического анализа речевого сигнала. Например, в докладе Я. Залевского и В. Маевского (ПНР) «Спектр польской речи в сравнении со спектром других языков» описан эксперимент, основанный на методе измерения среднего спектра Т. Тариоци. Доклад Ц. Хуанга, С. Хики, Т. Соэ, Т. Нимура (Япония) «Акустические признаки и восприятие четырех тонов современного разговорного китайского языка» содержит результаты акустического и аудиторского анализа тестов со словами современного разговорного китайского языка.

В числе других докладов, посвященных акустическому анализу речи, было представлено два доклада от СССР. В докладе Р. К. Потаповой (СССР) «Влияние просодических факторов на временные характеристики ударных и безударных слогов русской речи» излагались результаты исследования временной организации ударных и безударных слогов и корреляции временных модификаций с числом звуков в слоге, с собственными временными характеристиками звуков слога, с позицией в фонетическом слове и т. д.

Доклад Л. П. Блохиной (СССР) «Изменения частоты основного тона внутри слога как один из просодических факторов русской речи» посвящен проблеме просодической специфики русской речи за счет изменений частоты основного то-

на в ударных и безударных слогах. В докладе обсуждаются выводы относительно тенденций, намечаемых в области внутрислоговых изменений по частоте основного тона.

Значительный интерес вызвал доклад Б. Аттала (США) «Проблема передачи звуков по речевому тракту применительно к анализу и синтезу речи».

В связи с синтезом нельзя не упомянуть некоторых сообщений, в которых предлагались различные пути синтеза речи. Так, например, доклад Х. Фудзисаки, Х. Судо (Япония) «Синтез по правилам просодических признаков японской связанной речи» содержал целый ряд интересных данных о синтезе по правилам просодических контуров японской связанной речи на базе использования функциональной модели механизма работы голосовых связок, которая определяет частоту колебаний голосовых связок по набору бинарных команд.

В докладе С. Хашимото, А. Саито (Япония) «Просодические правила для синтеза речи» описан метод, при котором просодическая модель фразы генерируется с учетом некоторых моделей японского фразового ударения, соответствующего уровня интенсивности соответствующей длительности.

Доклад В. Эндреса (ФРГ) «Переходные звуки немецкого языка как связующие элементы при синтезе речи» также посвящен вопросу разработки метода синтеза речевого сигнала.

В докладе С. Хики и И. Оизуми (Япония) «Синтез речи, контролируемый нейрофизиологическими показателями» дается описание модели механизма производства речи, которая основана на анатомической структуре и физиологической природе речевых органов и тем самым на природе нейромускульных команд.

Остановимся далее на некоторых докладах, относящихся к группе сообщений по вопросам распознавания речи. В докладе Л. Л. Мясникова (СССР) «Значение сегментации шума для распознавания речи» подчеркивается, что метод сегментации шума приложен и к распознаванию речи.

О распознавании отдельных гласных шла речь в докладе Т. Тариоци и Я. Раднаи (ВНР) «Возможность автоматического распознавания гласных».

Автоматическому распознаванию отдельных слов был посвящен доклад С. Итахаше, С. Макино и К. Кидо (Япония) «Распознавание произнесенного слова с учетом словаря и фонологических правил». В докладе К. Кидо и Х. Касуя (Япония) «Распознавание гласных с применением корректирующих правил при варьировании речевых параметров во времени» описывается схема распознавания гласных в словах.

Примером одновременного исследования двух проблем: проблемы автоматического распознавания речи и идентификации личности по речевому сигналу является доклад Х. Кубжделы и В. Яссема (ПНР) «Автоматическое выделение формантных частот в приложении к распознаванию фонем».

В связи с вопросом идентификации личности по речевому сигналу следует остановиться еще на двух докладах, в которых обсуждаются результаты исследований соответствующего характера. Так, например, результаты экспериментов, изложенных в докладе И. Сузуки и М. Накацу (Япония) «Информация о личности, содержащаяся в гласных», убеждают в том, что идентификация дикторов не зависит от формантных моделей, а зависит от формы возбуждения голосовой цепи. В докладе Х. Мацумото, С. Хяки и Т. Соно (Япония) «Акустические корреляты перцептивных признаков при распознавании дикторов по гласным» исследовалось соотношение между перцептивными показателями и такими акустическими характеристиками, как частота основного тона, формантные частоты, спектр источника и т. д.

Среди докладов по восприятию речевого сигнала следует отметить доклад В. А. Кожеевникова, Ю. И. Кузьмина, С. Ю. Жукова (СССР) «Восприятие амплитудных модуляций гласноподобных стимулов». Авторами исследовалась фонетическая интерпретация амплитудных модуляций синтезированных гласных, причем варьировались такие параметры, как скорость и сила модуляций, а также некоторые другие.

Известный интерес, с нашей точки зрения, представляет доклад К. Менона, Р. Рао и Р. Тосара (Индия) «Восприятие смычных согласных», в котором исследовалась степень коартикуляции в СГС-сочетаниях на материале английского языка и ее значение для восприятия.

В докладе Р. Нили и Д. Редди (США) «Распознавание речи в шумах» описан эффект влияния различных типов шумов на правильность и время реакции речевой распознающей системы. Результаты фундаментального комплексного исследования обсуждались в докладе Г. Ревеша, О. Рибари и И. Мартикани (ВНР) «Влияние шума на разборчивость речи и некоторые другие психофизиологические факторы».

В заключение следует указать на то, что в целом ряде докладов были подняты вопросы конкретного технического решения той или иной проблемы. Описывались и предлагались конкретные типы систем автоматического распознавания речи, ее анализа и синтеза. Во многих докладах

неоднократно подчеркивалось, что чисто техническое, инженерное решение целого ряда проблем, связанных с речью, далеко не всегда ведет к удовлетворительным результатам. Только совместные с лингвистами усилия могут привести к желаемым результатам.

Р. К. Потапова (Москва)

\*

С 22 по 28 августа 1971 г. в г. Сегеде (Венгрия) проходила очередная XIV сессия Р I A C (Постоянная Международная алтайстическая конференция), организованная Академией наук Венгерской Народной Республики и университетом им. Йожефа Аттилы в г. Сегеде. В работе конференции принимали участие специалисты по языкам, литературе и истории алтайских народов — тюркологи, монголисты, тунгусо-маньчжуроведы Венгрии, СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Монголии, Франции, Италии, Ирана, Турции, Норвегии, Голландии, США, Англии, Японии, Индии, ФРГ и других стран, где проводятся исследования проблем алтайстики. В конференции участвовали известные ученые Л. Лигети, Д. Синор, Б. Ринчен, Дж. Клоусон и др. Делегация Советского Союза, которую возглавил чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононов, состояла из 12 человек, в их числе — видные ученые, работающие в разных отраслях алтайстики, а также занятые исследованием общих проблем алтайстики.

Одной из задач отдельных сессий Р I A C является обсуждение проблем генетического родства условно объединяемых под общим названием «алтайские» языков, в которые входят тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки (иногда сюда включают корейский и японский языки).

Открывая пленарное заседание, с приветствиями к участникам конференции обратились Президент конференции вице-президент Венгерской Академии наук академик Л. Лигети, ректор университета им. Йожефа Аттилы чл.-корр. АН ВНР Ф. Марта, вице-президент Отделения языка и литературы Венгерской АН М. Саболчи, вице-мар г. Сегед Д. Папц, Генеральный секретарь Р I A C Д. Синор (США).

Доклады конференции имели различный характер. Часть из них касалась как общеалтайской проблематики, так и межалтайских отношений, причем в большинстве своем докладчики стремились привести новые доводы в пользу гипотезы о генетическом родстве алтайских языков; часть докладов была посвящена отдельным отраслям алтайстики (тюркологии, монголистике, тунгусо-маньчжуроведению) и соответственно — от-

дельным языкам, литературе и истории; наконец, в отдельных докладах анализировались урало-алтайские связи.

В работе конференции применялись разные формы обсуждения проблем алтаистики.

Заседания в течение 23 августа были посвящены информации о той работе, которая проводится в области алтаистики в различных странах. С сообщениями выступили представители Норвегии, Англии, Голландии, ГДР, Турции, США, Японии, Франции, ФРГ, Индии, Италии и других стран. В докладе А. Н. Кононова был дан обобщающий анализ достижений советских ученых в исследовании общих проблем алтаистики и отдельных ее отраслей. В выступлениях ряда участников конференции достижения советских исследователей получили высокую оценку. Информационные сообщения показали, что наука стала больше уделять внимания алтаистике, происходит постоянное расширение в области алтаистических исследований.

Научные доклады были оглашены в трех секциях конференции. Основной и наиболее многочисленной из них была секция А, в которой обсуждалась главная тема конференции — «Исторические взаимоотношения алтайских языков». Доклады этой секции так или иначе затрагивали общеалтайскую проблематику. Большая часть докладов советской делегации (семь) была прочитана именно на этой секции. В ряде докладов ставился вопрос исторической фонологии алтайских языков. О. П. Сунык (СССР), анализируя губные согласные алтайских языков, пришел к выводу об исторической общности этих языков. В. И. Цинцус (СССР) посвятила доклад реконструкции пралтайской системы согласных. Новые наблюдения о прототюркском аэтаксизме и сигматизме приводились в докладе Т. Текина (Турция), а также в докладе Р. А. Миллера (США), который рассматривал этот вопрос в связи с японо-алтайскими лексическими связями.

Общеалтайским проблемам в грамматике были посвящен доклад Н. Э. Гаджиевой (СССР), которая остановилась на методических вопросах, касающихся роли алтайских языков при реконструкции архетипов синтаксического строя тюркских языков. В докладе Н. А. Бакакова (СССР) приведен сравнительный материал, призванный подтвердить генетическую общность категории лица и личной принадлежности в алтайских языках. С. Н. Муратов (СССР) поделился своими наблюдениями над структурой корня в алтайских языках, которые, по мысли докладчика, свидетельствуют об их генетической общности.

В ряде докладов трактовались сложные вопросы лексического и семантического единства и расхождений в алтайских

языках. Ш. Мурояма (Япония), исследуя алтайские компоненты в японском, склонен рассматривать их как отражение генетического общего источника. Близкой точки зрения придерживается в своем докладе о монгольско-японских параллелях М. Коёио (Франция). Основываясь на системном изучении некоторых названий растений в алтайских языках, К. М. Мусаев (СССР) предложил ряд методических приемов при сравнительном исследовании лексики алтайских языков. Т. А. Бертагаев (СССР) проследил общие тенденции в развитии семантических вариантов однокорневых слов в алтайских языках. В докладе Г. П. Фитце (ГДР), составившего обратный словарь «Сокровенных сказаний монголов», подчеркивалась важность подобных словарей для алтаистических исследований. А. Рона-Таш (Венгрия) в связи с алтайской теорией рассмотрел слова, выделяемые им как среднемонгольские заимствования в чувашском. Большой интерес у слушателей вызвали доклады Л. Лигети (Венгрия) «Алтайская теория и лексико-статистика» (см. ВЯ, 1974, 3), Дж. Клоусона (Англия) «Иноязычные элементы в раннетюркском».

Языковые связи между тюркскими и монгольскими языками исследовались в докладах Н. П. Шастиной (СССР) «К вопросу о монгольских и тюркских этнонимах в „Секретной истории монголов“», А. Третьяков (Франция) «Сравнение закона последовательности гласных в тюркских и монгольских языках», С. К. Кеесбаева (СССР) «Казахско-монгольские лексические параллели», Е. Говдгогена (Норвегия) «Монгольский суффикс *-lig* и его тюркский источник».

Специальные тюркологические вопросы освещались в докладах: Э. И. Фазилова (СССР) «Труды восточных филологов как источник для истории тюркских языков», Э. Шютц (Венгрия) «Замечания о начальном *d*- в кыпчакских языках», Л. Гржебичка (Чехословакия) «Фонетическая структура первого слога в некоторых тюркских языках», К. Цегледи (Венгрия) «Заметки о тюркских надписях». В ряде докладов затрагивались вопросы истории и грамматического строя отдельных алтайских языков, изучения памятников этих языков: П. Цимэ (ГДР) «Уйгурский текст о хозяйстве маньчжурского монастыря в Уйгурском государстве», И. Мейер (ГДР) «О китайско-уйгурской переводной литературе», Ф. Мартонфи «О некоторых проблемах китайско-корейской фонологии», М.-Л. Бейфа и Р. Амайон (Франция) «Глагольное имя в монгольском языке», Б. Шернер (ФРГ) «Проблема арабских и персидских заимствований в татарском».

Большинство докладов секции В, об-

суждавшей вопросы истории и этнографии алтайских народов, были посвящено взаимоотношениям между алтайскими народами и их отношениям с другими народами: С. Садецкий-Кордосс (Венгрия) «Об именованных восточных границ сфер влияния Аварской державы», П. Липтак (Венгрия) «Исторические связи авар по данным палеоантропологических исследований», Е. А. Новгородова (СССР) «К вопросу об этно-культурных взаимоотношениях племен монгольского Алтая», Г. Урай (Венгрия) «Масти лошади как обозначение племен», А. М. де Гроот (Голландия) «Дипломатические отношения между Голландией и Османской империей в 1600—1800 гг.», Ф. Исоно (Япония) «„Дамбийанциан“: фольклор и история». В этой же секции были прослушаны доклады, исследующие отдельные вопросы истории, этнографии, литературы отдельных алтайских народов: Т. Гёкбилгин (Турция) проанализировал содержание одного из важных документов, относящегося к истории Турции, И. Циргаутас (США) сообщила некоторые сведения об узбекских знахарках, Е. Лот-Фальк (Франция) прочитала доклад «Утügen у якутов», Д. Гонгор (МНР) — «Социальное значение этнонима „халха“», У. Раттиг (ГДР) доложил о некоторых особенностях устройства вузов в МНР.

На секции С, посвященной исследованиям по Турции, были прослушаны доклады о турецком языке: А. С. Тверитинова (СССР) «Лексический материал как источник для изучения традиции земледелия у османских турок», И. Матуз (ФРГ) «О языке документов Сулеймана Великолепного», С. Булуч (Турция) «О некоторых формах глагола в говорах турок Ирана», П. Миатева (Болгария) «О некоторых идиолических влияниях в литературном языке турок Болгарии», Г. З. Кошай (Турция) «Древнейшие следы турецкого языка», И. Лотц (Венгрия) «Система гласных турецкого языка и фонологическая теория», Н. Иуче (Турция) «Некоторые формы герундия в турецком».

В специальном докладе Д. Сиора «Тунгусо-уральские связи» сделана попытка установить общность истории уральских и алтайских народов в определенную эпоху.

В дискуссиях по докладам активное участие принимали А. Н. Кононов, В. И. Цинциус, Г. Д. Санжеев, Д. Синор, Дж. Клоусон, А. Рона-Таш и др.

Интересно проходила конференция «За круглым столом» по теоретическим и методологическим проблемам. В выступлениях А. Н. Кононова, Дж. Клоусона, Г. Д. Санжеева, Н. З. Гаджиевой, В. И. Цинциус, Э. И. Фазылова, Б. Шернера, А. Рона-Таша, Д. Сиора, О. П. Суляка, С. К. Кенесбаева и

других подчеркивалась важность дальнейших сравнительных исследований в области алтайских языков — одной из отраслей сравнительно-исторического языкознания, указывалось на необходимость применения различных методов при исследовании закономерностей, характерных процессу разветвления языков. Выступавшие отметили исключительную плодотворность ежегодных конференций PIAC, их роль в укреплении сотрудничества между учеными всего мира, несмотря на существование разных точек зрения в отношении генетической общности алтайских языков. Конференция показала, что в последнее время ученые все больше занимаются углубленным исследованием языковых материалов. Декларативные заявления, которые не всегда обосновывались фактическим материалом, уступают место серьезным конкретным исследованиям.

На специальном заседании конференции его участники почтили память скончавшихся членов PIAC — А. Зайончковского (Польша), В. М. Насилова (СССР), А. Мостарта (США, обладатель Золотой медали PIAC). Золотая медаль PIAC за 1971 г. присуждена известному тюркологу А. фон Габен (ФРГ). По предложению Генерального секретаря PIAC Д. Сиора конференция приняла решение о частичном изменении «Устава Золотой медали PIAC» — отныне присуждение медали не обязательно проводить ежегодно. В комитет по присуждению Золотой медали, в который входят Генеральный секретарь и Президент очередной конференции, избраны А. фон Габен, О. Латтмор (Англия) и А. С. Тверитинова.

На заседании Венгерского востоковедного общества Л. Лигети вручил дипломы почетных членов этого общества вновь избранным ученым: Н. А. Баскакову, Дж. Клоусову, Т. Гекбилгиву, О. Латтмору, Д. Сиору.

Доклады конференции будут опубликованы в очередном томе «Bibliotheca Orientalis Hungarica» Венгерской Академии наук.

Конференция алтаистов проходила в исключительно дружественной и деловой обстановке. Успешному проведению конференции способствовала большая организационная работа ее Президента Л. Лигети, секретаря Оргкомитета А. Рона-Таша, а также ученых и служащих Академии наук ВНР и университета им. Йожефа Аттилы.

*К. М. Мусаев (Москва)*

22—26 ноября 1971 г. в Тбилиси состоялась совместная сессия Научного совета по проблеме «Теория совет-

ского языковедения» (Ин-т языковедения АН СССР) и Института языковедения АН ГрузССР по проблеме «Язык и речь». В работе сессии приняли участие специалисты из ведущих лингвистических центров Советского Союза. Сессию открыл акад. АН ГрузССР А. С. Чикобава (Тбилиси), в своем вступительном слове подчеркнувший важность и актуальность обсуждаемой проблемы.

С основным докладом выступила Т. С. Шарадзеидзе (Тбилиси). В докладе была рассмотрена история дихотомии «язык — речь». Отмечалось, что в той или иной форме это противопоставление наблюдалось и до Ф. де Соссюра (В. Гумбольдт, И. А. Бодуэн де Куртена, Г. фон дер Габеленц, Ф. Финк). Однако эта дихотомия, по мнению докладчика, не дает основания для выделения двух автономных объектов (языка и речи) и, соответственно, двух самостоятельных наук (лингвистики языка и лингвистики речи), как это делал Ф. де Соссюр.

В докладе В. А. Звегинцева (Москва) отмечалось, что разграничение языка и речи представляет собой частное выражение фундаментального для лингвистики принципа двойственности объекта ее изучения. Хотя лингвистика изучает два разных явления, объект у нее один. Этим объектом является определенный вид человеческой деятельности, выполняющий в человеческом обществе определенные функции и располагающий для этого соответствующими средствами.

Член-корр. АН СССР В. А. Серебряный и Ков (Москва) посвятил свой доклад критическому анализу положений Ф. де Соссюра о языке и речи, о системе языка, о взаимоотношении общего и частного в языке.

Многие суждения Соссюра о системе языка и ее свойствах априорны, поскольку сам Соссюр не установил и не изучил системы какого-либо конкретного языка. Утверждение Соссюра о несистемности речи ошибочно, поскольку коммуникация необходимо предполагает наличие системности самой речи. Систему общественно релевантных стереотипов, состоящих из чувственно воспринимаемых элементов, можно назвать языком, но система эта неотделима от речи.

А. С. Чикобава в своем докладе дал общую оценку той роли, которую сыграло противопоставление языка и речи в современной лингвистике. По мнению докладчика, понимание языка как системы знаков, психических по своей природе, привело Ф. де Соссюра не только к психологизму, но и к положению о примате синхронии перед диахронией, являющемуся научно не оправданным. Принцип историзма необходим для лингвистики как гуманитарной науки. Говоря о модусе существования языка

А. С. Чикобава утверждает, что язык до его актуализации в речевых актах существует в памяти как потенция. Язык доступен изучению лишь в речевых актах, а потому реальное содержание науки о языке сводится к «лингвистике речи». Язык и речь естественно различать, но не следует противопоставлять друг другу.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе отметил, что в каждом конкретном исследовании многообразные аспекты соотношения языка и речи не реализуются во всей полноте. Материал и проблематика исследования накладывают специфический отпечаток на характер, направление и ход анализа членения «язык — речь».

А. К. Савченко (Ростов-на-Дону) разграничение языка и речи считает одним из важных достижений теоретической лингвистики XX в. Признавая данное разграничение важным для решения вопроса об отношении языка к знаковым системам, он рассматривает проблему знаковости языка в свете дихотомии «язык — речь».

Доклад И. Б. Рамишвили (Тбилиси) был посвящен вопросу научного статуса понятия дихотомии. По мнению докладчика, реально существует только нерасчлененная человеческая речь как объект изучения науки, а дихотомия есть результат научного гипостазирования.

В. Д. Ившин (Калуга) не признает «язык» и «речь» взаимоисключающими понятиями. В его докладе «К вопросу о соотношении понятий языка и речи» говорилось, что они являются лишь определением двух разных сфер состояния грамматической системы. Язык и речь постоянно соотносятся друг с другом и переходят друг в друга. Далее докладчик рассмотрел единицы языка и единицы речи.

З. И. Керашева (Майкоп) подчеркивает, что разделение речевой деятельности на язык и речь является искусственным упрощением сложной реальности исследуемого объекта.

С. Г. Бережан (Кишинев) посвятил свой доклад проблеме разграничения языка и речи с точки зрения описания синонимических отношений. Докладчик приходит к заключению, что дифференцированный подход к фактам языка и фактам речи дает строгие предпосылки для изучения функциональных особенностей лексических единиц.

С. Д. Кацнельсон (Ленинград) отметил в своем докладе, что прямому наблюдению доступна только речь. Судить о структуре языка можно только по косвенным данным, выводимым из анализа текстов. В результате лингвистического анализа текстов выделяются строевые единицы и сложные отношения меж-

ду ними, что является неперменной предпосылкой теоретической реконструкции внутренней организации языка. Рассматривая вопрос о взаимоотношении структуры языка и речевых механизмов, докладчик выступает против механического перенесения особенностей внешнего построения речи в структуру языка без учета сложности преломления структуры языка в структуре речи.

И. Р. Гальперин (Москва) выдвигает положение, что наряду с отношением «язык — речь» тщательному анализу необходимо подвергнуть и тесно связанные с ним понятия «текст» и «исполнение». Он стремится определить отношения между этими четырьмя понятиями. Докладчику представляется полезным расчленивать понятия «язык», «речь», «текст» и «исполнение» с точки зрения их функций.

Необходимость уточнения исходных общелингвистических основ концепции Ф. де Соссюра подчеркнул в своем докладе В. Н. Пандзе (Тбилиси). Он утверждал, что основные различительные признаки «языка» и «речи», выделенные Соссюром, не дают основания для разграничения и противопоставления их в качестве самостоятельных объектов лингвистики. Основная методологическая ошибка Ф. де Соссюра заключается в том, что он игнорировал основную функцию языка — «язык — орудие мышления» — и все проблемы решал, исходя из коммуникативной функции языка (этот недостаток характеризует и некоторые современные лингвистические концепции).

З. У. Блягоз (Майкоп) разграничение языка и речи рассматривает с точки зрения двуязычия. По утверждению докладчика, изучение указанной проблемы возможно и на уровне «речи», и на уровне «речевой деятельности».

Доклад В. В. Акуленко и Н. И. Сукаленко (Харьков) был посвящен нормативным закономерностям языка и речи. Норма языка, считают авторы, определяет статистико-вероятностные ограничения, накладываемые на возможности системы. Норма речи определяет характерные для данной определенной эпо-

хи объективные закономерности построения речи.

В обсуждении проблемы и представленных докладов выступил ряд участников сессии: Н. Г. Корляту (Кишинев), О. П. Сушик (Ленинград), А. А. Уфимцева (Москва), И. Б. Рамшвили (Тбилиси), В. Н. Ярцева (Москва), М. Хинт (Таллин) и др.

Подводя итоги сессии, А. С. Чикобава подчеркнул два возможных подхода к теоретической проблеме: с точки зрения специалиста, имеющего дело с конкретным языковым материалом, и с позиции философа. Лингвисты связаны с тем или иным конкретным языком, переходят к проблемам общего характера через исследовательскую практику и не должны отрываться от языковой действительности. Для философа достаточно существования языка как идеи, анализ которой не требует изучения конкретных языков. Язык является объектом многих научных дисциплин. Он не является монополией лингвистики, однако следует точно определить, что именно интересует лингвистку в языке, как вычленился ее конкретный предмет. Что же касается противопоставления языка и речи, то в этом отношении в докладе Т. С. Шарадзендзе был поставлен важный вопрос о статусе звука и фонемы в концепции Ф. де Соссюра. Звуки изучаются в фонетике, т. е. относятся к речи, фонемы входят в сферу языка. Однако в морфологии подобные пары уже не наблюдаются, хотя аналогичная дихотомия должна бы продолжаться на всех уровнях языка, в том случае, конечно, если справедливо исходное противопоставление. В заключение А. С. Чикобава отметил, что лингвистика обладает определенным «преимуществом» перед некоторыми науками (математикой, философией) в том смысле, что ее разделы — фонетика, морфология, синтаксис, семантика — эмпирические дисциплины, и точное описание их объектов дает строгие результаты.

Институт языкознания АН ГрузССР предполагает издать материалы сессии.

*Л. Енукидзе, К. Лернер (Тбилиси)*

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПЕЧАТАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1972 г.  
(№№ 1—6)

СТАТЬИ

Ленинская национальная политика и развитие языков народов СССР . . . . .	6
Белодед И. К.— Советский народ, нации, языки . . . . .	1
Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.— Проблемы языкового развития в СССР . . . . .	6
Климов Г. А.— К характеристике языков активного строя . . . . .	4
Серебренников Б. А.— О лингвистических универсалиях . . . . .	2
Солнцев В. М.— О понятии уровня языковой системы . . . . .	3
Филин Ф. П.— К проблеме происхождения славянских языков . . . . .	5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Бондарко А. В.— К теории поля в грамматике — залог и залоговость	3
Будагов Р. А.— Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?	1
Гак В. Г.— К проблеме соотношения языка и действительности . . . . .	5
Гамкрелидзе Т. В.— К проблеме «произвольности» языкового знака	6
Гаспаров М. Л.— Метрический репертуар русской лирики XVIII—XX вв. . . . .	1
Георгиев В. И.— Современное состояние «дешифровки» этрусского языка	2
Гигишейвили Б. К.— Сравнительная реконструкция и вопрос о варибельности в языке-основе . . . . .	4
Горецкий Я.— Фонологическая система словацкого литературного языка	1
Дешериева Т. И.— К вопросу об отношении эргативной конструкции предложений к номинативной, генетивной, дативной конструкциям . . . . .	5
Дёрфер Г.— Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики?	3
Джаукян Г. Б.— Многопризнаковая статистическая классификация армянских диалектов . . . . .	4
Журавлев В. К.— К проблеме нейтрализации фонологических оппозиций . . . . .	3
Котков С. И.— О памятниках народно-разговорного языка . . . . .	1
Лаптева О. А.— Нерешенные вопросы теории актуального членения . . . . .	2
Маковский М. М.— Пути реконструкции социальных диалектов древности . . . . .	5
Матвеев А. К.— Взаимодействие языков и методы топонимических исследований . . . . .	3
Москальская О. И.— Устойчивые словосочетания серийного образования как объект грамматики . . . . .	4
Николаева Т. М.— Актуальное членение — категория грамматики текста	2
Покровская Л. А.— Об одном «балканизме» в гагаузском языке и в балкано-турецких диалектах . . . . .	3
Пущинский А. Л.— О логико-грамматическом членении предложения	2
Савченко А. Н.— Язык и системы знаков . . . . .	6
Фирбас Я.— Функции вопроса в процессе коммуникации . . . . .	2
Храковский В. С.— Активные и пассивные конструкции в языках эргативного строя . . . . .	5
Шмидт К.-Х.— Проблемы генетической и типологической реконструкции кавказских языков . . . . .	4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Бартошевич А.— К определению системы словообразования . . . . .	2
Благова Г. Ф.— К методике историко-ареальных сопоставлений в тюркологии . . . . .	5

Блашкович Й.— Топонимы старотюркского происхождения на территории Словакии . . . . .	8
Бородин М. А., Мильман Н. Н.— О реконструкции лингвогеографической карты . . . . .	3
Вернер Г. К.— Реконструкция слоговых тонов в енисейских языках XIX в. . . . .	3
Вукович Й.— К проблеме классификации частей речи . . . . .	5
Гарбян А. С.— Система склонения имен древнеармянского языка . . . . .	6
Дёрфер Г.— О состоянии исследования халаджской группы языков . . . . .	1
Дубинский А. И.— Заметки о языке литовских татар . . . . .	1
Дыбо В. А.— Акцентные типы презенса глаголов с ъ, ь в корне в праславянском . . . . .	4
Еськова Н. А.— О принципах составления русского нормативного словаря орфоэпического типа . . . . .	3
Жуковская Л. П.— О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода . . . . .	5
Иванова Т. А.— Об азбуке на стене Софийского собора в Киеве . . . . .	3
Качалкин А. Н.— Памятники местной деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии . . . . .	1
Кибрик А. Е.— О формальном выделении согласовательных классов в арчинском языке . . . . .	1
Кипарский В.— О судьбе -ь- в суффиксах -ьск и -ьство . . . . .	2
Козырев И. С.— Из истории развития предлогов при форме сравнительной степени в белорусском и русском языках . . . . .	2
Конинова В. Ф.— Несколько лексико-семантических изоглосс на славянской языковой территории . . . . .	5
Лаучюте Ю.— Лексические балтизмы в славянских языках . . . . .	3
Лебедева Н. В.— Некоторые особенности синтагматики поэтической речи . . . . .	4
Либерман А. С.— Порождающая фонология: претензии и результаты . . . . .	6
Манучарян Р. С.— Вопросы интерпретации и измерения глубины слова . . . . .	1
Мигачев В. А.— Германский дентальный претерит и его морфологический статус . . . . .	4
Мочос В. С.— Состав и структурные признаки основных глагольных классов современного греческого языка (дидмотики) . . . . .	3
Мошинский Л.— О времени монофтонгизации праславянских дифтонгов . . . . .	4
Мурясов Р. З.— Структура словообразовательных полей лица и инструмента в современном немецком языке . . . . .	4
Раскопов И. П.— О так называемых детерминирующих членах предложения . . . . .	6
Рождественская Т. В.— Значение граффити XI—XIV вв. для изучения истории русского языка старшего периода . . . . .	3
Солотуб А. И.— Формы родительного, дательного и предложного падежей существительных женского рода продуктивного типа склонения в русских говорах . . . . .	1
Сыромятников Н. А.— Определение родственности корней . . . . .	2
Тарлинская М. Г.— Акцентная структура и метр английского стиха (XVIII—XIX вв.) . . . . .	4
Уорт Д.— Морфология нулевой аффиксации в русском словообразовании . . . . .	6
Успенский Б. А.— Первая грамматика русского языка на родном языке . . . . .	6
Черкасова Е. Т.— К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка . . . . .	5
Царенко Е. И.— О ларингализации в языке кечуа . . . . .	1
Шедлих Г.-И.— Процессы дифференциации и выравнивания в немецком языке в свете фонологии . . . . .	2

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

Абаев В. И., Баскаков П. А., Балкаров Б. Х., Скворцов Л. И.— Вопросы нормирования литературных языков народов Кавказа . . . . .	6
Корлягану Н. Г.— Молдавское языкознание за годы советской государственности . . . . .	4
Моркунас К., Гринавецкене Е.— Литовское языкознание в годы Советской власти . . . . .	6
Сталтмане В. Э., Граудина Л. К.— Вопросы культуры латышского языка . . . . .	6

Ширалиев М. Ш.— Некоторые вопросы нормирования азербайджанского литературного языка в годы Советской власти . . . . .	4
Ширалиев М. Ш.— Развитие азербайджанского языкознания за последние годы . . . . .	5

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## Обзоры

Исенгельдина А. А.— Некоторые вопросы фонологической статистики	5
Сумнякова Т. А.— Сборники по вопросам лингвистического источниковедения . . . . .	4

## Рецензии

Ахманова О. С.— W. L. Chafe. Meaning and the structure of language	2
Ахманова О. С.— «Sprachwissenschaftliches Wörterbuch» . . . . .	4
Венцель В.— «Namenforschung heute. Ihre Aufgaben und Ergebnisse in der Deutschen Demokratischen Republik» . . . . .	3
Добродомов И. Г.— «Этнография имен» . . . . .	3
Жуков В. П., Максимов В. И.— Ф. П. Сороколетов. История военной лексики в русском языке . . . . .	1
Зиндер Л. Р.— А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии . . . . .	1
Кандаурова Т. Н.— «Успенский сборник XII—XIII вв.» . . . . .	5
Касевич В. Б.— P. M. Postal. Aspects of phonological theory . . . . .	1
Кибрик А. Е., Климов Г. А.— «Сравнительно-историческая лексика дагеставских языков» . . . . .	3
Козинцева Н. А.— Г. Б. Джаукян. Развитие и структура армянского языка . . . . .	2
Копецкий Л. В.— «Vel'ký rusko-slovenský slovník» . . . . .	5
Маковский М. М.— J. W. R. Lindemann. Old English preverbal ge: its meaning . . . . .	1
Михальченко В. Ю.— A. Jasikevičius. Daugiakalbystės psichologija	6
Моквенко В. М.— «Slovník spisovného jazyka českého» . . . . .	6
Панфилов В. З.— «Нивхско-русский словарь» . . . . .	5
Пюрбеев Г. Ц.— Чой Лусанжаа. Орос монгол өвөрмөц хэллэгийн толь	5
Ревзин И. И.— С. Маркус. Теоретико-множественные модели языков	3
Розенфельд А. З.— «Персидско-русский словарь в двух томах» . . . . .	4
Симулик М. В.— Е. С. Скобликова. Согласование и управление в русском языке . . . . .	3
Солдцов В. М.— В. З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления	2
Тарланов З. К.— А. А. Магомедов. Агульский язык (Исследования и тексты) . . . . .	2
Тенишев Э. Р.— Г. Садвакасов. Язык уйгуров Ферганской долины. Очерк фонетики, тексты и словарь . . . . .	2
Толстой Н. И.— M. Jurkowsky. Ukrainška terminologia hydrograficzna; I. Я. Яшкін. Беларускія геаграфічныя назвы . . . . .	5
Толстой Н. И.— Новые издания . . . . .	6
Удлер Р. Я.— «Noul atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia», I, II; «Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș», I . . . . .	1
Чобану А. И.— И. Йордан. Романское языкознание. Историческое развитие, течение, методы . . . . .	6
Шютц Ю.— Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды . . . . .	1

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Ахвледиани Г. С.— Новое в картвелистике . . . . .	1
---	---

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	1—6
--------------------------------	-----

---

## CONTENTS

**Articles:** The Leninist national policy and development of languages of the peoples of the USSR; Y. D. Dešeriev, I. F. Protčenko (Moscow). Problems of language development in the USSR; **Discussions:** A. N. Savčenko (Rostov/Don). Language and sign-systems; T. V. Gamkrelidze (Tbilisi). On the «arbitrary» character of the language-sign; **Materials and notes:** A. S. Liberman (Leningrad). Generative phonology: claims and results; I. P. Raspopov (Voronež). On the so-called determining parts of the sentence; J. Blaškovič (Prague). Toponyms of Old Turkic origin on the territory of Slovakia; D. S. Worth (Los Angeles). Morphology of zero-affixation in Russian word-formation; B. A. Uspenskij (Moscow). The first Russian grammar compiled in the native language; A. S. Garibian (Yerevan). Declension-system of nouns in Old Armenian; **Linguistics in Union Republics:** V. I. Abayev, N. A. Baskakov, B. H. Balkarov, L. I. Skvorcov (Moscow). Problems of standardization of literary languages of the peoples of the Caucasus; E. Grinaveckene, K. Morkunas (Vilnius). Lithuanian linguistics during the years of Soviet Power; V. E. Staltmane, L. K. Graudina (Moscow). Problems of language-culture in Lettish; **Reviews; Scientific life.**

---

## SOMMAIRE

**Articles:** Politique nationale léniniste et développement de langues des peuples de l'URSS; Y. D. Dešeriev, I. F. Protčenko (Moscou). Problèmes de développement linguistique en URSS; **Discussions:** A. N. Savčenko (Rostov/Don). La langue et système des signes; T. V. Gamkrelidze (Tbilisi). Sur le caractère «arbitraire» du signe linguistique; **Matériaux et notices:** A. S. Liberman (Léningrad). Phonologie générative: prétensions et résultats; I. P. Raspopov (Voronež). Sur les prétendus termes déterminatifs de la proposition; J. Blaškovič (Prague). Toponymes d'origine vieux-turque sur le territoire de la Slovaquie; D. S. Worth (Los Angeles). Morphologie d'affixation zéro dans la formation de mots en russe; B. A. Uspenskij (Moscou). La première grammaire russe rédigée en langue maternelle; A. S. Garibian (Yerevan). Système de déclinaison des noms en vieux-arménien; **Linguistique dans les Républiques fédérées:** V. I. Abayev, N. A. Baskakov, B. H. Balkarov, L. I. Skvorcov (Moscou). Problèmes de normalization des langues littéraires des peuples du Caucase; E. Grinaveckene, K. Morkunas (Vilnius). Linguistique lithuanienne pendant les années du Pouvoir Soviétique; V. E. Staltmane, L. K. Graudina (Moscou). Problèmes de culture linguistique en lette; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

---

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Неприятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

Технический редактор *Е. С. Кузьмишкина*

---

Сдано в набор 29/VIII-1972 г. Т-16349 Подписано к печати 13/XI-1972 г. Тираж 6860 экз.  
Зак. 1108 Формат бумаги 70×108<sup>2</sup>/<sub>16</sub> Усл.-печ. л. 14,0. Бум. л. 5. Уч.-изд. л. 15,4

---

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10